

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



РОМАН №9 2020 ГАЗЕТА

Письмо Сталину / Современная российская проза





ДАНИЕЛОВ Александр Романович

Родился в 1959 году. После окончания ВУЗа два года служил офицером в армии. Автор повестей, рассказов, а также исследований по проблемам политики, экономики, культуры, опубликованных в ряде научных, деловых, и литературных изданий. Живёт в Москве.

КАЗАКОВ Александр Петрович

Родился в 1954 году в Смоленске. Прозаик, драматург, переводчик. Работал в учреждениях культуры Новгородской области и Пскова, преподавал в школе, служил по контракту в спецназе ГРУ. Публиковался в журналах «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), «Север» (Петрозаводск), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Московский Парнас» (Москва), «Высокий берег» (Анапа), альманахах, коллективных сборниках. Автор семи книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Пскове.



КИЛЯКОВ Василий Васильевич

Родился в 1960 году в Кирове. Работал мастером на заводе, служил в армии. Окончил Литературный институт им. Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Молодая гвардия» и других изданиях. Лауреат литературной премии имени Б. Полевого и Всероссийской литературной премии «Традиция». Член Союза писателей России. Живёт в г. Электросталь Московской области.



Памяти Юрия Бондарева (1924–2020)

29 марта 2020 года на 97-м году жизни скончался Юрий Васильевич Бондарев — русский, советский, российский писатель-фронтовик, чьи книги входят в школьную и университетскую программу. Многие годы Юрий Васильевич был автором, другом редакции, членом редколлегии нашего журнала. В «Роман-газете» были опубликованы многие его произведения, ставшие классикой отечественной литературы.

Можно лишь сожалеть, что в последние десятилетия проза выдающегося писателя находилась в информационной блокаде.

В России сегодня стало меньше на одного истинно русско-го, правдивого и мужественного писателя, на одну героическую личность, на одного её защитника и любящего сына.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким Юрия Васильевича Бондарева.

Редакция и редколлегия журнала «Роман-газета»



НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор

Юрий Козлов

**Редакционная
коллегия:**

Дмитрий Белюкин

Юрий Бондарев

Семен Борзунов

Алексей Варламов

Анатолий Заболоцкий

Владимир Личутин

Юрий Поляков

**Ответственный
редактор**

Елена Русакова

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2020

Все права защищены

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:

roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные
индексы издания:**

в каталоге агентства

«Роспечать»

70782 на полугодие,

71752 на год;

в объединенном
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2020 №9 /1854/ Основана в 1927 г.

«Письмо Сталину»

Повести и рассказы

Александр Даниелов

ПО ОБОИМ БЕРЕГАМ МИУСА

Повесть

К югу от Тореза. Донбасс. 26 августа 2014

Смушение. Двусмысленность. Остаётся лишь жалеть. Срамота...

В палатке — нестерпимо. Вовсю распалилось обычное для послеполуденной степи удушающее безумство. Сквозь брезент жжёт огненным драконьим дыханием.

— Оксан, у нас ещё есть крем «Траумель»? Я искал, но, видимо, не там. Мне — не прямо уж сию минуту... но надо найти.

Оксана посмеивается смело, если не нагло, словно уже имеет на Ольхового определённые права. Показывает полностью зубы, крупные, с желтизной у дёсен. Отирая рукавом халата лоб, подносит ему лоток со скальпелями, захватами и заготовленными тампонами.

— Ще е небагато. Ввчери витдам... Вам з́араз трэба домога, Мыкола Богдановыч? Або сами впроається?

— Сам управлюсь. Ты б, Оксан, приготовила мне иголку. Вот это — срочно. Скоро шить буду. — На неё Ольховой старается не смотреть, притворствует: дескать, полностью сосредоточен на ключице пацана, лежащего на операционном, самодельном столе. Притворствует: ничего такого там нет, чтобы концентрироваться на ране.

Пацан, обозлённый, плюётся матом, но не на врача, а на того, кто полчаса назад раскалённой острой мерзостью пропорол ему над ключицей. Пуля, вероятно, вошла уже ослабевшей в лямку бронежилета, снайпер бил издали. Чуть затронула кость, но даже не сломала и осталась в жгучей мышце. Выковырять такую для полевого хирурга — как свиснуть. На десять минут дел-то, вместе с дезинфекцией и зашивкой разреза.

Ольховой промазывает йодом всё плечо у подбитого перед тем, как резать:

— Делать обезболивающее или потерпишь?

В присутствии Оксаны-милашки, которую открыто хочет половина харьковского батальона (с плотоядным придыхом называя её Манюней), сегодняшний пацан, храбрясь, решает обложить и анестезию. И хорошо, что отказался; новокаин и лидокаин заканчиваются, осталось совсем немного — лишь для самых трудных проникновений.

Кроме Оксаны к батальону прибились и другие женщины — настаивают борщи, режут сало неровными ломтями, кладя его на огурец и всё вместе на квадрат плохо пропечённого хлеба сланцево-серого оттенка. Но лишь на двоих из десятка прифронтовых муз точат зубы воины. Прежде всего, на своюравную и всегда заливающуюся смехом медсестричку, у которой даже широкий халат еле застёгивается на груди. Лезут к ней по-всякому, несмотря на её страсти к высмеиванию любого, пытающегося очаровать прокуренным шахтёрским шармом. Льнут и к давным-давно уехавшей в эту степь от сумгаитской резни, широкобёдрой, уже немолодой, но всё ещё привлекающей своей восточной сладостью, не переборчивой в вечерних симпатиях Тамаре Левоновне — у неё сын воюет южнее, за Раздольным, там линия обороны изменяется каждые три часа, ехать туда — самоубийство, поэтому она ждёт сына здесь, варит в пятиведерном казане для всех острый суп из овечьих потрохов и обрезов гузки.

Когда-то тут были ещё две, почти профессионально умелые, искали спроса. Одна приехала из Черновцов, бессарабка. Звали её не то Стеллой, не то Астрой; ну, то есть, как-то не по-людски. Вторая была с востока, со станции Лубны, уже никто и не помнит её имени. Приехавшие жрицы любви, не найдя лучшей карьеры в мегаполисах, решили здесь, в скоплении оторванных от семейных радостей и забывших домашние запахи мужей хотя бы как-то заработать. И просили-то недорого. Но желающих платить им за ночь оказалось немного, всего лишь несколько, из иноземцев, не только давно, но и далеко оторвавшихся от своих домов.

* * *

Подраненного пацана сегодня принесло из разведкоманды. За ним, насколько помнит врач, закрепился какой-то модный, научно-технический позывной — Дивайс. Ещё про него рассказывают, что родом он из соседних мест — из Артёмовска как будто или Часова Яра. До войны слесарил на автосервисе в районном посёлке и портил поселковых девок. А сейчас оказался незаменимым в пластунском ползанье и прожигании кумулятивными гранатами передовой брони нацгвардии (или нациков, нацистов, как по-разному их тут называют). И ещё его ценят за то, что умеет ремонтировать: сам, с пятком подсобников только на прошлой неделе наладил ход им же подбитой БРДМ днепропетровского десанта.

На вид Дивайсу не больше восемнадцати, но зamatерелость его и нашитые ромбики на нагрудном кармане — по числу спалённых машин — говорят об обманчивости курносого детского лица и торчащего пшеничного клока на лбу.

Николай Ольховой старается не смотреть на асистентку. Стыдится вчерашнего.

Как он ни противился все предыдущие дни, перетекающие в недели и месяцы, её зовущему аромату,

манкú ещё молодого, небольшого, истекающего желанием тела, как ни старался думать о доме, где осталась отчаянно любимая Ильсия, природное в нём всё-таки задавило оставшееся здравомыслие. Он ведь даже стал забывать, какая она, женщина, в прикосновении. Без малого три месяца здесь, в одичавшем донецком раздолье, сделали из него если и не животинку, не представляющую, что такое порядочность, то уж, наверняка не моралиста.

К тому же позавчера-вчера вылакали из хирурга весь запас крепости — на отладку к нему направляли и направляли; он даже запутался в счёте, сколько ранений пропустил через себя. Двадцать шесть? Или сорок шесть? Пришлось и констатировать убыль двоих, которых незачем везли, надеясь на чудо. Одного, из гражданских, дежуривших 24-го числа на ближайшем к Торезу блоке трассы, бритого под ноль пузыря, равного в диаметре что по высоте, что в ширину, убило, по видимому, ещё там, на месте; раздробило позвоночник. Другому, слишком горбоносому для того, чтобы сойти за местного, в чёрных кудряшках густых волос на голове и спине, осколок от мины, выпущенный отступающими с высоты 277,9, или Саур-Могилы, нацгвардейцами попал в печень, разорвав всё в крошево.

В починке остальных, лишь слегка подпорченных, Николай измотался так, что даже не смог озлиться, когда в который раз прибежал Ефрем Васильевич Колзин, хорошо упитанный, возрастной зануда из арьергардного взвода охранения — то у него палец в кровь прищемило тугим предохранителем автомата, то просил посмотреть, как стопа распухла от пореза о неведомо где торчавший гвоздь. Вчера же заявился с требованием удалить ему занозу, значительно ниже пупа, которую он схватил от дощатой стеньки походного душа, при помывке.

— Я бы и сам её выковырял, — привязался Ефрем Васильевич, — но уж место больно, того, интимное. Боюсь, как бы не повредить там себе. Так ты, Айболит, уж постарайся. Аккуратненько.

Николай даже не посмотрел на место, в которое тыкал несуразный ополченец.

— Ну, раз аккуратненько, да чтобы не задеть ничего, то буду доставать тебе эту занозу согласно протокола ректального вмешательства.

— Как, говоришь? — не сообразил Колзин, о чём речь.

— Через заднепроходное отверстие! — отвернулся от него хирург, готовясь вырезать по осколку стали из подлокотья и бедра недавно принесённого ему лёгкого солдата, уже лежащего на операционном столе со спущенными спортивными шароварами, сцепившего зубы, чтобы не стонать при Оксане...

И ближе к ночи нывшее тело и мозг потребовали у Николая отдыха. Он не чувствовал уже своим ни то, ни другое. Живот, и так с отрочества втянутый, ещё больше ввалился. По рукам с длинными тонкими пальцами фортепианного солиста вспухли бечёвки артерий.

Помня некогда полученный в ростовском окружном госпитале урок, когда раненых и умирающих везли из чеченского форшмака каждый день, он не стал глотать капсулу-энергетик, не стал бодяжить «коктейль дальнобойщика» — растворимый кофе в разогретой пепси, — а залил в глотку из мерной колбы семьдесят граммов спирта, который пока ещё был в операционной. От загнанности за прошедший день еда в него уже не лезла, поэтому сразу же сплющило, и он поплыл расплавленным воском. Но желаемое облегчение всё же пришло...

В такой полужидкой консистенции его и нашла кроха Оксана. Он не очень-то и помнил, как там оно всё начиналось, что *он* говорил, что *она* ему, просто заметил, что уже какое-то время держит в ладони её податливую правую грудь и тычется губами в её губы. Оксана не только не сопротивлялась, но и тянула на себя. И впопыхах скинула лямки комбинезона...

Ну, а потом всё происходило так, как это только и может происходить в колючих пыльных зарослях за медицинской палаткой, под малярийно-белой лунной — неудобно, суетливо, без радости, лишь на поводу у инстинкта.

А теперь Ольховой отворачивается от медсестрички, не умея прямо посмотреть ей в смеющиеся глаза. Играет повышенным вниманием к подраненному Дивайсу.

Узнал об Оксане много, от неё же. Болтлива оказалась... Она здесь управлялась за всю медицину ещё до его приезда. Кое-как, со средним образованием фельдшерицы, перевязывала дырки от пуль и осколков на разных частях тел бойцов Отпора, если дырки были мало значительными для областной и даже торезовской больницы; мазала ожоги, меняла повязки у продырявленных, следила, как идёт заживление. Отпаивала валокордином-диазепамом местных бабулек и нескольких оставшихся дедулек, которым уезжать было некуда и не на что — сердечные приступы теперь случались чаще, по мере ужесточения обстрелов жилья с высот, захваченных армией и сбродам «гвардейцев».

Приехала сюда в начале апреля, с запада, из жиитомирского захолустья, как только там бандеры стали врываться в городские и районные управы, унижать милицию и православных батюшек. Боялась и за дочь, и за себя — муж был на плотницких работах в Перми, и все в её райцентре знали, что он этим обстоятельством доволен. Но самым опасным было то, что многие знали и о её деде Лукьяне. Того, никакого не НКВДёнка, а сопливого младшего сержанта, радиста, в середине пятидесятых годов в составе неполного стрелкового полка послали бить бандер УПА по карпатским склонам Франківщини. Теперь бы ей деда припомнили, как припоминали всем «зрадникам», предателям в их понимании, и ближней родне зрадника. Убить, возможно, и не убили бы, но поизмывались бы от души.

Оксана заперла на все три замка свою квартирку в панельной хрущобе и с дочкой поехала на восток — в Донецке жила одинокая мачеха мужа.

— А чего то вы, Мыкола Богдановичу, билыш на российский мови говорытэ? — спрашивала она в начале лета у Ольхового, ставшего из-за причуд судьбы её непосредственным начальником. — Вы ж украинську знайтэ.

— Знаю. Алэ цэ в мэнэ звичка, ма́буть. — Николай сдержанно разглядывал малую, но полномясую, русую дриаду, не в силах задержаться взглядом на бутылочном стекле её глаз. Она с самого же начала стала выказывать присланному хирургу свою недвусмысленную заинтересованность, что Ольхового и смущало, и злило... — Привык, — повторил он. — Я ж бо́льшую часть жизни в России прожил. Все знакомые, и по службе, и по жизни говорили по-русски, жена тоже, недоросль мой — соответственно.

— А сколько вашему хлопчику? — Оксана упорно крутилась, не боясь порезаться, перед самым его носом, таким же тонким и острым, как хирургический ланцет, плескавшийся в кипящем стерилизационном судке в углу палатки.

— Уже четырнадцать минуло.

— А мойий доньци — тильки шить, — непонятно почему взгрустнула тогда, вздыхая. — В вас жинка руська?

— Нет, не русская. Башкирка... А это имеет для тебя значение?

— Та ни, ничо́го. То я так... Мэни нация — однаково...

Николай, ещё тогда же как-то не очень удачно попробовал шутить:

— Я смотрю, тут у вас одни лишь Оксаны. Девять на десять девочек.

Помощница заходила тихим смехом, больше похожим на хлопанье.

— Дуже тонке наблюдење.

Ольховой тоже слегка подцеплял в ответ:

— Не «наблюдење», а «спостэ́рэдження»... Боже ж ты мой, на каком вы все языке говорите! Это ж не украинский, это гоголь-моголь. Я-то думал, что хоть у «западников» язык сохранился... Нет, везде — только суржик. У украинцев центра и востока — украино-русский. У вуйко́в (и галичан, и волянян) — украино-польский. В Закарпатье — русско-венгерско-украинский, на Буковине — украино-румынский... — он любопытствующе разглядывал тогда её форму, затаённо вымеривая взглядом ложбину между двумя надутыми полушариями, выпиравшими из ворота низко застёгнутого, не совсем чистого медицинского халата.

Сдобную плюшку Оксану ни тогда, ни позже не интересовывали филологические семинары: «Ну, як говорымо, так й говорымо».

После этого и выставила понемногу за последующие месяцы Николаю всю свою предыдущую жизнь. Тот же помалкивал, в ответ не спешил делиться.

Собственно, и условия этому не способствовали — резали и шили без остановки; в первые два месяца большой донецкой войны раненых подвозили для хирургии сутками, перепадало и сельским, особенно старикам. Потом постепенно поток стал мелеть: многих стариков или поубивали снаряды из-за полей, или их всё-таки кто-то вывез отсюда, а бойцы просто учились воевать, не пёрли больше в ура-штurm, рассредотачивались, расползались по степи вьющимися рептилиями, смотрели по сторонам, хоронились при артобстреле.

* * *

Сегодня, что необычно, кроме Дивайса пациентов нет. Так что остаётся время разобраться в не таком уж обширном лекарственном кофре, написать через телефон торопливую весть Ильсие, спросить о сыне, об их поездке в выходные за город, и отчитаться, как всегда сколько: «У меня без изменений, самоощущение — в норме, погода тоже нормальная...» Писать это в качестве как бы поспешного, подразумеваемого извинения за вчерашнюю вольность. Словно оправдываясь перед собой.

Он и берётся нащёлкать текст, но в палатку уже протиснулась обезьянья рожа Шлыка.

— Богданыч, тебя Голова зовёт. Если только ты не занят. Казав зайти, як время будет. Не горит. — Помолчав, показывая, что распоряжение передал, добавляет, почёсывая за ухом тыльной стороной короткой финки: — Всё хотел узнать у тебя, Богданыч: а ты сам живого пиндоса видал? Ну, хочь колы-небудь...

Николай недовольно откладывает телефон.

— Нет, с американцами ещё не встречался, хотя кого только не видел!.. А тебе-то какой бубновый интерес к ним?

— Та хлопцы тут взяли одного. Из тербатальона «Збруч». — В отличие от правительства, которое понимало «тербатальон» или, проще, «тербат» как «территориальный», а значит — сформированный на определённой территории Украины и оплачиваемый частно, одним из влиятельных «патриотов», в ополчении Отпора расшифровывают «тер» как «террористский».

Шлык всё ещё опасно расчёсывает себе кожу у шеи:

— Взялы вояку тыхо, рта йому завяззали. А як прынэсли сюды, развяззали... — а не руський. И не укроп. Непонятно, хто такой. Думаем, шо пиндос.

— Так меня из-за него Голова зовёт?

— Ни-и, цэ я так. Шоб ориентироваться... Ты ж у нас кадровый... У ко́го ж ще спытать? — Шлык из деликатности шмыгает только одной ноздрей.

Николай так и не знает: Шлык — боевой псевдоним, как у всех тут за редким исключением, или фамилия. Боец отвязный, всегда лезет в самый ад, нациков готов давить руками (его инвалидного брата те погубили при взятии Краматорска, до кучи, не выделяя, когда саданули очередь по небольшому сходу

горожан, выкрикивавшему им «позор!»). Знаменит тем, что успешен в мордобое, несмотря на миниа-турность. Брюнетик, загорелый, на цыгана похож. Высшая классность для него — не выстрелить в нац-гвардейца или тербатовца, а всадить ему под скулу десантный кортик или ту же сегодняшнюю финку. Видимым осложнением после постоянных прямых соприкосновений с противником у Шлыка стало отсутствие передних зубов, что сверху, что снизу. Он этого не думает стыдиться, наоборот — дерёт горло на всех постоянно и сплёвывает через прореху. Жевать, правда, неудобно, но ничего, приспособится ещё. Молодой...

И что это Голове от хирургии могло понадобиться? У батальонного не было времени на зелёнки-пелёнки, воевать приходилось много и по колено в останках — своих и чужих. Проваливался западный фланг, там без передыху нацики и армейская артиллерия засыпали из «ноны» 120-миллиметровыми снарядами-минами, которые в полёте были низким бабым воем. На левой стороне шоссе охраняемого участка не осталось ни одной целой хаты. Потери бойцов были предельными; день ото дня мортиролог прирастал именами и именами. Соседи утрамбовали, казалось бы, предыдущий арtdивизион врагов, но у правительства находились всё новые дивизионы, и карусель крови не останавливалась.

* * *

Николай, как уже привык, поднимает из-под хирургического стола автомат, не ходит никуда здесь без него — никому не известно, когда может понадобиться, — и, разминая шею, вращая головой, выбредает на поиски батальонного.

Патрульные на шоссе спокойно, будто с детства только и делали, что останавливали автомобили, осматривают облупленную «Ниву», давно подлежащую утилизационному прессу и двигающуюся лишь на мольбе ездока. Водитель, апатичный брюхан, которого, наверняка, сегодня стопарили через каждые три версты, безропотно показывает ополченским мальчикам все скрытые полости машины. Мальчики похожи на школьников, прогуливающих урок словесности, по непонятной моде этого свирепого времени они одеты в бронированный камуфляж, с укороченными полицейскими «калашниковыми» по диагонали груди.

«Гляди ж ты, уже умеют! И когда только обучились?» — Ольховой ищет комбата, рассеянным зрением захватив блокпост. Двое шарят в машине, третий — сзади, контролирует водилу... Да, научись, когда столько их сверстников тут положили диверы, диверсанты из тербатальонов, переодетые в станичные обноски. Он лишь на прошлой жестокой неделе закрывал глаза одному такому, прогульщику уроков. Совсем был тот ещё по-детски нескладным, сделанным из одних лишь рёбер; удрал из дома, из мирного тыла в центре Украины, чтобы здесь, в терриконовой

шахтёрской степи начать очищать в том числе и свой тыловой пригород от рунических, совершенно не украинских символов, фигур на эмблемах и знамёнах майданов-тербатов...

Но батальонного нигде нет. И у двух музейных габуиц, экспонатов, которые пригнали для их забытого предназначения из городского парка Славы, ныне стоящих в тених тополей вдоль обочины, никто не знает, где комбат.

* * *

Находит его Ольховой в известной шоферам-дальномерам, по довоенному времени столовке при трассе, только что наспех приспособленной под подобие летучего штаба и склада трофейных снарядов (для отбитых у нацистов условно современных самоходных артустановок и стационарных миномётов).

Командир батальона, собранного в мае в Харцызске, с фамилией Довгало, подлуховатостью и запоминающейся привычкой неприятно громко щёлкать в размышлении пружинным устройством шариковой ручки. Единственный в этом крыле движения Отпора старше Ольхового годами.

— Здоров був, Айболыт, — машет Николаю из дальнего угла столовки-склада. Пьёт тархун из зелёного пластика, недовольно кривясь: газировка тёплая и оттого гадкая — холодильник стоит отключенным, электрокабель вдоль шоссе перебило прилетевшей «ноной» уже больше двух дней назад.

— Здоров, Сэмэн Даныловыч! Да не Айболит я, сколько повторять!.. Он по ветеринарному списку проходил. А я-то больше на людях упражняюсь, — хирург пожимает гиревую руку комбата.

Довгало, бородатый, взъерошенный, с рано поседевшими вихрами, компактный, но выносливый, чугунный, как зверь-броненосец, усаживается в стоящее в углу кресло, отвинченное с водительского места автобуса. Предлагает глазами и Николаю присесть в похожее, валяющееся у входа. В помещении ходят рядовые, уже непризывного возраста, таская с улицы ящики, набитые патронами любой маркировки и размера и ещё с завода закуленные в промасленную обёртку заряды для ручных гранатомётов.

— Ну, як в тэбэ справы? — Комбат прикрывает ладонью зевок.

— Какие ж у меня дела? Сегодня — вообще, считай, без работы. Только одному и помог. Пульку вытасил и на память отдал. — Ольховой кладёт на пол пока не пригодились с утра «калашников». — Может, пойти мне с вами, Данылыч, с хлопцами? Повоевать малёк, кости размять, бандер, ляхов-найманцев да разных прочих шведов полущить. А то я так вообще стрелять разучусь...

— Повоюешь ще, никуды те швэды от тебя не убегут, их тут прыехало — на повну роту. — Довгало, как ставя точку в конце каждой фразы, зевает от недосыпа. — Почуваю, шо биться нам с хунтой ще долго, сука. Так долго, пока більшисть людэй нэ зрозум-

ие, шо там сидят ворюги и запроданци, холюи подпіндосские, под которыми нам никола не быть, сука. Цэ не на месяцы дело... — вздыхает. — Так шо постреляешь ще.

Николай стягивает с себя куртку и вытирает ею бока — накал уходящего лета впивается в тело, в стены, в бетон цоколя, в сгоревшую до паркетного оттенка траву у крыльца.

— Ну, а вообще как у нас обстоит? Что нового? А то я кроме бинтов ничего не вижу. Совершенно выпал из контекста.

Комбат допил тархун и завидным броском зашвыривает пустую бутылку в далеко стоящий ящик с отходами и обрывками бумажного мусора.

— Та шо нового? Багато чого нового, — подзадумался. — Из поганого вот шо: вчора ще четверых потеряли, сука. Особливо жаль Генгему, то бишь Галыночку Хмару, на захвате работала в звене Скомороха. Донежанка коренная, мастер боевого самбо, красуня... Эх, даже не рожала ще... А скольких вуйкёв на той свит наладила!.. — Довгало неизвестно кому грозит пудовым кулаком. — Ще грека наш, Костаниди, тож коренный, азовський. Вёрткий був, як гюрза. А от, вбылы... Потім ще Стёпа Пospelов. Тож боевой був. Козак! — Комбат по-украински выделяет «о» в слове. — Прийхав до нас з Астрахани. Ще з самого начала тут... И, четвёртый, останний, а́нтал Надь. Памятаешь такого? Мадяр. Ну, усатый, как из «Песняров»... Наш человек, хочь и латынянин по вере. Чёткий був наводчик. — Довгало горько пыхтит. — Полегли братья за курган Савур. Но зато курган мы отбили. Самый высокий тут. И трёх недель хунта его не удержала! — Победно усмехается. — Ну, шо ще з поганого?.. Нацики разбили артиллерией усю вулицю Зубкова у Харцызськи. А ведь у городе наших бийцив никола й нэ було. И нацики нэ мōжуть про цэ нэ знати. Трōбат дома, сука, шоб у наших хлопцев голова болела за родных, оставшихся на вулице, а не за продōвження отпору... — Снова возносится литая рука. — Тут девчата з села глядили телек, так там хунтовський канал «Одын плюс одын» передав, сука, шо то мы сами растрōжили город. Чуешь? Мы сами! Ну, нормально? Когда у меня в батальоне, почитай, половина з Харцызська... А наци ще одну церкву сожгли дотла — храм Ивана Кронштадтського...

Довгало щёлкает кнопкой шариковой ручки, высовывая и засовывая обратно стержень.

— Есть присказка така, деткам кáжут: не ешь с ножа — злым вырастешь... Так, видать, ту хунту с топора, сука, кормили.

Ольховой вытягивает ноги по полу, полулёжа в своём автобусном кресле.

— Ну, а что хорошего?

Комбат, наигравшись с ручкой, прячет её во внутренний карман камуфляжа, подальше, чтобы не сломать щёлкающую часть — ещё понадобится.

— Гарного тож немало. Драп нациков. Со всего восточного Донбасса. Наши пошли на Мариуполь,

отвоевывать. Нацки обосрались с переляку, драпают так, шо тильки пыль по дороге, сука. Соседний наш батальон «Исток» обзавёлся новыми тремя, чуток подпалёнными танками — подарок от вуйков. Те бросают усё, шо не могут увезти. С утра мы перебили у них батарею «Мста-Эс». Так шо металлолому для мартенов прибывает. — Довгало медитирует недолго и, превозмогая сон, мямлит под нос: — Тебе б, конешо, Айболыт, надо бы в город перебираться, в больницу. Там хочь какое ни есть оборудование, медикамент. Но, по нашим соображеньям, та больница у нациков пристреляна. Неровён час... А тут твоя палатка ничем не приметна. Так шо звяняйте, придётся пока тут.

Николай вспоминает о Шлыке:

— Да, Данилыч, мне тут твой разбойник сказал, что ты хотел что-то от меня. Что хотел-то?

Довгало потягивается у себя в углу, с усилием протирает глаза, чтобы соскрести густую, как клейстер, дрёму.

— Правильно вин тоби сказав. Хотел... — Достал из кармана мобильный телефон, собираясь звонить или ожидая звонка. — Мои у Кутейниково взяли двоих нацистив, з тербатальону. Сейчас везуть сюды. Когда доберутся — Бог знае. На дорогах-то неспокойно... У одного з нацев, старшого, ногу страшно порвало, даже ступать не може. Так ты готовься его брать к себе. Надо, шоб с ногой остался. Важный овощ. Продезинфицируй или ещё шо... Ну, шоб гангрены, там, не завелось, или... не знаю.

— Посмотрю, Семён Данилыч. За мной не встанет. Это ж моя специализация: микрофлора мышечных ран, раздробленные коленные чашечки, раневые инфекции, переломы шейки бедренной кости. Особенно люблю сдвиг межпозвонковых дисков и иные прелестные вещи, — удовлетворяется Ольховой, узнав, зачем был нужен комбат.

— А ты, видать, сьогодни в гарном настрое, — отпускает его, наконец, Довгало. — Вообще-то, не в моих принципах из тербатальонов у плен брать. Это тебе не армейцы и даже не нацгвардия, люди подневольные, бильшисть которых насильно призвана, особлыво солдатство... Ни-и, в тербатах — тильки инициативники. Или просто за бабки, и большие, или ще к тому ж и идейны нацисты, для которых мы усе — и российские, и украинци, шо хотят оставаться з Россиєю, — усе колорады, вата, ватники... Они нас в плен не берут, катюють, казнять. И я их не беру. Як правило... Но эти двое, шо до нас зараз везуть, нужны. Здóрово нужны. Так шо ты, Айболыт, почини мне раненого. Шоб до ампутации ноги, сука, не дошло...

Червона Слобода у Черкасс. 19 мая 2014

Не хотела Светка спокойно сидеть на колене Борятьева. Ну, вот не хотела, и всё! Крутилась, пыталась соскользнуть на пол, убежать. Не понимала, отчего

папка так крепко обнимает её, гладит ей всё время волосы и целует в затылок. Ей хотелось на проулок, побегать с Гарпушей из соседского двора, попрятаться в лопухах за дровяным сараем, погонять кур с огорода — они так смешно разбегались с кликушеством от брошенной в них ветки, так смешно лопотали...

Но папка не отпускал. Приходилось терпеть в такую жару его горячие руки.

— Ну, шо ж ты всё прыгаешь, скажённа! — мимоходом укоряла её бабушка, накрывая стол на веранде. — Батько прыйихав, а ты даже сэкундоочки нэ можеш посидити з ным поруч. Ось уйдё, будешь сумуваты за ным.

— Да не надо грустить по мне, — Борятьев отмахнулся. — Я ж живой. Уеду, приеду, снова уеду, и снова приеду... Ладно, иди, играй.

Нехотя отпустив вертлявую дочку во двор, посмотрев ей вслед, он повернулся к теще.

— Стефания Петровна, спасибо вам за Светланку. Если б не вы, я б уже и не знал, как мне ехать. Наверное, и не поехал бы... А так...

Достал из кармана конверты.

— Здесь мои бумаги на вклад в «УкрСвитБанке», а здесь — полная на вас доверенность, Петровна. На всё, что у меня есть. Не Бог весть что, но всё-таки...

Тёща, казалось, не обращала внимания на его меркантильные заботы, продолжая ставить на клеёнку тарелки с оладьями, только что с огня, чашки, сметану, колбасу, наскоро нарубленный салат.

— Та гóди, чо́го там! Бог дасть — не помрэмю. В мэнэ пэнсия, яка нэ яка... Хоча́, краше не йихав бы ты, Евгэн. Всэ ж батько для дивчинки важни́ше, ниж бабка... То йийи старший брат уйихав кудысь, тэпэр ты... Я вже стара, та й хата моя, на жаль, нэ надийна, хытається, як я сама.

— Да будет вам, Петровна, — уходил в минор Борятьев. — Не шатаетесь вы! И надёжней человека у меня нет. Тем более, что я подправил тут, что надо. По поводу электрики договорился с Михасём Осыкой, всё ж монтёр на подстанции. Завтра придёт, посмотрит проводку, заменит, где требуется. Вы ему гривен сто дайте. Но только после того, как сделает, а не до. А то я его знаю!

— А ты надовго? — исподтишка, боясь напугать судьбу, спросила женщина, отводя вбок выцветшие, мокроватые, старые свои глаза. — Я вжэ нэ спытаю — куды. Можешь нэ гово́рьть, якщо нэ хочешь.

Борятьев осушал лоб манжетой рубашки. Запекало уже совсем по-летнему. Шершни со шмелями ожили и гужевались в углах навеса над верандой.

— Не знаю, Петровна. Как получится. Может, и надолго. Надо гопоту́ донецкую придавить. И кацапам ненасытным дать в зубы... Но надеюсь, что ненадолго. Вся страна, сами видите, поднялась. Им против всей страны долго не устоять. Да и за нас, фактически, весь мир. Все даже кацапского духа не хотят...

— Та шо тоби ти кацапы! А ты сам, хибá, нэ кацап? — тёща присела на краешек скамьи, напротив

Борятьева. — Ты б про доньку подумав. Як вона без тэбэ будэ, коли щось з тобою выйдэ? — Подтёрла под глазами каймой слободского наплечного платка.

Он негодуяюще ронял, как выбрасывал, на пол, под ноги, туда же уйдя взглядом:

— Я украинец, Стефания Петровна. Я здесь родился и вырос. Для меня эта земля — родная. И не надо за речь мне счёт выставять. Русский — такой же свой для украинца язык, как и украинский! — Говорил с упором, хотя уже и без прежней убеждённости: мол, само собой... — К тому же, не могу я сидеть тут, когда мою страну рвут на тряпки. Крым отжали! Как бандюги, ночью, втихаря. Воспользовались, что у нас долго не было порядка, что армию никто не берёг... Донбасс отымают. А потом пойдёт и пойдёт...

Тёща сплетала костистые и кривые пальцы, перекусанные болезнью и долгим трудом. Вздохнула:

— Та шо, Крим тэбэ нема́ кому йихаты? Ты ж нэ вийськовий... Та й нэ парубок вже!

— Да, вот потому, что я уже не юный! Как я могу тут спать, жрать, а тем временем туда посылают просто цыплят! Вы ж видели тех призывников! Им даже бронжилет тяжело таскать... Кого посылают-то? Из бедняков, дистрофиков... Нет, туда должны ехать только такие, как я. Мне уже, слава богу, в этом году будет сорок четыре. Я пожил. Двух детей после себя оставляю. А они? Ну, те, цыплята... Что они умеют? Что они навоюют? — Евгений неосторожно откинулся на шаткую спинку лавки. — Вот вы говорите, Петровна, что я не военный... Но вы ж знаете, я же старшиной в морской пехоте отслужил, ещё при СССРе. От первого до последнего денька. Кое-что помню, кое-что ещё могу. Не увечный. Глаза видят. Так что я там собою хоть пару наших хлопчиков упасу... — И после затянутой паузы, грузно: — Не-е, решено. Еду. Я и договор уже подписал. У нас тут формируется добровольческий батальон. Под Кременчугом. Один большой человек выделил средства. И все остальные — миром собирают по гривне, канадские поселенцы помогают... У нас там, в батальоне, немало таких собирается, как и я, в зрелости, служили, так что не жалко...

— Ну, дывысь, ты ж батько. Вже дорослый! Тоби ришаты. — Тёща смотрела укором, стряхивая с подола невидимые крошки. — Алэ якщо загинеш там, то знай, що донька твоя, та й сын, тоби цього не простять. — И она снова посмотрела на Евгения тем самым взглядом, памятным ещё с позапрошлого сентября, с церковной службы, с тех скомканых поминок.

То был самый невыносимый взгляд, который нёс на себе Борятьев. Уже больше полутора лет минуло, а взгляд Стефании Петровны его сжигал. С того лютого сентября, когда в не принимаемой рассудком катастрофе, на дороге, подлость своевольных узоров судьбины забрала у него сразу трёх дорогих, любимых. Любимей — только дочь и сын... Хотя... Разве ж можно так считать! Все любимые...

Тогда он подболев. Температурил, из носа капало, как из проржавевшего топливного бака, всего трясло, тридцать девять и три, рвущий горло кашель, ломкое тело, всё тянет в постель. Конец сентября выходил ветреным и ледяным. Но как раз в это время надо было везти родителей в аэропорт Черкасс; им нужно было лететь в Одессу, в санаторий под Каляглей.

Борятьев мог бы наглотаться тогда пилюль, ещё чего-нибудь, собраться. Но, признаться, не хотелось выходить в обваливающийся ливень из тёплого дома. Можно было бы и такси нанять, да жалко стало денег — зачем тратиться! Езды на двадцать минут, есть же своя «Лада-приора», а таксёры, свора гиен, заламывают несусветные цены, когда слышат про аэропорт. Вот и вышло везти жене. Кому же ещё? И кто тогда думал о том, чем всё кончится!

Дорога скользила, ливень издевательски рушил стену воды навстречу, приходилось ехать по реке. И Тося не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу, как потом было написано в протоколе; разделительной линии вообще не просматривалось. Ну, и — встречный многотонный двухприцепный обоз на полной скорости въехал в них на Смелянской, на самом уже подъезде к аэропорту.

Убило всех троих в «Приоре». Жена с папой сразу же были раздавлены — месиво. Папа всегда любил сидеть впереди, рядом с водителем. Вот и посидел... Мама умерла лишь на утро — оказалась в машине за невесткой, которая взяла весь удар на себя — на лицо, на грудь, на сердце...

Тёща и так не очень-то почитала зятя. А за что почитать? Самодуристый, властный, совсем придавил тихую и безотказную жену, Тосю, любимую донечку. Огромный, как слон, рядом с такой тендитной Тосечкой. Бесцветные ещё эти его глазищи, как будто бельмы... Да ладно бы был гáздой, хозяином справным! Так ведь заработки-то — от раза к разу. Вот вроде бы закончил в Харькове уважаемый технический университет, что-то по электронике... Ну, и что с того! Поработал по профессии лишь пару годков. А где, кому в стране последние два десятка лет электронщики требуются?.. И потом пошло-поехало: по закупке стройматериалов, директор зачуханного дома отдыха на Южном Буге, маленький начальник на горнолыжной стройке Буковель. В перерывах же между случаями работы лежал дома, как тюк, и только под телевизионных обозревателей страдал, всё переключал кнопки. А Тосечка тянула на себе пятных, обстирывала, обглаживала, кормила — его самого, сына с маленькой Светланкой, мужниных родителей (ведь вынуждена была жить вместе, в их черкассской квартире), — вычищала в блеск всю эту четырёхкомнатную громадность, а ещё и работала пятнадцатичасовым кадровиком шёлкового комбината, бедненькая...

— Простите меня, Стефания Петровна, если сможете. Это из-за меня, — по-новому, чуть ли не заис-

квивающе, воспалившимися глазами смотрел на тещу Борятьев в церкви, когда отпевали сразу троих погибших. — Я во всем виноват, только я. Не сберёг..

— Та нэ звывува́чуй сэбэ. Пры чому тут ты, Евгэн, — старуха неподвижно стояла, ненавидящими глазами ударяя в него тогда, впервые прямо в зрачки. Впервые, потому что раньше — только куда-то мимо.

Западное Предуралье. 10 мая 2014

Не просто суббота, а ещё и праздники. Клиенты — насыщенные и возможные — съехали на дачи, открывают сезон грядки и мелкого ремонта по дому, в городе мало кто остался. Кому сейчас до обустройства контор! Сегодня никому не требуется компания «Функционал-1М», комплексное оборудование офисов «под ключ»: мебель, оргтехника, оптоволоконная связь, бытовые электроприборы». Сегодня важнее раскупорить после зимней спячки свою дачную халабуду где-нибудь на бережку Белой — широкой и совсем не светлой реки Агидель — или в направлении Чишмы, или в противоположный бок, по Челябинскому тракту, собрать прошлогодний бурелом, покопаться в трубном змеёвнике от «Башводоканала», просто побездельничать на природе, а то и улететь далеко, к морям и дельфинам.

Дни нежеланной праздности. А раз нет работы — нет и денег. Сиди, лапу соси.

— Так и будешь весь день в окно утыкаться? — за спиной зазвучало меццо-сопрано: Ильсия распевалась с утра. — Совсем потерял интерес к дому, Ольховой? Ты уже не с нами, уже сбежал? А у сына твоего, сачка́, между тем, по химии — двойка на двойке. Позанимался бы с ним, чтобы он хоть этот класс закончил без скандала, не как прошлый. Я ничем с химией ему помочь не могу, а ты ж в своей академии изучал, обязан помнить. А, Ольховой? Или гори всё?..

Повернулся, встречая два распахнутых, светлых серых знака вопроса под тонкими, частью выщипанными чёрными бровками.

— Тебе сколько говорить, Иля, чтоб ты меня по фамилии не называла? Не выношу это в семьях. Когда жена так к мужу обращается...

Женщина показательно недовольно дёрнула плечами, фыркнула — так фыркают только что вынырнувшие из воды, — развернулась, ушла в кухню-гостиную — исполнять гаммы посудой в мойке.

Он ощущал себя преотвратительно, но снова самым боковым зрением и самыми задворками сознания отметил безупречность линий её высоко оголённых, немного венозных, но всё так же, как в юности, ошеломляющих ног. И хотя эти ноги, наряду с другими, сегодня никак не могли быть первостепенны для него, Николай не мог командовать своими желаниями и умением замечать.

Удивительно, что с годами не наступало привыкание. Живут бок о бок изо дня в день; пора бы всё-

таки. А вот не привыкалось. И её ноги всегда волновали его. Из-за них, выписанных, словно у балерин Дега, он и захватил её когда-то. Захватил, как захватывают осаждённую цитадель — измором. И ещё из-за её гротескно выпуклой груди.

На этом, в общем-то, и заканчивалось её фёрте — сильные стороны. Ну, ещё глаза, вероятно, можно бы добавить: ясные при общей чернявости — всегда эффектно... Но не более того. Лицо грубовато, с неровной кожей, будто поле поздне-мартовское, ещё голое. Не придавали изящества ей и большие мужские руки.

Носила она свой метр восемьдесят гордо и прямо, даже чуть откидывая голову назад. Он, из-за приобретённой за операционным столом сутулости, часто казался даже ниже неё.

В тот день, незадолго до расставания с нечёткими перспективами, Ольховой зачем-то вспоминал, с чего у него всё начиналось с его такой несовершенной, но такой зовущей Сиреной.

Чего вспоминать? Зачем?..

Впервые он влетел в Уфу ещё курсантом, в двадцать один, весной, в год ГКЧП и последующей смерти Союза. Направили на стажировку в гарнизонный госпиталь.

Вобрал в себя этот русско-тюркский город, его едва уловимый флер мечтательности, но одновременно и его же устроенность, устойчивость. Горячие мясные учпачмаки на каждом углу, сок течёт по подбородку. Парки-леса на пол-Уфы... Его, увлечённого самоучку-малевальщика, оглушил художественный музей, без преувеличения, мирового ранга, о котором он никогда даже не слышал. В столбняке стоял перед незаконченной шедевральностью первой пробы «Видения отроку Варфоломею», нечаянно прорванной ещё самим Нестеровым, позже с любовью склеенной и зализанной неторопливым реставраторским шпателем.

Его, тогда ещё не искущённого, только что из госпитальной казармы, забрала и игра артистов драмтеатра в арбузовской пьесе «В этом старом миле доме». Увидел в театральном фойе в антракте одиноко озирающуюся, тогда ещё девятнадцатилетнюю Илю. И запульсировало, подкатило жаром к голове!

Прилип, начал безответственно врать о себе, пригласил на сэкономленные рубли пообедать-поужинать. Она забоялась отказать настырному солдату с медицинскими петличками, и так, первый раз в жизни, попала в ресторан. С испуганным интересом разглядывала пожилых и крепко подпитых дядек и тёток за соседними столами, нервно оправляя свою мини, которая лишь чуть скрывала восхитительные ноги...

Что за ноги!

Их себе она сделала на прыжках в высоту и беге в спортивном обществе «Спартак». Родители, старший брат и вся традиционалистская мусульманская

семья очень не одобряли ни её «Спартак», ни прыжки через перекладину, ни её длинные ноги, почти не прикрытые мини-юбочкой. То ли эти борения, то ли любознательность, то ли ещё какие позывы притянули Ильсию в одну из церквей под Уфой (в самом городе она бы поостереглась — а вдруг заметят!). Потом съездила ещё раз и ещё. Стала заговаривать с церковными женщинами, отстаивала службы в платочке, прикрыв колени метром бязи на булавках, слушая многогласные хоры Рахманинова, читала тайком то, что ей давала старшая из женщин. И как-то незаметно, не вдруг, приняла христианство.

Когда скрывать православие уже не хотелось, пошла в раскол со старшим в роду и даже с братом. Только мать тихо всхлипывала, возясь со стёжкой одеял на женской половине дома:

— Ай, доча, доча! Что ж ты наделала! В прошлые времена тебя бы наши мужчины сами должны были бы задушить ремнём... У нас так было. Двоюродная бабка твоя, Катиб-ханум... Тоже к крестовикам хотела уйти.

Приговор семьи и отказ всех от Ильсии пришли неизбежно, как дождевые потоки после недели летней духоты. Но это всё случилось, уже когда Ольховой давно уехал.

Семь лет он называл Ильсие:

— Привет, злюка! Как ты?

Виделись при его отрывах в Уфу на пару дней, в отпуск. Никакого интереса длинноногой к себе Николай не находил. Она всё время старалась от него отгородиться, воздвигая стену своим иссушающим «не торопись». А в годы второй чеченской кампании, когда он даже спать оставался рядом с операционной (столько приходилось резать и сшивать!), Ильсия стремглав прошла через порывистый роман с чересчур взрослым для неё коллекционером средневековых гобеленов. Даже отпробовала немного брака, уже через несколько месяцев разочаровавшись в этом институте.

Николай позвал её, ещё не разведённую, лишь ему сровнялось двадцать восемь. Получил капитана медицины, и его финально, будто подаянием, благодетельствовали ужатой квартирочкой в доме молодых офицеров на Лебердоне (вспомнил городское прозвище левого берега Дона), а то всё мерз по съёмным проходным, сырым комнатам Выборга или Иркутска. В такие клетки он не мог и не хотел никого звать. А Ильсия, как потом стало понятно, уже ждала, что хотя бы кто-то позовёт. С сомнением поехала в ростовское июньское пекло, медленно ответив по телефону уже «да», вместо «не торопись» с таким сомнением, словно напоказ не боялась, что капитан медслужбы может отозвать приглашение.

Они не стали сразу жениться, давая друг другу возможность переиграть. Но меньше, чем через год после приезда Ильсия родила себе и Николаше Ольховому затейливого и беспокойного мальчишку, которому долго никак не могли дать имя. После меся-

ца переборов, странно назвали Миркой. Мироном. Странно — потому что ни во чью честь.

С сыном у них заметно добавилось вопросов, бутуз часто хворал, о женитьбе даже не задумывались. Так, не скреплённые законом, и жили, и катались по стране, меняя гарнизонные госпитали на окружные.

— Ухожу в запас! Надоело нищенствовать. Уже рапорт подписали, — скоро, не всё до конца продумав, отдекларировал Николай; шел 2007-й.

Ильсия если в чём всерьёз и винила его, то лишь в том, что поставил её перед свершившимся фактом.

— А советовать тебя не научили? Ты один живёшь? Ну, и как нам теперь?

Ему бы самому знать — как теперь. Решили возвращаться в Уфу. Точка их встречи была не только родной для Ильсии, но и стала важной для Ольхового. Уфа заметно подправилась, облагородилась и почистилась за годы его отсутствия, к тому же возможности прокормиться в ней, казалось, были благоприятней, чем в любом другом месте, доступном Николаю.

Со временем, долго борясь с условиями и поняв, что в районной больнице он хирургией заработает не больше, чем в войсках, решил забыть о своём образовании и написал по электронному адресу на удачу, трижды округлив карандашом объявление на одной из страниц «Уфимского перекрёстка». Объявление заманивало синекурой коммерческого директора в направлении комплексного обустройства офисов. Работа, как можно было предположить, оказалась не синекурой, но и не сложнее любой другой, хотя занимала почти всё время.

Часто ездил — Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз, Сибай, Нефтекамск, — подыскивая клиентов, знакомясь с риелторами, владельцами начинающих фирм, которым нужен был угол для конторы.

— Зря ты больницу бросил, — неодобрительно качала большой головой Ильсия. — Ты же там только начал работать. Ещё пару лет, и у тебя появилось бы имя, люди бы к тебе потянулись. Ты же прекрасный врач. И с доходами всё наладилось бы.

— Какие ещё пару лет! Нет их у меня больше, — несмело отзывался Ольховой. — Все авансы в моей жизни — в прошлом.

За последующие годы в конторском бизнесе обрзовались определённые накопления, так что можно было разжиться не только новым — от производителя — стабильным корейским «Хюндаем», но и замахнуться в кредит на «двуху». Ещё вовремя появилась и программа сертификатов для военных с выслугой лет, решивших уйти в запас.

Квартира нашлась в недавно построенном многоэтажном сталагмите за Шугуровкой, на дальней северо-восточной границе города, вытянутого, если смотреть по карте, сверху-вниз, как баклажан. Через полгода жизни там стерпелось-слюбилось: никаких тебе городских шумов, природа вокруг тихо играет ветром по кустам шиповника или кричит галочными

стоями. К тому же Ольховой узнал, что с этой стороны, если ехать от города дальше по прямой, неизбежно через час, а то и раньше, наедешь на посёлок Черкасссы и на нечто вроде речки с тем же названием. С днепровским эталоном, конечно, не тягаться, но всё равно забавно. Вот так замыкаются круги жизни...

Помня, что Ильсия не любит экспромтов, он решил загодя, хотя бы за пару недель сказать о своём решении на ближайшее будущее.

— Вот, — протянул вчера ей заготовленный пакет, перетянутый кассирской резинкой. — Здесь четыреста тысяч; всё, что удалось собрать. Я даже себе ничего не отложил... А там пара местных воротил платит, боясь, что если нацисты возьмут их города, то и бизнес оттянут... Так что жди перечисления, я дал реквизиты нашей сберкнижки. Сама книжка всё там же, в спальне, под иконкой в красном углу... Больших денег *оттуда* не обещаю, но, думаю, вам с Мирошей должно хватить.

— Ну, конечно! — Ильсия часто зафыркала, как пловчиха в баттерфляе. — Скажите, пожалуйста! Нам с Миркой должно хватить! А ты не забыл, Коля, что у нас ещё взносы за квартиру?

— В случае чего, сдашь машину. Это — на крайность. «Хюндай», хоть ещё и свежий, но много за него не получить... Однако что-то всё-таки получишь... И хватит, мне надоели твои колкости! В конце концов, ты тоже работаешь. Нечего играть в женщину, которую бросают!.. На самую крайность, позвонишь моей маме. Копейку-другую на внука она всегда даст. Ей, говорит, пенсию прибавили. Ещё гонорары иногда получает за статьи в журнальчике, в «Музейной жизни».

Но понимал, что Ильсия его придерживает никак не из-за денег. И разве любая женщина вот так возьмёт и с поющим сердцем отпустит своего мужчину на войну! А ведь там война — уже в полный разнос...

Он истлел за предыдущие месяцы, не мог спать ночами. Ворочался рядом с женой — не-женой со спины на живот и наоборот; потом на цыпочках, босиком пробирался в кухню, заваривал кофе и до утра присасывался к компьютеру.

Интернет рвал понимание. Его родина горела, его сладкоголосая и открытая, нежная родина, где каждому всегда было удобно жить: и украинцу, и россу, и иудею, и элину, да хоть папуасу. Дуболобый многосоттысячный нацист из Галиции, которого ещё со школы Николай видел злобной крысатой, захватывал там всё.

Вчитывался в немыслимые по дикости реплики к новостям; в эти новости и без ремарок невозможно было верить. Всматривался в людоедские фотографии и видео. Форумы превращались в рубилово: из Украины и России швырялась навстречу друг другу такая словесная рвота, за которую раньше можно было осесть в тюремной камере на годы. Факельный марш нежити в вышитых рубахах по Крещатику, огромный портрет Бандеры на фасаде мэрии, коптя-

щаяся резиновым дымом столица. Объявленный главным телеканалом конкурс на самую отвратную изобретённую насмешку над «даунбасами» и «лугандонами» (очевидно, что людей Донецка и Луганска остальная страна уже своими не считала). В родном же городе, на Пастеровской улице стреляли в Серёгу Саенко, в когда-то знаменитость изостудии городского Дворца пионеров, теперь — лауреата, народного художника республики. И всего лишь за то, что он написал и выложил на своём сайте сегодняшнее прочтение гравюры «Сон разума порождает чудовищ» Гойи, всё с теми же факельными походами и уцелевшей сволочью из ООН; ранили его в желудок, плохо ранили. Семидесятипятилетней матери Лары Княжицкой торговка на Червонослободском рынке плюнула в открытую сумку и поносила грязно — та осмелилась назвать майдан «проплаченным ведьминым шабашем».

Ольховой звонил оставшимся в городе своего детства немногим знакомым, спрашивал: как могло такое случиться? что с людьми произошло?

Но понятных ответов никто не мог дать. Спрашивать у матери — без толку. Она только плакала. Что она могла подсказать из Анапы? Знала лишь то же, что и он. Сколько уж лет вне Украины!.. Пробовала сама звонить бывшей соседке, хлопотунье тёте Фае, всегда подкармливавшей Колю Ольхового, любимчика, только что запечённой в кляре рыбой. Мама хотела поговорить, так та сразу же ей нагрубила:

— Вы там в вашей России ни бельмеса не разумеете, вы там все заговорены антиукраинской пропагандой. Вам, небось, передают, что тут у нас детей режут и их кровь пьют литрами!

Решение ехать вызревало, как незлокачественная опухоль. Долго, месяцами. Ночи превратились в издёвку. Спальня — в пыточный каземат. Ночное воображение бередило одним и тем же, как кочергой в калёных углях: видел родную ухоженную улицу, завешанную кроваво-чёрными флагами ООН-УПА, и необозримую толпу в парке Долины Роз, ревущую «Слава нации! Героям слава! Смерть врагам!» А уж после истребления рискнувших не согласиться — первого мая в Харькове и второго — в Одессе, — понял, что всё решено без него. Теперь, хочет ли он того или не хочет, но он уже там. На Донбассе, где ещё едва дышит надежда на возвращение к прежнему и здравому смыслу. Где люди, судя по вырисовывавшейся в компьютере картине, решили ткнуть фигой в морду всех сволочей, оккупировавших страну.

Он торопился, ехал. Что бы ни произошло в ближайшую неделю-полторы, билет уже заказан. На воронежском поле будет ждать его деловой человек, которого отрекомендовали как Штопора; он Ольхового и ещё двоих перевезёт-переведёт через Деркул и Могили-Мечетную в донецкую неизвестность. Самому ведь не проехать.

Врачи понадобятся, ещё как понадобятся! Особо такие, как Ольховой, который знает, что это —

резать, когда из всего обезболивающего в наличии только мензурка этилового спирта и таблетки пен-талгина. Полевую хирургию ждут и в Лисичанске, и в Новоазовске. Там скоро будет совсем страшно.

Белый Яр, Донбасс. 20 июня 2014

Батальон идёт третий день от Изюма. На станции машины и танки сняли с платформ, и дальше они тянутся своим ходом, колонной.

Остановки до этого были частыми и долгими. Вперёд надо было двигаться с вниманием: в каждом кустарнике и палисаде мог ждать гранатомёт. Разведка авангарда работала с опаской, жить хотелось долго, а тут непонятно, из-за какого крыжовенного куста в тебя влетит тупоноса взрывчатая тварь. Уже первая в колонне БМП растеряла гусеничные звенья сразу на двух противотанковых минах у оставленного жильцами и полуразрушенного села. Бордовые всполохи рассекли и подняли суглинок наезженной колеи, раскатились воплем один вслед другому.

И надо же было наехать сразу на две! А сколько их тут ещё...

Становится понятно, что работали военные, а не те ряженые бородатые казаки в папах с кубанским красным верхом, которые утром пробовали обстрелять из заколосившейся засады сотню Борятьева. Нет, ставил мины профессор. Тут, если внимательно осмотреть площадь под ногами, другого прохода нет, так что неминуемо кто-нибудь наехал бы. А разведка разве под ноги смотрит! Она испуганно шарит глазами по зарослям, по пустым оконным проёмам брошенных домов. Настоящих специалистов во всём батальоне наберётся десяток, из которых половина — командированные из-за кордона. Разве на все сотни их хватит! Приходят-то, как правило, такие же припухшие на домашнем диванчике после сытных обедов, мирные в прошлом мужчины — кто на строительном рынке торговал вагонкой и гипсокартоном, кто колбасу смолил в своём сарае, кто в университете философом доцентствовал... Или совсем ещё ничего не понимающие дети, которые только и умеют про «москаля на ножи!», на грудь себе нашивая лого батальона с анфасом гетьмана Ивана Мазепы, срисованным с десятигривенной купюры последнего образца.

— Сотник, знёбу у нас некомплект по броникам. Всему взводу Павлюченка нечем крыться, на хер... Що казать людям?

Громадный Борятьев досадливо смотрит на Бейбаса, своего зама, напоминающего пингвина, с родимым пятном во всю левую щёку, носом-клювом и неодинаковыми бакенбардами. Бронежилетов и вправду на всех не хватает. Из Дробышево обещали ими завалить, да разве первый день обещали!

— Могу тебе отдать для них свой, мать её... — сотник начинает отстёгивать липучки по бокам. — Устроит? Считай, один боец во взводе укутан.

Насупленный, мелкоголовый Бейбас перевешивает автомат на другое плечо, ослабляя под подбородком крепёж кевларовой каски.

— Та я що, соби прошу? Хлопци ж бесятся. Учора не покормылы, сьогодни нараспашку посылають у бой! Цэ ж непорядок, Евгэн Анатольович.

Борятьев кивает:

— Непорядок... Согласен. Дальше что? — И шурится на как-то сразу сникшего зама. — А у нас вся мотострелковая бригада на подходе вообще без бронников. Ну, и что делать?

— Шо нам до мотострелков! Цэ державна армия. Нехай держава за них и думае. А мы ж тут усе по своей воли. Нам броники положены. Есть у контракте, чёрным по белому.

— Да, положены... Но если их пока не подвезли, то что делать? — Борятьев постепенно весь идёт первым — белым, пузырящимся — кипятком. — Назад иди?... — Не дожидаясь ответа, впечатывает винничкому правдоискателю: — У нас задача: до вечера залечь на восточных окраинах Белого Яра, пока сепараты не очухались. К утру подойдёт артиллерия. Всё равно в ближайший день никакого боя не будет. Могут в том недовольном взводе потерпеть или мне самому всё бросать и к ним переться уговаривать?.. Так и передай Павлюченке. И от меня добавь, чтоб не выгибался... Свободен! — гонит он от себя Бейбаса.

В расставленных палатках жить совсем невмочь: днём печёт так, что мозги вытекают из ушей, приходится с двух сторон задирать брезент, чтобы хоть какой-то ветер обдувал. Ночью — не лучше, отпускает лишь под утро, и то ненадолго. А с десяти часов — снова жаровня. Солдаты могут заснуть лишь после сталеплавильного бурякового самогона, на который выменивали ещё в харьковских сёлах сухпайки НАТО, самим уже приевшиеся.

В оставленных людьми домах ночевать тоже не хочется. Там может быть заминировано в самых неожиданных местах и, кроме того, противно: иногда забрызгано кровью по стенам, по мебели, по тому, что осталось.

Борятьев не оберегал голос, матерясь по рации с Ворошуком, отвечавшим за тыловое обеспечение в батальоне. Сколько же, как выясняется, незаменимо положено человеку! И если с отсутствием кофе или сменной одежки ещё как-то можно мириться, то без надёжного запаса патронов, сигарет и солярки двигаться вперёд мучительно.

— Тебе таблетки выслали? — В рации ещё пробовал его отчитывать пожизненно циничный хохотун Ворошук. — Так подкармливай личный состав. Меньше клопота будэ. Примут — и враз всё станет веселее.

— Ты что, хочешь моих хлопцев на шмаль подсадить? — Борятьев дал бы своему формальному начальнику в лоб, если б тот стоял рядом.

— Та какá там шмаль, Женя! То ж так, для поднятия духа, чисто взбодриться, — зубоскалил Воро-

шук. — Но перед боем — вещь обязательная. Ссать со страху не будут. И тебе меньше нервов, и от хлопцев никаких претензий. Усё для них будэ в золоте, амурах и завитушках. Проверено! Я с этим сам через Чечню прошёл.

Евгений тогда отключил связь и пошёл куда-нибудь, в редкие заросли, чтобы никого не видеть и ни на ком из ста подчинённых ратоборцев не обрывать связи. И чтобы хоть полчаса его никто не донимал.

Сеча кругом идёт — до немеющих, отваливающихся рук, до окаменения головы. Бандиты из самопроизводной донецкой республики неожиданными налётами теребят хвосты наступающих правительственных соединений. Армия захлёбывается.

Тербатальоны несравнимо лучше обеспечены, ну, и состав собрался поидейней, все пришли сами, не за шкуру притащены, многие — после службы в войсках, кто-то даже в перерыв в службе, но всё равно, каждый новый шаг, каждый посёлок, освобождаемый от сепаров, сепаратов, сепаратистов-предателей, даётся таким трудом, такими жертвами, что кажется: ещё чуть-чуть, ещё день-два, и всё поползёт, разольётся по неровным полям вокруг, и собрать водино всю мозаику, когда-то слитно выдвинувшуюся из Кременчуга, будет уже невозможно.

В вынужденные часы простоя Борятьев звонил в Черкассы, если мобильный клавишник ловил сигнал. Выспрашивал тещу о Светке, чем живут, как.

— Что за соседи вас на Днепр вчера пригласили? Крамаренки? Или которые справа?.. — нервничал он. — Светланка купалась? Да? Вода уже тёплая? А фрукты она ест? Обязательно покупайте ей клубнику. Когда ещё кушать, как не сейчас!.. Прошу, Петровна: клубнику, черешню, абрикосы — обязательно. Персики тоже. Ну, и сами ешьте, естественно. — Спрашивал с опасением: — Деньги за меня получаете?

— Та не хвильойся за нас, Евгэн. Гроши в нас е. Ты ж залышив. И перевод прыйшов.

— Так как за вас не волноваться! За кого ж мне ещё волноваться?

Борятьев в каждое не занятое войной мгновение думал о Светке. О Толе уже почти не думал — вроде бы вычёркивал медленно сына из своего блокнота.

Вся Солнечная система для него сейчас умалилась до пригорода Черкасс, до дряблого асфальта с заплатками на улице Кузнеця, где в тени садов частного сектора стоял уверенно на своей столетней основе каменно-деревянный дом Стефании Петровны, несколько ненадёжный сверху, но временами подправляемый Евгением или нанятым шабашником из Червоной Слободы. Сожалел, что подворье далеко от Днепра. Вспоминал родительскую квартиру на Гагарина, совсем рядом с самым прекрасным парком, королевством фонтанов и роз, так и названным — Долина Троянд. Под окнами квартиры на парапет тихо шлёпались взбаламученным песком днепровские

волны. Парапет, кое-где заброшенный пустыми бутылками, ржавеющим городским непотребом, начинался напротив подъезда, только дорогу перейти.

Хотя одному из ведущих архитекторов города, Борятьеву-старшему, и полагалась обширная квартира, всё равно последние лет двадцать жили скученно. Жить даже впятером было несносно. Родители вынуждены были или уходить куда-то на целый день, или запирались в своей спальне, резервации, чтобы не мешать сыну и невестке растить шалящего наследника. Толик озоровать научился ещё в роддоме, вереща, как вся гусиная стая. А уж когда Тося родила ещё и Светланку, то Борятьев-старший и мама даже перестали есть на кухне, забирали тарелки-чашки к себе.

— Не переживай, Женечка, мы там прекрасно всё оборудовали, — успокаивала мама. — Столик себе купили чудный для обеда, телевизор смотрим...

Если бы он тогда знал, как легко и страшно решится их жилищная перенаселённость!..

Сын как-то удивительно быстро вырос. Шумность и топотание по комнатам сменились у вытянувшегося и потемневшего длинными волосами Толи закрытостью. После школы ненадолго уехал, поступил в столице на компьютерного сисадмина. Вернулся на неделю, и снова — «Досвидос!». К внезапно подошедшему двадцатилетию ему надо было выделять свой угол. Говорил, что собирается жениться, а возвращаться — ни за что. На отдельный угол сыну у Евгения не было; решением стала лишь продажа квартиры и выдача доли из вырученных сумм. Дал в обрез, на самую маленькую однокомнатную; в столице и такие стоят злых денег.

По получении положенного, Толик пропал — наглухо, совсем не звонил, сменил номер мобильного.

Покупку новой квартиры для Светланки и себя Борятьев пока отложил, решив пожить у ставшей совсем одинокой тещи, тоже выплакавшей все слёзы после похорон. Там, в гудении пчёл, в апрельском цветении грушевого сада боль выносить, казалось, полегче. Дочке также полезно побегать в чистом воздухе, ну, и присмотр со стороны старухи...

— Анатолийовыч! Я за тобою, — отрезает от Светланки, тещи, Черкасс нашедший его вездесущий Бейбас, низко-гулким, как речной пароход, голосом напоминая, что кругом, по всему донецкому кряжу — костоломка. — Нам прислали нового отделённого во второй взвод, к молодым. Токи шо прыйхав з штабу на машине с хавкой. Знову консервы курячие привезлы просроченные. Знову хлиба не прислали. Тут кругом мычит и курлычет столько жратвы, шо только успевай. А ось бэз хлиба — жесь.

— А чё же этот отделённый так долго до нас добирался? — всё ещё булькает Борятьев.

— Та мовыть, шо им неправильно в Изюме сказали, де нас шукать. Я перезвонил, проверил... Хлопчина, вроде, адекватный. По внешности — толковый стреляка. Говорыть, шо ещё до этой бучи служил

сверхсрочную, тута, недалёко... Десантура. — Бейбас утирает пальцем струйку, стекающую на верхнюю губу. — Сам його поглядишь, або взводному показуваты? Но ты ж слыхав за нашого Зозулю? Однэ слово — вуйко з Полоньны. Энтузіазма — на трьох, а с подготовкой хуже. В трембитах он, може, и понимает, но вот в десанте...

— Идём... Сам посмотрию, — встав нехотя с трухлявого пня, Борятьев впереди заместителя идёт к сотне.

— И прислалы нам малюнки дитячи, целу коробку, — продолжает докладывать Бейбас.

— Какие там ещё рисунки? — недоволен Борятьев.

— Я ж говорю: дитки малювалы, з Харкива, з Львова, з Запорижжя, з Днипра. На коробке було написано: «Защитникам от детей Украины». Ну, акцию провэлы... Малюнки рїзни — е вэзэли, е нэ дуже. Так я казав роздаты йих бийцям. Нехай дывляться, бэруть соби на згядку. Ну, щоб нэ скурвытыся тут на вийни.

— Правильно сделал, — задумывается Борятьев. — И мне несколько рисунков принеси. Буду на них периодически посматривать. Чтобы тоже не скурвиться.

* * *

Прибывший соискатель должности десятника отделения кажется сноровистым, сотканным сплошь из сухожилий, с упрямым глазом, с короткой рыжей стрижкой. Голым по пояс моется под рукомойником. При виде приближающегося вероятного начальника встаёт в некую позу, намекающую на «смирно». Но видно, что не от неумения, а наоборот, от навыка. Как бы обозначал чинопочитание, не напругаясь на его исполнение.

Пока шли, зам поведал Борятьеву в одном длинном предложении подноготную соискателя. Тот воевал с самого начала антитеррористической операции в другом батальоне, был даже взводным, но потом разжаловали, пока — до отделённого: разрешал своим солдатам немного шуровать в домах освобождённых посёлков и городков, ну, и сам ложку мимо рта не проносил, а люди стали плакаться командиру батальона, и дошло до того лица, на чьи дотации и формировался батальон, и хлопчине приклепали «подрыв доверия населения к освободительной миссии», понизили в лычках, но оставили на контракте, потому что воевал расторопно, хватко, опрометью врываясь в укреплённые блокпосты сепаратистов, расстреливая автоматами с обеих рук бандюганов и приставших к ним люмпенов.

— Ты откуда родом? — Борятьев быстро читает у приехавшего верительную грамоту — предписание, — мельком лишь сравнив фото на паспорте с оригиналом.

— Из Херсона, — новоприбывший натягивает футболку хаки и поднимает бронежилет, чтобы надеть и его.

— Да, был я как-то, давно, правда, у вас. — Евгений возвращает документы парняге. — Не знаю, как сейчас, но тогда что-то город мне не показался. Разутый какой-то, в натуре, неприбранный. Село.

Вместо того, чтобы обидеться, разжалованный, слегка ощерясь, суживает глаза, закуривает без разрешения и отвечает негромко:

— А шо ж вы хотели там увидеть? Рази ж хороший город назовут «Херсон»?..

Борятьев зовёт Бейбаса рукой, и разрешает ответить новоприбывшего к отделению, представить. В напутствие:

— Отделение неплохое. Пацанва, в основном. Всем — чуть больше двадцати. Есть с приводами в милицию. Двое с судимостью, на условно-досрочном. Ты с ними — без церемоний!.. Есть и совсем ещё не троганные... Но все готовы тут сепаратов жечь. Так что моральный дух на высоте. Твоя задача — научить их бою. И, по возможности, вернуть домой не очень покалеченными. Они стране ещё понадобятся.

И отворачивается, слыша за спиной басящие добавления Бейбаса, нетерпеливо ожидающего, пока новый командир соберёт все свои вещи, и готового показывать тому вверяемое отделение:

— До позавчера десятником там був гараздый хлопчина, Марат Сокольников, бувший вэвэшник, охраннык з унутряшних вийськ, сторожив якись зоны. Сам прыйихав до нас аж з свого Орла. Хоч и москаль, но националист, звездячил бандюг даунбасовських та усяких рашистов от сердца! Он московську владу нэ тэрпиw. Хотив витдилятыся вид Кавказу та ишаков азиатських. И правильно знаw, шо борба за вызво́лэння його Раши починається тут, в Украйини... Та, на жаль, пидстрэлылы його позавчера. Нас тоди крепко vzdюбили сепары...

— А с настоящими москальскими военными биться пока не приходилось? — интересуется новоприбывший. — Говорят, сюда две парашютные роты из Пскова перебросили.

— Ни, — слышит Борятьев затухающий, по мере удаления от него, пароходный гуд Бейбаса. — 3 такымы пóкы шо не прыхóдылося. А ты йих тут бáчив сам?

Ответ разжалованного взводного уже не разобратъ. Борятьев отошёл далеко от него и Бейбаса, начиная обязательный обход палаток сотни, ближних дозоров и проверку складирования арсенала.

* * *

Пора сотню передавать Бейбасу. Он, в натуре, не совсем готов командовать, технику знает не в деталях. Срочную отслужил ещё когда! Потом же, остальную жизнь у себя в городе, ставил новые стеклопакеты по домам... Но, что бы там ни говорить, служака проверенный. В защите не отсиживается, боя не боится, научился уже контролировать всю сотню, а не только тех, кто в секторе видимости. И слушать учится. Это главное на войне — слушать всё вокруг.

Евгения же забирают в штаб батальона, общаться с закордонными посланцами. Вот — гляди ж ты! — с института английский совсем забыл, а как понадобилось — вдруг вспомнил. Почти всё сам понимает, если говорят небыстро. Во всяком случае, дошкольную речь командированного на Донбасс офицера шведской или румынской разведки разберёт. Хуже с англичанами — тараторят так, что хоть проси их письменно повторять. Они не собираются говорить разборчивей, уверенные, что весь мир обязан знать их язык. Но те, к счастью, приезжают с переводчиком.

Шпионами и военспецами из НАТО ему приказал заняться командир батальона, Сева Зильбертруд, больше похожий на уманского хасидского раввина, чем на боевого коммандо. Тихий, в очках, говорит абзацами из Кастанеды, Достоевского и Ветхого Завета. До Борятьева дошло чьё-то мнение, что Сева — дальний родич того, на чьи деньги и собирався батальон. Видимо, инвестор никому другому своё войско доверить не рискнул.

Борятьев, и до войны имевший счета к похожим на уманских раввинов, теперь Севу втихомолку не любит. Догадывается, что главный приз того в нынешней войне — всё, что будет отбито. Конечной целью батальона могут быть металлические заводы на севере Донецка. Суки, короче, и Сева, и его родич, нахавший долларов за предыдущие годы, и эти скурвлённые североатлантические офицеры... Разберёмся с ними, когда заломаем донецкую урлу! А пока приходится сносить...

Борятьев понимает, что его переводят на связь с закордонными подсказчиками не из-за того, что он, один из немногих, кое-как балакает на англиш. Скорее — из-за его военного прошлого, поскольку срочную службу он служил замкомвзвода в роте морпехов Северного флота, в Поморье, на мысе со смешным названием Канин Нос. Из-за не растерянных, как оказывается, за все последние десятилетия боевых рефлексов, из-за того, что в его сегодняшней сотне — самые малые потери батальона, из-за того, что командует твёрдо, у него среди взводных, десятников и рядового элемента репутация крепче титанового сплава. Из-за того, что воюет дельно, не шкурит, себя не оберегает как-то особо, сам с автоматом прикрывал отход своих янычар, когда требовалось... А натовским советчикам, надзорным, разведке... какого-нибудь колупая не дашь на связь, тут нужен человек в ответе, кому бы верили.

Он много стрелял на этой войне. Ещё с мая, когда батальон воевал в Приазовье, до того, как их после переформирования отправили по железной дороге сюда, на север Донбасса, на самое пагубное направление — на Донецк... Стрелял преимущественно наугад, просто в сторону бандитов, отвлекая на себя. Им самым убитого увидел лишь однажды.

Албанец, смуглощёкий, тощий, будто высосанный, фельдфебель Мехмет Ширá, в выдавшей виды полевой немецкой форме, с шевроном УЧК на рука-

ве. Прибыл сюда ещё с тремя такими же, вроде бы, советовать, обучать хлопцев диверсионным основам, ставить незаметные растяжки, но, как потом стало понятно, больше — за человечьим материалом. Предложил через неделю после приезда Борятьеву за почки, сердечный узел, лёгкие или другие «запчасти» от любого только что убитого мальчика, хотя бы парня не старше двадцати пяти, такие евро, что Борятьев с дочкой смогли бы на них прожить довольно беззаботно и довольно продолжительно. Всё нужное для хранения и перевозки — в наличии, всегда с собой...

Но сотник в это предприятие не вошёл. Он, не произнеся ни единого слова, оставил в груди фельдфебеля-патологоанатома половину пистолетного магазина. Ощущение оказалось сильнее его, отмеченного медалью войскового командира. Ощущение взорвалось в нём в одну тысячную секунды, как осколочная граната, ненадолго полностью разрушив разум. И лишь потом, только через час с небольшим пришло понимание, сознание стало склеиваться. Возобновились мыслительные процессы.

Бейбас, единственный, кому Евгений сказал о своих отношениях наедине с прикомандированным фельдфебелем в тростниковых плавнях, напрогнозировал Борятьеву расстрел за загубленного албанца, если узнает батальонный, а особенно Служба Безпеки, которая наверняка благословила предприятие албанского дольщика.

— Не узнает, — через сведённые челюсти провыл сотник, уже и так проклявший себя за свою, из детства идущую, неводержанность. — Кроме тебя, об этом больше никто не узнает... Пропал без вести косовар, испарился. На войне такое бывает. На ней и не такое ещё бывает, — добавил, выравнивая вдох-выдох. Снял с борта одного из грузовиков сотни ещё новую, в обрывках складской упаковки, лопату. С другой машины — такую же. — Лучше помоги прихватить эту косовскую мряку.

Они вдвоём стали зарывать торговца внутренностями на заброшенном огороде при неизвестно чьей опустевшей хате.

* * *

В первом взводе зовут зайти. Как объясняют, поест жареной на костре свежины — поймали в оставленном хозяевами сарае бокастого поросёнку; резал буковинский Солодчук, он из крестьян, привык. Обещают и чарку поднести: ночью у Гришки Зацаринного первенец родился, брат позвонил. Все земляки Гришки из Комарно загодя скинулись по гривне, двум, трём, ещё в Изюме, купили ему в станционном киоске бритву с поворачивающейся парой лезвий, чтобы молодой папик, наконец, сбрил свою чудакватую бородку.

Борятьев в охоту угощается свежиной, но от Невмировской фирменной водки отказывается: ни к чему это амикошонство с подчинёнными, вредно это.

— Ну, Грыць, твоему сынку — чтоб вырасти здоровым и счастливым, а тебе — семейного ладу и пухлого кошелька, — дополняет пожелание взмахом складной вилки, которая всегда с собой. — И вернуться домой героем... Слава Украине!

Взвод нестройно отвечает положенным приветствием.

— Дякую, панэ сотнику, — центр празднества, заострённый, как богомол, с широко расставленными, мутноватыми глазёнками и пышными ресницами, не имеющими цвета, будто запылёнными, подкуплен редким вниманием командования. — Обицяю, що нэ зраджу... Нэ предам. Для мэнэ цэ почетно — служиты пры вас.

Борятьев роется во внутренних карманах куртки, пока не находит там серебряно-мельхиоровый, ещё с имперскими вензелями Александра-Миротворца пустой портсигар, историю обретения которого уже и не помнит.

— Ты ж, по-моему, Грыць, курящий. Ну, так вот тебе на память. Не от сотника, не от начальника. Считаю — от боевого товарища.

Награждённый запорхал загибающимися ресницами и медленно принял из рук командира имперский подарок.

— Дякую, Евгэн Анатольёвич. Вэьлмы дякую. Знов обицяю — вы нэ пожалку́еце про тэ, що взяли мэнэ.

— Не сомневаюсь, что не пожалею! Как только можно будет, дам увольнение на пару дней. Поедешь, на сына посмотришь, — стучит слегка его в грудь Борятьев, собираясь уходить. — Ну ладно, хлопцы. Отмечайте и дальше. Но чтобы у меня — без чэ-пэ. Понятно? — С притворной строгостью глянул на комвзвода, журчащего носом и дёрганого Вовчика Салия, одетого в форму на два размера больше, с закатанными рукавами и штанинами.

— Так точно, Евгений Анатольевич, — высмаркивает исполнительный Салий, поправляя зброю на животе. — Слава сотнику! — гукнул в персонал позади.

— Слава! — не стройнее, чем в первый раз, отвечает взвод.

Борятьев подмигивает.

— Ну-ну, — невсамделишно грозит взводному пальцем. — Вот только давай без культа личности.

И идёт дальше, не поворачиваясь.

Второй взвод решает проверить потом. Там сейчас Бейбас нового отделенного представляет.

Шагает натруженными ногами к машинам третьего взвода, которым командует всегда чем-то неудовлетворённый кировоградец Павлюченко. Теперь вот из-за бронжилетов права качает...

«Да найду я тебе броники, ехидна, найду уже сегодня! Ты б и сам их давно своему взводу обеспечил, в натуре, если б у тебя этим голова была занята. А то только и знаешь, что перегонять отсюда ставшие бесхозными автомобили в глубь страны, на продажу, а то и отымать у даунбассов»...

Ещё издали услышал гогот и выкрики:

— Дай ему, совковой вше! Дай ему в хлебало, Тюрин. Ужми этого колорада! Нехай подохнет, лайно! Это ему за наших разведчиков, шо они позавчера пожгли...

Сотник с разбегу влетает в десятиголовое, обритое, шевелящееся скопище хаки-людей в камуфляжных разводах. Под подкованными носками тяжёлых британских ботинок сжимается на земле тело, одетое в неформенные, выпачканные ржавым, присохшим рваные штаны и когда-то бывшую белой майку. В теле различается седеющий и истощённый мужичок, задохлик. Его ещё два часа назад взяли на подходе к Белому Яру, в одном из оставленных домов — прятался в погребке. И уже тогда было понятно, что он не ополченец. Слишком немолод, и выворачивал ступню, опять же, подволакивая нестигающуюся ногу.

— За откол своего собачого Даунбаса вид нэньки Украйины голосував у апреле, поц? Воював проты наших? — Бейбас его тогда допрашивал.

Пороха на прятавшемся утром не обнаружили. Никаких свидетельств его партизанщины — тоже. Иначе сразу же застрелили бы или подвесили под стрехой любой хаты поблизости — в назидание. А так только: разбили лицо и сломали кастетом челюсть. Зачем же рейтары из взвода Павлюченки снова стали его обрабатывать? Похоже, что у схваченного в погребке только что, от прямого удара ботинка вытек глаз. Мужичок в крови закричал такой жутью, что, кажется, вся Борятьевская сотня затихает и оборачивается к месту казни.

— А ну, за-а-а-асохли! — сотник взнуздывает голос, заскакывая в ультразвук, от чего ломит уши.

Тернополец, сержант Гавриш, с бритой по бокам, с переда и затылка головой, вошёл в ритм и бьёт мужика под рёбра лопнувшим от упражнений мыском армейского бота. Сотник ловит его за шиворот и легко отбрасывает назад, метра на четыре, да так, что Гавриш валится в дорожную пудру, подняв грязные облака.

— Я кому сказал «засохли»? С первого раза не понимаешь, гондурас? Дальше буду уже бить в харю.

Солдаты в мгновение ока обрывают физзарядку, зная норы сотника.

— Так вин же — вата. Откольный с-сучавый. Сэпар! — пробует огрызаться тернополец.

— Доказательства того, что он воевал, нашли? — Борятьев полосуется отделением взглядом анаконды. — А раз не нашли, то нечего тут подкачиваться на ком попало... Он нам живой сгодится. Сменяем его на кого-нибудь из наших, кого вчера сепараты в плен забрали... И, в общем, — сотник, расцветая красными пятнами по шее и лбу, оглядывает свои списочные вооружённые силы, — вы бы лучше прыть в бою проявляли, а то буцкаете штатских, которые под ногу попадутся! — Оглядывает с недолгим вниманием лежащего мужичка, завывающего от боли и с силой

прикрывающего ладонью дырку выбитого глаза. — Приказываю: отдать этого в штаб, Купревичу, пусть сам решает, это его функция.

И печатным маршем идёт дальше — смотреть складирование боеприпаса.

— Сотник! — слышит сзади недовольный озыв.

Поворачивается. На него неторопливо надвигается Гавриш. Под солнцем бликует свежесбрившие виски и лоб; лишь на самом куполе — хвост волос, на манер казацкого хохолка — «осэлэдэць» или «селёдка», как его называли ещё в семнадцатом веке оборонители Руси, ухари Запорожской Сечи с днепровского острова Хортица. В ухе — медная серьга.

— Чего надо? Ты чего-то недопонял? — неприязненно бурчит сотник. — И почему не по форме обращаешься?

Гавриш подошёл почти вплотную.

— А вы, пан сотник, зи мною — по форме? Якэ вы мάλы право мэнэ торкаты пры рядовых? Я всё ж сэржант!.. И ще обрахаты...

— Ображаты? — топырит губу Борятьев. — Это я тебя не оскорблял. Это я тебе ещё комплимент сказал. Это ты потом узнаешь, как я крою... У себя, в своём городишке Збараже будешь быковать или откуда там ты сюда объявился, весь такой резкий! А у меня ты будешь шёлковый... И иди, иди, не зли мне характер.

Сержант отряхивает дорожную пудру со штанов сзади и нахохленно пялится Борятьеву куда-то во вторую пуговицу на куртке. В глаза не решается глядеть.

— Я рапорт подам. В штаб батальону, — выдавливает он гортанно, будто бы без помощи зубов. — Вы нэ маетэ права зи мною так... Й ще докладу про тэ, що обмэжуе тэ нас, колы мы колорадив гнобымó.

— Докладай, докладай, Гавря. Я таких докладчиков уже имел... — Сотник решает спрятать кулаки в карманы штанов, не уверенный в себе. — А про то, что я вас ограничиваю в вашем произволе, мы ещё поговорим. — Борятьев всей тяжелой статью покачивается — с левой ноги на правую, с правой на левую. — Вы, сучье стадо, тут страну защищаете от кацапских банд и их охвостий? Или свои делишки решаете? Думаешь, я не слышал, как ты утром, на привале, откровенничал с Тюриным? Базлал что-то в таком роде: «Где ещё в Украине можно теперь безнаказанно трахать любых баб, брать всё, что понравится, из любого дома! здесь можно снять с груди у попа золотой крест, и ничего за это не будет, кроме ордена!.. Да, сёпары могут и кокнуть, но уж такая судьба; кто не рискует, тот... не рискует!..» Или скажешь, что такого не говорил?

Сержант пожимает плечами.

— Ну й що? Так багато хто думает. И хто мэнэ за цэ засудыть?

— Я осужу. И тебе этого будет — с верхом, по горлышко... В бою-то ты не такой лихой. Я ж вижу, как ты всегда за углом ховаешься или по ямам, когда

остальные на сепаратов идут. — Борятьев понимает, что пора прекращать воспитательную беседу. Авторитету не способствует. Это не его, сотника, дело. Есть Павлюченко, взводный, пусть и воспитывает... Но не может не поддеть: — Хотя, чего ещё от тебя ждать? Бандеровец!

У Гавриша достаёт смелости поднять глаза. С удариением:

— Ну, я — бандэривец. А вы щось протыв маетэ? Бандэривици — найперши патриоты Украйины. А про тэ, що я ховаюсь дэсь у бою, цэ ще доказаты трэба. Вы свидкив нэ найдэты.

— Зачем мне какие-то свидетели! — подсмеивается Борятьев. — И кому доказывать?.. Ты запомни, Гавря, я для тебя — и следователь, и исполнитель приговора. И никто не пикнет.

Посчитав, что разбирательство окончено, собирается продолжать обход. Не удержавшись, ставит окончательную точку в воспитании. Или несколько точек:

— Ты, Гавря, рано хвост на дядю сотника решил поднять. Ещё одно кривое слово от тебя услышу — инвалидом сделаю на всю жизнь. Руку ты мою должен был запомнить. С того, первого боя, у Ясногорки. Помнишь, как я твоего дружка, Тюрю, приложил? Когда он, гнус, вместо того, чтобы драться с бандюками, шедшими на нас с северного боку, свою доблесть перед безответными бабками и детьми села выказывал, пугая выстрелами в землю у их ног... И ещё... — закрывает от солнца правый глаз, смахивая с лица комариный балет. — Давно хотел спросить по другой теме: а чё ты, Гавря, тут из себя казака запорожского строишь? Чуб-оселедец отрастил. Как бы — по стилю, потому что в Украине сейчас это в почёте? — он улыбается, но улыбка — из триллера. — Какой же ты казак? Они православными были, а ты — униат. Я ж знаю! Это как раз казаков из-за оселедцев и стали дразнить «хохлами». А ты ж у нас не хохол, а бандеровец. Как же! Вы ж — белая кость, совесть нации, вы ж хохлов и за полноценных украинцев не считаете! Тогда зачем рядишься, мразота?

И, не собираясь слушать ответ, гремит подкованными подошвами к сгружаемым с КамАЗов ящикам боекомплекта.

«Никуда эта бандеровская сопля рапорты писать не будет. Шакал, как и все они... А вот пулю между лопаток от него в бою я могу заработать... Впрочем, на то и бой: пуля может залететь откуда угодно — что от Гавриша, что от бандючеллы донецкого...»

* * *

Сотня как-то обустраивается на ночлег. Неторопливо и не основательно.

С новым докладом по пути заворачивает Бейбас. У него темнеют потные пятна на спине и у ворота.

Подсчитал, что в селе найдено двенадцатьtrupов; в основном — старики. Лишь одна — девка. Боевиков не нашли. А дохлого скота — без счёту.

— Хорошо, позвоню Ворожуку в штаб. Скажу, чтоб бульдозер подсылал. Будем хováть. У нас третий взвод сегодня меньше устал, чем другие; так скажи им, чтоб все трупы стаскивали по ту сторону шляха, подальше, чтоб не подцепить заразы. Раздай медицинские маски и прикажи взводному проверить, чтоб они после перетаскивания помыли руки с хлоркой. А я начну ставить второй взвод в охранение.

Заместитель устало козыряет.

— Бу сделано, Анатолийович.

Борятьев последовательно осматривает всего осунувшегося зама.

— Что, Валера, притомился?

Тот немного играет в браваду:

— Та с чего бы, сотник? Усё в порядке. Свеж, як огурец, — и кривоzubо лыбится.

— Ну-ну, — шелестит присланными штабными циркулярами Борятьев. — А как дела дома? Тоже всё в порядке? С родными общаешься? Что там у вас?

— Ничо́го особлывого, — Бейбас садится напротив командира, закуривает тонкую дамскую сигаретку. — Бизнес йдэ погано. Люди всё реже заказывают новы окна. Groшэй нэ хватае... Зато вдома — полный ажур. Донька в этом учебном годе будэ школу кончаты. Она в мэнэ отличница, на золоту мэдаль йдэ...

— Ну, пруха тебе! — откровенно грустит Евгений. — Не то, что мои.

Кью от Тореза. 27 августа 2014

Для ремонта батальонного мотохламья юному технику Дивайсу обычно выдают троих-четверых подручных из пленных. Сейчас же — лишь двоих, затащенных в правительственную армию по мобилизации или, в фольклоре, «могилизации».

Угрюмый мужлан с кустистой шеей, по которой механическим поршнем ходит рабоче-крестьянский кадык, Пили́п Горишин, из трудяг, судя по шишкам мозолей на исковерканных руках. Ноги в чужих растоптанных ботинках. Всё на нём чужое, свободно обвисает, хлопает от движений.

Проговорился, что по домашней профессии он сварщик. Вот и попал к Дивайсу. Откуда приехал — молчал (ну, большей же военной тайны не бывает!).

Кому какое дело здесь, откуда кто приехал! В стране уже давно никто не разделяется по адресам, лишь — по мечте.

Другой же — тёплый, желтоволосый, совсем одуванчик, мальчуган, призванный в Ковеле, именем Мусий, для ополченцев ставший Муськой. Всегда в разговоре кивает, настолько часто, что лишь удивляться остаётся: как только позвонки выдерживают! По стандарту волянян, говорит на протяжном украинском, через фразу вставляя польское раздосадованное «холера!», когда что-то не получается; быстро ест то, что дают, даже заметить никто не успевает, как он вычищает пластиковую мелкую тарелку,

зачем-то обязательно моет в конце минутной трапезы, будто её собираются вторично использовать. Ещё исхитряется немного из еды прятать в карман, чтобы позже подкормить тварину из кодла набежавших дворняжек или облезлых кошек, оставшихся в войну без хозяев; те сгнули или убрались из этих проклятых мест. Ополоумевшие животные хромой, осипшей оравой сбиваются со всего края, жмутся к людям, каким угодно, лишь бы к людям; иначе — гибель.

— Муська, имья в тэбэ како-то жидовське, — сонливо допытывается Дивайс посреди собственного перекура, сидя на ящике, облокотившись о задний люк добытой ещё в июльском бою давно устаревшей БМП. Муська воздерживается, потому лежит рядом, покусывая стебель дикого житняка. Над ними оскаливаются руины, когда-то называвшиеся районной машинно-тракторной станцией.

— Мусий... Это ж Моисей. То есть Мойша. Ты, часом, не из этих?..

— Та ни, — улыбается мобилизованный волянец, отмахиваясь, как от мошкaры. — В нас Мусий-ив забагато. То ж хрыстыянське имья. А вы, панэ Дывайсэ, з руських?

— Можно и так казать. Мал-мал и белорус. Мамка — бульбашка, з-под Витебску... — Дивайс сглатывает табачную горечь. — Усе мы — русские, з Киевской Руси. И ты тож.

— Дыво́во, — дивится Мусий. — А нам у школи нэ так пояснювалы... Чого ж мы воюемо? Якщo мы уси руськи...

— Да, воюем, и это наша, унутрянна вийна, меж русскими, и з твоей Волини, и з Слобожанщины, и з Курску, и з Мурма́на или, положим, з острова Сахалину... На мою думку, пиндосы с Европой так хотят. Шоб мы меж собою резались. Чем нас, русских, меньше, тем им жить просторней. Та й пиндосам и у Европе бы драчка не помешала, та й везде вокруг них, шоб казалось, шо сами они живут, почитай, в последнем затишке на земле, шоб усе денюжки мира к ним плыли, шоб самим жирнеть с того... Ну и, известно, им надо придавить Русь потому, шо их усе бояться... — Дивайс обрывает окончание посылы, отряхивает с себя сонность и разморенность и, загасив о броню остаток сигареты, возвращается из аналитического дискурса, а вместе с этим объявляет завершённым и перекур. — Ну, будет, пошли. Нам замечатель для гидромеханики реверсной передачи дизеля дэсь шукать надо и левый трак натягивать. Придётся натягивать вам двоим. Я не смо́жу: у меня дырка от прострела у шеи ще свежа, болыть... Я лучше тормозной механизм слева буду перебирать... Де твой однополчанин? А ну, шумни его!

Муська, всё ещё мутирующим мальчуганым голосом зовет престарелого сварщика, заснувшего в тени развалин:

— Пан Горишин! Йдэмо працюва́ты, пан Дывайс клы́че.

* * *

Утро блестит, горизонт размыт, пелена нагретого воздуха колыхнется зыбким маревом. В накаляющиеся небо идут соки земли, вся её страсть. Поле вокруг дышит. Высушенные солнцем подсолнечники. Каждый боец хотел бы семечек, но никто не пойдёт — остались противопехотные подарки от нацгвардии; она тут неделю стояла, мало ли чего припасла для сменщиков...

Ольховой не спал всю ночь, живёт вчерашним, ворочает сейчас это вчерашнее в тяжёлой голове.

Вчера, ближе к вечеру, ездил в горбольницу со списком; Довгало договорился с главврачом. В палатке Ольхового всё заканчивалось, особенно анестезия и пенициллиновая группа, и шприцев — лишь полкоробки, а это на день, ну, на два.

Батальонный дал свой «бобик». Николай согласился только на Шлыка шофёром. Другие — не здешние, всех троп тут не знают. При этом на Шлыка можно положиться, как ни на кого: наученный, внимательный, слушает каждый шорох листа. Когда надо — взрывающийся, когда надо — неторопливый, всегда занимает верную позицию для стрельбы; отстрелявшись, прикрывает прикладом у себя то, что обязательно надо прикрывать. Если бы Ольховой не знал предысторию этого цыганского отродья, то был бы уверен, что оно заканчивало диверсионное отделение спецучилища, настолько это отродье было приспособлено под войну. И стреляет — на загляденье, и пустыми руками умеет, а также ножами, лопатами, палками и всем остальным, что выхватит конокрадский глаз, к чему можно дотянуться. Такой ролью жить надо!..

Загрузились в больницу нужным и стали осторожно выезжать из госпитального двора, который целиком заняли раненые в больничных пижамах, а дамы — в легкомысленных пеньюарах. Все, наверное, до одного, вышли из корпуса, кто мог ходить, чтобы глотнуть остывающего к вечеру воздуха.

Машина выезжала за ворота. Ольховой и на улице, вдоль квартала, увидел немало гуляющих в пижамах и исподнем. Те, у кого ещё оставались гривны, выжидали в очереди к продуктовой лавке на углу улицы — конфеты-суфле, воды-пиво, яблоки-бананы. Не ругались, как обычно в очереди, а, видимо, неторопливо вели среди своих политинформации и делились вестями с полей.

Шлык уже собирался проезжать перекрёсток, как Ольховой услышал на высоте, в подлёте, развязный и тонкий звук мины, среднего диапазона. Вдогонку — другой, побасовей. Услышал и Шлык, потому что рывком ускорился, послав в непристойном направлении все базовые правила, через встречное движение в запретный для проезда переулок. И сразу же сзади детонация раскромсала пространство.

Оба обернулись. Вслед догонял хлористокрасноватый клубящийся ком воздуха, собравшего камни, землю, фрагменты взорванного перекрёстка.

По «бобику» посыпалось и стекло, и древесная труха. На капот бахнулась оторванная ударной волной ветка каштана, потом — кровавый обрубок в лоскутах ситцевой пижамы.

— Вот нам и подарунок от укропов. По больничке целили, падлы! Да тильки в них руки не с того места растут, ничего не умеют, даже попасть. А потом ще скажут, шо то мы пуляли.

Николай высунулся из окна. Больница вроде бы задета не была, а на месте лавчонки и очереди — следы взрыва... Оттуда шёл уже чёрный дым. В прогалинах можно было видеть несколько разодранных в стружку тел на тротуаре и на дороге. Загорелся ИЖ-«каблук» у киоска, на заезженной резине четырёх колёс, — стоял тут, верно, для подвоза товара. Уцелевшие люди, сметённые психозом, уже стойко засевающим в них за последние три месяца, семенили, рвались — кто куда. Безумный вой женщины, упавшей на колени от увиденного; ноги не держали...

— Стой, мне надо туда! Останови! — Николай дергал Шлыка за рукав. — Там же люди!

— Та ты дребанулся, штоль, Богданыч! Убитым ты вже не допоможеш. А раненых и без тебя больничные соберуть! — Цыган яро выдёргивал правую руку из вцепившихся хирургических пальцев. — Да отпусти ты! Я ж так вести не могу. — Потом как-то извинительно: — Я не маю права останавливаться. Пойми ты, мне Голова сказал сурово: только в больничку и обратно. Не останавливаться ниде, даже если дождь пойдэ з укроповских знамён. Даже если ихний президент на дороге сам буде стоять и голосовать попутку. Не маю я права... Нам с тобою, Богданыч, сейчас погибать не можно. Тебе ещё столькох залатать надо! Впереди война длинная, падла! А мне... мне ещё много чего нужно сказать укропам...

Ольховой дословно вспоминает Шлыка.

Николая всегда резало это — «укроп». Как затуплённым консервным ножом разрезало. Все неукраинцы в движении Отпора так называют: и местные, и донские казаки, и горцы, и русские с Печоры, и русские с казахстанских просторов, и втянувшиеся в ополчение приبلуды с атлантических берегов. Украинцы же в ополчении, понятно, не могут так небрежно о вчерашних своих, по ту сторону поля, поэтому подбирают синонимы, как угодно: вуйкó, бандера, свидомйт. Ну, и «нацик» — универсально для всех в Отпоре.

Уже через неделю после появления здесь, ещё в начале лета, Ольховой не сдержался, спросил кудрявого комвзвода Затохина, промышлявшего до войны уличной рекламой на щитах в Донецке:

— Так я тоже, по-твоему, укроп?

— Т-ты... ты шо, Айболит! Бог с тобою! Який же ты у-укроп! Ты ж наш, украинэць, — начал пристыжено выводить заикания взводный, и, ступшевавшись, как бы выпрашивая о снисхождении: — Т-та в мэнэ жинка напов-украинська. И сам я...

Теперь, сидя у палатки и снова проживая вчерашний удар миномётов, Николай вдруг задумывается, о чём не часто думал — о национальном, родовом.

Его это почти не касалось в той, прежней, очень давней жизни. Да, любил песни, до дрожи рук. Часто ставил на проигрыватель старую, ещё сороковых годов пластинку Оксаны Петрусенко, на 78 оборотов, «Ой, не світи, місяченьку, не світи нікому». Родители показали. Сердце обрывалось и останавливалось. Пластинка была заезжена всеми поколениями Ольховых посредством граммофонной иголки до такого состояния, что через неё под конец можно было рассматривать солнечное затмение... А ещё был Анатолий Соловьяненко — «Чом, чом, земле моя», Паторжинский...

Всегда в потаённых закоулках чего-то, что всеу принято называть душой, тепло ёкало, когда читал или слышал о людях, одного с ним роду-племени, дошедших до самых вершин в державе — бывлой, большой, которой уже нет. Кто-то стал первым министром и канцлером Империи, кто-то — министром обороны Союза. Кто-то вырос в величайшего биофизика, кто-то разрабатывал самые первые и самые дальние в мире ракеты, а на чьем-то режиссёрском новаторстве учат и по сей день киношников всех континентов. Но на этом всё-таки слишком не залипал. Последний год в школе был отдан только сверхмечте. Хирургии.

С чего началось такое наваждение, уже не помнил. Пошло всё, вероятно, с той операции, которую он в пятнадцать лет прочувствовал на себе самом. Прочувствовал не саму операцию, уточнял, а её последствия. Приведение в норму скривлённой с материнских родов одной из лодыжек сделало его совершенно полноценным. Настолько полноценным, что навечно были забыты детские унижения и подавленность от того, как его щадили на физкультуре в школе, как он никогда не играл мячом с дворовыми в «штандер». Настолько полноценным, что без каких-то оговорок прошёл медкомиссию в академии.

Видимо, в месяцы перед операцией и после он восхитился строгим очарованием труда своего хирурга, Вилена Игоревича, собранного, всё на свете прочитавшего, пунктуального, ироничного; подростка Колю Ольхового задевал вызов этого занятия — спорить с анатомией, исправлять то, что запущено или испорчено. Так что с тем, на кого учиться, было определено давно. Никаких подтачивающих сомнений! Лишь вопрос: где?

Немного разобравшись в окружавшей жизни, понял, что врачи в стране — не самое привилегированное сословие и зарабатывают плохо. Тем более, что под конец школьной беззаботности из семьи исчез папашка; ушёл, вылившись на прощание нелепой и затянutoй, покаянной речью. О маминой же одинокой поддержке и разговор не шёл: она б не сдюжила тянуть сына все годы учебы в медицин-

ском (а годы эти дольше, чем в любом другом институте...). Так что, как ни соображай — только Военмед имени Кирова, на полный казённый счёт. И после академии... Тогда офицеры ещё получали пристойно; пристойней, всё-таки, чем цивильные коллеги.

* * *

Из мыслей о вчерашнем и своих началах его привлекает ассистентка. Вокруг всё ещё скрипит и нехотя бухает дальними взрывами война.

Фельдшерица привела немного покалеченного в сегодняшней быстрой свалке с разведывательным взводом тербатальона «Хороб», грязного по шею солдата. Многозначительно улыбается. Не по поводу пациента. По совсем другому, ясно.

Втолкнула в палатку страдальца. Ольховой затропился вслед. На сей раз предстоит вправлять вывихнутый локтевой сустав. Вправлять незнакомому бойцу, не только грязному, но и вонючему, обветшалому, мелкому, измазанному кровью, хотя, по всей видимости, не своей.

У входа в палатку Оксана шепнула Ольховому в ухо то, что ей сказали привезшие о покалеченном.

— К вам как обращаться, друг?

Обветшалый трясётся от боли, смотрит на врача затравленно.

— Киря. Шерстобитов.

— А сколько вам лет, Кирилл? — старается Ольховой подобрее.

— Тридцать восьмой пошёл...

— Быть не может! — Меняется лицом хирург. — Я думал, ты старше меня. А мне ведь уже хорошо за сорок.

Шерстобитов перестаёт трястись и осторожно кладёт вывихнутую руку на толстый лист фанеры, подразумевающий операционный стол.

— А вы, доктор, поработайте в шахте семнадцать лет кряду, так я погляжу, на сколько вы будете выглядеть. Я ж горняк в трёх поколениях, с Енакиева.

Николай смотрит на бедолагу с сожалением.

— Чего ж ты воевать пошёл, горняк? Мне Оксанка сказала, что твой командир тобой не очень-то гордится. Ты и стрелять-то, по его словам, до конца ещё не научился. Автомат, вон, весь покóцанный. Я ж — военный. Вижу, не бережёшь его. Это ж не за сегодня ты всё цевьё ободрал, ремня нет, в стволе трава торчит...

— Чего я воевать пошёл? — Глаза у горняка разливаются карим несчастьем. — А вы б не пошли воевать, когда вашу племяшку, ещё школьницу, спаскудили трое бугаёв из нацистской гвардии в Мариуполе? Поймали на улице, затащили в бойлерную под разбитым домом, и понеслось... То ли все вмазанные были, то ли накуренные. Ржали всю дорогу промеж друг-дружкой на непонятной мове, лицо племяшке изрезали... Сейчас она в «дурке», лечат, она после того случая дважды хотела с крыши стрелбнуть, еле

успевали за руку ловить... Сеструха моя — в милицию, а ей там: нужно лучше за дочкой следить... Дело отказались заводить. — Шерстобитов непокалеченной рукой смазывает с грязного лица мокроту, безвольно сочащуюся из глаз. — А вы, доктор, спрашиваете, чего я воевать пошёл! Автоматом моим попрекаете... Да вообще — доманали они меня, до самой хребтищи! Вы бы не пошли воевать, когда вас за скотину принимают! Те, с хунты. Когда учат, как надо Украину любить, будто я без них не знал! Когда заставляют по-ихнему молиться и думать! Когда пообещали всех недовольных «новою владою», ну, хунтой, всех в шахтных копанках засыпать! Вы бы не взяли автомата?

Хирург внимательно изучает куртку горняка.

— Сам сможешь снять?

Тот опасливо вертит головой: не-а.

Николай начинает резать правый рукав камуфляжа огромными ножницами закройщика, наточенными о булыжник.

* * *

Вправил сустав быстро. Шерстобитов жмурился с силой, боясь живодёрских мук. Добела накалённая боль и прожгла его всего, но лишь моментом. А затем, сразу же — успокоение; он с нескрываемым идолопоклонством смотрел на избавителя...

Когда подправленный горе-комбатант уплёлся, Оксана рассказывает, что приходили от Головы. Тот «велел негáйно прибыть».

Ольховой налаживается на поиски: Довгáло на месте не сидит. Вероятно, сейчас зовёт из-за тех двух захваченных важных бандер, которых ещё вчера должны были привезти из-под Кутейниково; у одного из них, как говорил батальонный, нога — чуть ли не на ампутацию...

Николай видит батальонного в тополиных тенях, у архивных, мало дееспособных гаубиц — их после Отечественной не использовали, лишь недавно привезли из городского сквера, даже защитная покраска ещё не поскреблась. У экспонатов гудит и посмеивается расслабленный, полураздетый штурмовой десант, покуривая, попивая по кругу воду из пластмассовой бадьи.

— Ну, мы со Скоморохом, ёпсть, швидко в сгоревший дом и впрыгнули, — начинает различать Ольховой, подходя ближе. Вещает ополченец с гладким лицом, без рубашки и майки, подставивший спину и татуированную шею солнцу под загар. Хирург, потрясая свою память, как пыльный ковёр, не враз, а по буквам выбивает из неё позывной вещателя: В-е-п-рь. Один из старожилов, бьётся с самого начала, добрался мопедом-пешком из Чернигова, на окладе футболил за город. Ольховому говорили, что стреляет Вепрь — как дышит, в любом положении, при любом освещении, а ногами дерётся так, что и рук не надо. В его, впревом, перечне уже полсотни значительных пленённых врагов. Служит в знамени-

том отряде захвата, под началом самого Скомороха. О них стали слагать сказания. — Впрыгнуть-то впрыгнули, — слышит Николай уже отчётливей, — а там четверо укров, из передней розвидки, ёпсть. Ну, двоих мы тут же уконтрапутили, один оставшийся пытался убегти, ёпсть, но Скоморох ему стрельнул по ходулькам. А второй, оставшийся, уже собирался дёргать за гранатную чеку, ёпсть, я еле успел нажать на курок...

— Не мог ты на курок нажать. — Довгало не в духе, примериваясь уходить. — Курок у автомата чи пистолета, то такой механизм ударного бойка, як молоточок, бьёт по капсюлю. Курок так звётся, бо вертить при ударе наконечником, як жива кúрка головой. Но его ж не видно, сука, он внутри корпуса. А то, за шо вы все стреляете, то бишь на шо нажимаете, звётся спусковым кручком, або спусковой скобой... Говóрю это вам всем так, для вашей общей интеллигентности.

И замечает Николая.

— Пишлы, Айболыт. До тэбэ е справа.

Ольховой пожимает батальонную руку.

— Какое дело? Привезли, наконец, тех двоих нацев? Ну, по поводу плохой ноги у одного из них...

— Та ни, ще не приввэзлы, хай йим грэць!.. Наши хлопци звóнять, говóрять, шо не можуть побытыся, усюды посты нациков, сука. Вночі змогли тільки задами, огородами пиддыхаты до сэла Благодатного. Може, як будэ тэмно, спробують пройыхаты напрямкы чэрэз полэ. Пёхом нэ выйдэ, сука. Той старшой, з схваченных, який хóдыты нэ може, такый хряк мощный, шо його на руках нэ понэсты... Ладно, будьмо й мы ждаты, хлопци чогось надумают. А поки шо — тобi трэба глянуть того, шо Вэпрь со Скоморохом приволокли. Чув, шо Вэпрь казав? Нацiku ноги прострэлылы, щоб нэ вбiжав. Тэпэр плаче, сука нацгвардийська, як дитяча мала. Так ты глянь — шо да как. Пули повытаскуй. Помажь там чым-нэбудь... Ну, нэ мэни тэбэ учыты.

Они идут в сторону жалкой, никудышной рощицы, стыдливо прикрывающей, будто с бока зачёсанный локон, проплешины голой, как череп, запущенной пашни. Даже не рощицы, а чего-то весьма прозрачного. По пути комбат матюгает бойцов, которые устроили склоку по поводу того, кому закапывать трупы брошенных тут нацгвардейцев.

Перед тем, как батальон Довгало занял позицию, её держала рота правительственных внутренних войск, присланная аж из-под Ивано-Франковска. Костяк роты — о чём говорила стрельба — был свидомым, идейно-выдержанным, дрались, пока не закончились припасы для боя. Но, к удивлению старослужащих Отпора, укатывая отсюда на запад с пустыми патронниками, почти сохранив свою технику (лишь пару бронетранспортеров с сожжёнными в лохмы покрывками отдав нападавшим), остатки роты не стали, как раньше, забирать polegших сослуживцев. Оставили всех, даже ещё шевелящихся,

не схоронив убитых, на ночную потребу лисам и воронам.

— Как теперь убежденные будут смотреть в лицо родителям? Родителям тех, кого они тут побросали... Они ж все, понимаешь, с одних и тех же сёл и посёлков, — с выползшим знобящим страхом спросил подпалённый в том бою ополченский воин-чулымец, меткий охотник на соболя, узкоглазый, не по-славянски круглолицый, с позывным Харакири, приехавший стрелять откуда-то из-за Енисея и после боя попавший к Ольховому на обработку ожогов. И думал охотник, наверняка, в тот миг о себе, окажись он на месте брошенных. — Как они могли так со своими же?

— А ось так и могли, — тяжело ответил Довгало, пришедший проверить, как устраивается хирург, сразу же после установки госпитальной палатки. — Цэ вам наука.

Семён Довгало, под которым и служит Ольховой, при приезде того в расположение, в июне, перво-наперво самым подробным образом выпросил всё у военврача. Спрашивал даже о сокурсниках, спрашивал о тех, с кем знал на последующей службе, номера госпиталей. Потом всё это, безусловно, проверялось спецотделом движения Отпора.

Но, чтобы не показаться мнительным, кое-что рассказал Ольховому и про себя. Вроде бы, получалось взаимное глубокое знакомство.

Приехал Довгало, по его быстрым показаниям, от самой Матери городов русских, из спящих и заштатных Броваров. Вчерашний... — ладно, пускай, позавчерашний — инструктор огневого контакта в милицейском училище, готовил и парней из «Беркута». Новую власть поклялся уничтожить после поджога его выучеников зимой на Грушевского, улице Институтской и Европейской площади, за «беркутов», поставленных на колени во Львове и Ровно, за филаретов-денисенков, самозванцев, раскалывающих православие Руси, за бандер-униатов, схвативших страну за горло, не просто не скрывающих, а кичащихся своим омерзением от схи́днѣко́в — и совсем не кацапов всяких, москалей, а таких же украинцев, которые на востоке, — омерзением от манеры говорить, от раздобревших форм, от православия, посмеиваясь: «их бородатые попы ладаном проворачивались...»

— Ты чуешь, Айболит, они ж нам гово́рылы напрямкѣ: вы — недоделки, низшая раса по отношению к захиднякам, западынцам, греко-католикам, щирым европѣйцям, не знавшим крепостного права. Всех, кто восточнее (даже годовалых дитѣк!), записывают в алкоголики... Ещё бы: в Галиции ж алкоголизм неведом! Там же одни ангелы летают и питаются тильки цветочным нектаром!

Для Довгало, давно разменявшего пятый десяток жизни, вдруг стало совершенно очевидным:

— Захидняки — не украинци, зѳвсим нам чужи, они ж точили, оказывается, на нас ножи вси симдѣсят чотыри роки у составе республики.

Он с удивлением припоминал свою дембельскую связь с Хры́стей, Христиночкой, колдовски красивой девахой из Старого Самбора, говорившей на лемковском искривлении мовы. (Уходил со срочной в запас с лесной заставы на самом начале Днестра.) Помнится, тогда у них двоих всё складывалось, даже женихались...

Про семью свою ничего не говорил, держал в себе. Вряд ли кто в батальоне что-нибудь знал.

...Звонок от комбата:

— Айболит, давай у штаб! Ну, который в столовке... Хлопцы бандер привѣзлы. Я тож зѳраз туды иду, — Довгало был краток.

В столовке-штабе-складе электричество не появилось. Да и с какой стати? Тужатся бензиновые коптилки и пара шахтѣрских ламп.

Одновременно подошедшие комбат и хирург протискиваются через неорганизованный хурал ополченцев, окруживших звѣзд группы захвата и привезѣнных ими двоих гостей.

Сквозь подрагивающие длинные тени частями высвечен ужаснувшийся поляк нечѣткого возраста. В натовской форме без погон цвета кофе с молоком; вся в защитных разводах, она скроена для боѣв в пустынях Месопотамии. Найманец сидит на корточках, потѣкший, в чаплинских усиках и торчащем дикобразе коротких волос. Сразу же начинает для Довгало более-менее произносимо ведать о себе по-русски, быстро перескакивая со слова на слово: Ра́фал Жимчак, город Познань, по набору, хорунжий в отставке, командир танка, записывали в легион в Варшаве, улица Доманевска, записывал какой-то американчик, флотский (даже представлялся, но не удалось запомнить), в джинсах и форменном пуловѣре с надписью «корвет Vanquisher», две тысячи во-семьсот долларов в месяц, двухгодовой оклад семье в случае гибели, в Познани работы мало, платят чепуху... Трепещет, сопливится, выклянчивает жизнь.

Второй — здоровущий, на порядок больше любого присутствующего, с остриженной под машинку головой, потный толстяк, в обычной форме, не пустынной. Его посадили-положили в валявшееся на полу пассажирское кресло, открученное из автобуса.

— Ну и бизон! — знакомо кричат Довгало, рассматривая. — Такого заместо трактора нужно в плуг запрягать. Справиться не хуже...

Форма гиганта в проколах и забрызгана, но по вороту и по берету видно, что облачение новое, недавно со склада. Мало ношенными выглядят и высокие кожаные ботинки с подкованными каблуками и носками, на четвѣрке ремешков, не на шнурках.

Толстяк — с разодранной от бедра левой ногой и задетой рукой. Левый бок тоже побит. От боли бизон кривится, заламывая губу. Увидев подошедшего и склонившегося к нему старшего из хозяев (как можно заключить из уверенной повадки бородатого низенького качка), и особенно того, кто пришѣл с ко-

мандиrom, у него с лица почему-то сходят страдальческие очертания.

Он, как заколдованный гипнотизёром, прошёлся застывшим глазом по комбату, чтобы потом медленно перевести на Ольхового и так свой открытый глаз закрепить на всё последующее время.

Николай рассматривает вблизи разбитые в драке лица обоих пленных, исследуя темноту подкожной крови. У бизона совсем заплаыл другой глаз, верхнее веко отекло.

— Нашу мову розумиєшь? — Довгало ему. И для чего-то переводит: — По-русски понимаєшь?

Громадина, иссохлым языком зря облизывая треснувшую губу, отвечает едва различимо, вприсвист, как проколотый мяч, испускающий дух:

— Самый глупый вопрос, на который в жизни мне приходилось отвечать...

Ольховой едва ухватывает начала слов, а слабый на ухо Довгало совсем ничего не может разобрать.

— Я спытав тэбэ: з яких будєшь? Тэж лях-ляшок?

— Я не лях. И не ляшок. Я українец, в отличие от вас, — бизон еле раздвигает искусанные и разбухшие губы.

— Ты глянь! — изумляется Довгало. — А поруськи говóрьть краше, ніж я сам... — Обводит окруживших его степняков повеселевшим взглядом. — А ты, хлопак, часом, не з России? А то я вже бачив таких. Сам руський, а за нацистив воює!.. Начальну подготовку тут проходишь, щоб у России пóтим повоювати?

Толстяк слабо шевелится, поглаживая разорванную ногу значительно менее разорванной рукой.

— Я уже сто раз говорил вашим подчинённым, которые меня сюда тянули. Я українец. Здесь родился и вырос. Чего вам ещё от меня надо? Мои документы у вас.

Ольховой внимательнее рассматривает сидящего на автобусном кресле исполнина. Изучает не столько продранные борозды в застывшей крови на его ноге, сколько лицо. Голос толстяка просто ударил Николая, даже ненадолго поплыли в глазах остывающая накануне ночи земля и полукруг бойцов, обступивших его и комбата, и обоих пленных.

— Семён Данилыч, — он отзывает Довгало в сторону, — если по внешнему виду, то того пшека не задело, и моя помощь ему не нужна. Пусть ему просто дадут умыть его польскую рожу холодной водой, и со временем у него табло выправится. И, в целом, пусть помоеется... Хотя нет ли у него болевых симптомов помимо тех, что появились от того, что его наши орлы отметили? Я его позже посмотрю. А вот у бизона нужно сейчас же быстро в ранах порыться, чтобы не началось самое скверное. На первый взгляд — раны поганые.

— Да, конєшо, Айболыт. Негайно забурай його. Повторюю: вин нам потрибен годный, не хворый, не покалеченный. У нас на нього вэлыки планы. Йим персонально наша спецура займэться. А пóтим... Або

будэмо його показувати телевизионщикам закордонным, як дóказ того, хто проты нас воює, або зминаям його на когось-нэбудь з наших. По званію можемо, нáвить, його на Конопенку зминяты... А шо? Конопенко був у нас замом начальника контррозвідки, у полон ще в минулому мисяци попав, у бою пид Северском, а цэй бизон, як мэни доклáлы, у них зараз служив по звязку з закордонными розвідслужбами. И був сотныком каратэльного батальону, шо шов на Донэцьк.

Ольховой ещё раз оценивает гиганта.

— Давай, Семён Данилыч, подгоняй сюда машину, и пусть парни его грузят. Они его на руках в мою палатку не донесут... Мужчина, видать, центнера полтора весит, если не больше... Ч-чёрт, боюсь, стол его не выдержит...

* * *

В медпалатке — привезённый полуторацентнеровый пленный и хирург. Настороженно-внимательно рассматривают друг друга.

Николай до этого отослал незаменимую Оксану за дополнительным освещением; керосиновые лампы, электрические фонари, стеариновые свечи — всё сгодится. Пока же он подносит к оплывшему лицу толстяка автослесарный светильник, питающийся с обычного аккумулятора, который достался от распоротой пулемётом малолитражки — накануне везла харчи батальону.

— Жетон? Жєня?.. — Ольховой заговорил глухо, будто из-под одеяла. Даже сам удивляется не совсем своему голосу. Зубы постукивают, губы подрагивают. Руки тоже. — Борятъев? Неужели ты, Жєнь?

Раненый, мигая, смотрит одним глазом в лекаревы оба, корёжа в ухмылке черту разбитого рта.

— Да, Коля. А я вот сразу узнал тебя. Всё такой же подобранный, прямо как вьюноша. А к нашим годам мужики, чаще всего, раздаются в животе. Пивко, ничего не поделаєшь... Сколько же лет прошло, вьюнош!

Ольховой пробует считать.

— Да уж, верно, не меньше тринадцати. Если помнишь, я в начале нулевых годов приезжал в Черкасы. Последний мой приезд, на сей день. Попаду ли ещё?..

— Да, припоминаю. — Огромный мужчина слабо шевелит посечённой рукой, которой он всё потирает то бок, то разорванную штанину над коленом. — Ты тогда со своими одноклассниками выпивал. Если б я случайно не заглянул в наш шалман «Якорь» (у меня там была назначена, помнится, встреча с одним из торговых партнеров), мы б с тобой тогда и не увиделись... Ты, как я помню, был во всём партикулярном, но говорил, что офицер, в отпуске, служишь в русской армии. Что-то по медицине... — Открытым глазом обводит собеседника всего, по линии силуэта. — Так... Значит, вот в какой ты армии!

— Я уже давно, Жетон, не в армии. Уволился. — Ольховой опускает фонарь, чтобы не пережечь этот пока один, видящий глаз пациента.

— Но всё ж костоправишь, как выясняется. И у кого!!!

Кюгу от Тореза. 28 августа 2014

Командир батальона для охраны израненного пленника подсылает Ольховому немногословного солдата, твердокостного, недавнего комбайнёра агрофирмы из-под Старомлиновки, одной из первых захваченной галицийской «гвардией». По виду этот бывший аграрий — в норме, нетерпеливо играет предохранителем автомата, то переключая на стрельбу очередями, то на одиночную, то на стопор, то снова на очереди.

— У-у-у, ну и темница! — поговаривает и пощёлкивает.

Проходя мимо, однако, Николай отмечает едва уловимый запах. Внимательно осмотрев глаза сторожа при свете ночника, хирург понимает, что экс-комбайнёр несколько в подпитии.

На малое злоупотребление в батальоне Довгало смотрит если и не с одобрением, то с пониманием; наказывает, но не больно — сам не абстинент. Всё ж можно и выпить для того, чтобы в чувство прийти в перерыве между атаками. Не колотья же! Это пусть вражина колетя. Как накануне взяли у деревеньки за аэропортом нацистский пост, по которому всюду шприцы на дне окопа лопались под каблуками.

Но не приведи Господь, что батальонный делал, если по вине перепитого воина случался сбой, не говоря уж о большой беде! Во второй роте каждый помнит особенно тягостное утро 16-го августа в полчетвёртого, когда уже сивушно-невнятный и засыпающий Бомбила на засаде охранения не засёк трио диверов, осторожных диверсантов, вырезавших ножами караульных у подвала с артснарядами, гранатами и остальным боезапасом и даже начавших закладывать радиомины, обмотанные пластидом. Батальон остался бы не только без огневого ресурса, но и был бы подорван, не меньше, чем напополам.

Комбат цепко вглядывался в закошенное лицо Бомбилы, икающего, быстро трезвеющего. В конце осмотра, ничего не сказав, Довгало вдавил в сердце сорокадвухлетнему ополченцу, таксисту с улиц Горловки, единственную, но вполне достаточную пулю из «калашника».

Тогда попытку удалось придушить. Всех троих диверов взяли. Без документов, как всегда с диверами и бывает. Приходилось верить засланцам, сразу же обмякшим, на слово, хотя — какая разница!

Втоптаный ребристой подошвой в траву, под тычущимся в затылочную шетину стволом один из них, изворотливый, захлёбывался украинским, сплёвывая кровь разорванного рта, что из Гайворона,

что соблазнили, — где сейчас ещё в стране такие грёши получишь! — что шёл войной на оккупационное полчище, а оказалось... Что давно разочаровался, что это убойня, эта бесконечная степь, эти ночные прогулки...

Рядом скрежетал зубами молдаван, неизвестно откуда, отказавшийся говорить подробно.

Третьим, старшим дивергруппы, исходя из подчинённого к нему обращения гайворонца, в резком свете шахтёрской лампы вылепился датчанин, как сам объявил. С остывшим взглядом, схожим с осенним медленным закатом. Коротко, по-мальчишески стриженный, сухой, мышечный, в форме ефрейтора украинской армии; назвался Магнуфом...

Ему связали руки и ноги отрезком электропровода. Он попеременно, то на эскимосско-русском, то по-английски, не надеясь, просил не убивать. Готов к какому угодно сроку, пусть даже на Алдане, в урановых коях. Говорил, что тоже давно разочаровался в этой, без будущего, Украине, уехал бы, но командировка лишь через три недели заканчивается, а затем предполагалось повышение в должности, у себя... Подрагивал, но держался, не плыл в слюнях, как большинство связанных за предыдущий месяц наёмных ландскнехтов с проправительственной стороны. Все трое приползли из тербатальона «Хорол», из-за поля.

Диверов столкнули в двухметровую воронку от недавней ракеты, со скорбным прощанием: «Вот ваши тут и окопчик для вас отрыли». Вбросили туда сначала одну, потом другую гранату-лимонку, и, скупясь, присыпали, не более метра — лишь бы не воняли со временем в круглосуточной жары. Гранат накануне нарыли много, наткнулись на «захованку» регулярной армии при подходе к Малой Шишовке; а патроны становились дефицитом, пока не удастся отобрать цинки у отступающих или убитых из тербатальонов.

За прикопанного датчанина спецотдел Донецка чуть было не вынес исключительную меру самому Довгало.

— Ты шо?! — с диким лицом, шёпотом (чтобы солдаты не услышали) орал на него Монастырский, новый замначальника контрразведки, задёрганный, уставший дедун в роговых очках, уже девять лет как не районный прокурор. Он специально приехал на трофейном «Хаммере» в батальон Довгало, чтобы решать что-то с эксгумацией датчанина. В их политучёбу попал и Ольховой, которого вызвали для совета по трупным изменениям. — Мы тут с ног сбились, поодиночки збырая натовцев, шоб предъявлять их миру, а ты, комбат, вбиваешь таку бесценну улику!..

Но дни сменялись новыми днями, а Довгало, не колеблясь, продолжал расстреливать. Бывало, что и своей рукой. Стрелял и схваченных тербатовцев, и двух собственных слюнявых мародёров, которые возили на батальонном ЗИЛе ухваченное из разбомбленных и оставленных хат и квартир.

При отбитии очередного села из-под опеки у́ряда (все называли новоприобретённое украинское правительство только так), выезжал к тому, что считалось центральной площадью, на внедорожном «Сузуки», реквизированном кем-то ещё до войны у автомайдановца в оставленном ныне Славянске.

Машина была забита сокрушительной техникой: предусилителем, низкочастотным усилителем, вуферами, сабвуферами, терминаторскими динамиками, ещё чёрт знает чем... И, включив все децибелы, Довгало вколачивал насыщенными, раздолжными басами по селу и окрестностям, проигрывал один и тот же привезённый из дому компакт-диск с подбором песен, лучших, пожалуй, из очень недавнего, общего прошлого. Ласкающую «Услышь меня, хорошая» баритоном Георга Оттса сменяла маршевая «Летят перелётные птицы» от Владимира Бунчикова, а за ней — печальная, как бы рефреном, «Летять, ніби чайки, і дні, і ночі, в синю даль...». А в послесловие — обязательное «Прощание славянки»: среди грома геликонов и литавр истонченным серебром вышивали флейты.

— Большой був человек, цэй Васыль Агапкин. Такэ написать! Ось сколько вже слухаю (аж не поверишь, Айбольт!), а мурашки всё одно по шкири йдуть... — сказал он в один из таких перформансов Ольховому, после взятия батальоном деревни Корчеватое. — Цэ в нас така традиция, Айбольт. Заivismь митингу. Митингуваты нэма колы. То ж нэхай люди чувють, шо свои прыйшли...

* * *

Борятьев всё ещё кусает от боли нижнюю губу, но одноглазо и въедливо всматривается в бедный интерьер медпалатки. Ворочается на нестойком и жёстком осмотровом диване, на который его сгрузили ополченцы, в насаде внесшие в хирургию более полнотура центнеров вражеской плоти.

— А что за картинка у тебя приколата на стене? Сам рисовал? Я ж помню, ты когда-то неплохо, в натуре, умел... Кто это? Если по камзолу с жабо, то — время первого покорения Америки. Случайно, не Магеллан ли?

Ольховой подходит к перефотографированному из учебника наброску, держащемуся булавкой за ветхий брезент.

— Не угадал. Этого звали Амбру́з Парэ. Он у меня — что-то вроде вечного талисмана. Знаю: пока он со мной, ни фи́га плохого не случится.

Пациент заинтересованно спросил:

— А кто он?

Николай проводит ладонью по припиленному листу, как будто стирает пыль, и идёт к поступившему больному.

— Кто он?.. Француз. — С усилием, с подстилкой двигает неподъёмное тело ровно на середину лежака, обитого кожзаменителем. — Считаю его зачинателем всей полевой хирургии. Он впервые стал лечить прямо в бою. Избавил раненых от травм; до не-

го ж раны или огнём прижигали, или кипящим маслом заливали... Первым додумался до захвата щипцами кровоточащих сосудов и лигатуры. Придумал много нового инструмента, протезов...

Но внимание Борятьева уже на другом. Его обнадеживает операционная лампа над, хочется думать, хирургическим столом.

— Неужели настоящая? — с недоверием спрашивает.

Хирург шуршит в кофре упаковками с перевязкой, иглодержателями, пинцетами. Постепенно выкладывает на операционный стол ампулы, новые зажимы, ранорасширители и одноразовые шприцы, ещё запаянные в плёнку. Выкладывает на чистую, не использовавшуюся поролонку, покрытую отрезом бинта, ровно, почти параллельно ближнему срезу стола. Кладёт на одинаковом расстоянии одно от другого... Война — не война, привычки не меняются.

— Самая настоящая лампа. Только ненужная. Электричества-то нет. Ваши кабель перебили вдоль трассы. Так что страдать тебе — от своих же.

Зайдясь кашлем, мастодонт отваливается на подголовник.

— Ничё. Как украинцу, не грешно за нэньку Украину и пострадать. Возвращение домой, в Европу, из застенков Раши простым не будет. Украинцы готовы страдать. Не тебе чета... — Потом чуть просительней: — Коль, ты б уколол мне чё-нибудь. Ну, сил уже нет выносить рези; у меня вся левая сторона — как на решётке гриля.

Ольховой всё ещё роется в кофре, производя специфично медицинские и успокаивающие звуки.

— Уколем, когда можно будет. Сначала я тебя немного пощупаю, а ты мне расскажешь про ощущения. А уж потом я буду колоть обезболивающее. — Он вспоминает: — И вот ещё что... Наперёд... Не надо мне тут про Украину и украинцев! Не тебе меня форматировать, Жень.

— Это что за выступление? — предгрозовым тоном начинает Борятьев. — Почему это не мне про Украину? А кому? Тебе, что ль?

Николай отрывается от ампул и кофры. Тихо, но в звучании ультиматума, отвергая любые будущие возражения:

— Не тебе, Жень. Какой ты, к чуме, украинец! Чего ты заладил: «Украинец, украинец»!.. У тебя же и мама, и папа — чистые русаки. Ты ж даже говорить по-украински можешь лишь через пень-колоду.

Борятьев даже задыхается протестом:

— Зато ты у нас корифей разговорного жанра! Как же! Мама у него — учительница украинского! При таких условиях не то, что ты, а и мартышка бы язык знала.

Ничего другого Николаю не остаётся — лишь повести слегка плечом:

— Причём мама? У меня и папулька только по-украински дома говорил. Всё ж Богдан Ольховой. Он же из Славуты. Там других языков не знают...

Примолкает, наливая в пробирку немного спирта, готовит ватный тампон. Трогает лоб Борятьева свободной рукой, рассупонивает ему полностью куртку и раскидывает в стороны её половины.

— А, кстати, как твои? Анатолий Владимирович и Марина Юрьевна. Надеюсь, здоровы... Я их помню так, точно вчера видел. А самарский расстегай в исполнении Марины Юрьевны я просто до сих пор во рту чувствую. Вкуснотень несравненная!

Евгений отворачивается; не хочет, чтобы приятель видел его мгновенно потёкшие глаза. Выдавливая каждое слово, поначалу замедленно, словно после апоплексии, начинает рассказывать: и про застывший в нём навечно кошмар дорожной катастрофы в ливень, осиротившей его сразу на жену и родителей, и про Светланку, оставшуюся с тёщей в Червоной Слободе, и про сына, неведомо куда запропастившегося, и про свою безработицу в последние несколько лет... Он уже быстрее выбрасывает слова, снова удивляясь: почему он это говорит Кольке Ольховому, о существовании которого, казалось бы, забыл? Рассказывает всё помимо желания, будто духовнику, будто во всём свете больше никому этого рассказать раньше не мог. Неужто исповедоваться пришёл час? «Да ну, х...вина, глупня! Ещё повоюем! Рано панихиду по себе заказал».

Но слова, пусть и с сопротивлением, всё продолжают из него вылезать. И старается примолкнуть, прикусить следующее, но вот новое, и ещё одно, и ещё одно слово, и опять — о тёще, о Светланке, и даже о срочной своей службе, ещё при Советах, уже такой далёкой, хотя и незабвенной, в Поморье, на мысе со смешным названием Канин Нос... И опять о...

— Поверить невозможно! Господи, вот беда-то! Вот уж чего никому не пожелаешь! — Николай стоит рядом, отставляя далеко на подставку и спирт в пробирке и роняя тампон, и забыв про ампулы и боясь пошевелиться. Позже, после мертвенного, свинцового молчания: — Да, Жень, братка... Выпало ж тебе! — Кладёт продолговатую ладонь на грудь раненого. — У меня всё не так трагично, но тоже приятного мало.

Он медлит с ответной исповедью. Отбирает, что из неё сто́ит произнесения, а что лишнее.

— Папулька ушёл от нас, когда я девятый класс заканчивал. Вот такой был мне подарок к летним каникулам. Нашёл какую-то бабищу, вроде бы у себя в Хмельницком или где-то там ещё. А где теперь — не представляю. С тех пор не общались. И жив ли... А мама жива. Добавить, что здорова, будет преувеличением. У неё прогрессирующий полиартрит, совсем больно ходить...

* * *

Хирургу уже понятнее с пациентом.

Разрезав на нём оставшиеся военные тряпицы, он осторожными пальцами протрогал всю левую сторону Борятьева, чутко реагируя на всякий стон,

выспрашивая о точном местоположении каждой боли и том, как она отдаётся.

— Сейчас я тебе вгоню слегка в ногу укольчики, то есть туда, где тебе, Жетон (таково было его юношеское прозвище, а Ольховское — Кокос), особенно невыносимо, как ты говоришь. Но полностью тупить болевые симптомы пока не буду, иначе ты мне ничего не сможешь рассказать про самочувствие. А твои рассказы в отсутствие рентгена — единственное, на что я могу опираться... В руку и бок пока колоть не буду. Потерпи. Я там ещё не всё прощупал.

Жетон отвечал вяло:

— Ну, давай... Хотя бы в ногу. А то я сейчас, похоже, сознание потеряю. Уже больше суток терплю.

Пахнуло спиртом. Николай, протерев пару мест, быстро, по косой вводит иглу в каждое из них. Оперированный и не заметил. Со временем левая нога леденеет и успокаивается. Резь всё ещё покусывает бок и руку. Но надо выносить, сжаться.

— Я в последнее время, Кокос, жил между домом Стефании Петровны, ну, матери Тоси, — как будто продолжает прежнее Борятьев, — и кладбищем, где Тосю с моими родителями схоронили. Первое время каждый день к их могилам ездил, проводил там почти весь день, дотемна. Говорил с ними. И не мог наговориться... Через год немного стало отпускать...

Николай пристраивается у ног Борятьева, на угол лежака, всё ещё рассматривая кожные покровы и изрезы от пули и осколков. Заговаривает расстроенно:

— Я вот тебе недавно сказал, что вряд ли скоро смогу приехать в Черкассы. У меня ж там тоже есть свои могилы. Дед и бабка по маминой линии лежат. Хотел бы навестить, но получится ли теперь!.. При новых-то порядках на Украине... Возраст у меня пока ещё самый боевой, украинец с российским гражданством, в прошлом — офицер. Миллион причин меня не пустить: потенциальный же враг теперешнего режима. Может, даже агент, подрывник! Развернут на любом погранпосте.

Раненый сжимает-разжимает кулаки.

— А чего было уезжать в эту коростную Россию! Чего не вернулся в Украину после независимости? Почему в Раше остался? — пытается он приятеля, мерцая глазом с отражениями лампы.

— Так разве кто-то мог всерьёз предполагать, что это будут реально две разные страны? — Ольховой, подумав, сосредоточенно отрывает от длинной ленты с шприцами ещё одну упаковку. — Все были уверены, что всё будет по-старому, как повелось. А так называемая независимость друг от друга — форма, дань времени. Кто тогда делил? Ни границ, ни различий. И там, и там — один и тот же разор... Тем более, что в России не заставляли армейских заново присягу принимать. Признавали данную Союзу. Так что передо мной просто не стоял выбор: или-или...

— Да? Поэтому и мать свою перетащил в Россию? — Борятьев немного ожил.

— Я её не перетаскивал. Она сама решила. Всё тогда же, ещё при Союзе. Папанька ушёл, я заканчивал школу, собирался в академию, то есть по-любому уже уезжал из дома навсегда. Что в Черкассах одной делать? Родня или поумирала, или съехала из города. У неё и остался-то, кроме меня, только один свой человек на всём белом свете — сестра. Моя тётя Катерина, в Анапе, любимая и мягкая. Вот мама и затеяла перебираться куда-то к ней и её многочисленному семейству... Два года выменивала квартиру в самом центре — ты ж помнишь, бывал у нас сколько, Садовый переулок, дореволюционный дом, четырёхметровые потолки! — через несколько вариантов, маклеров, через грузинский Кутаиси... В результате выменяла на дюймовочий кооператив в Анапе. Пристроилась работать в анапский музей; она ж не только учительница, её первый диплом был по искусствоведению.

Евгений хочет ответить, но слабость валит его навзничь. Даже бежевые смазанные овалы в глазах залетали, каждый в сияющем ободке.

* * *

Нытьё, утихомирившееся было в левой ноге, напоминает о себе издевательскими подленькими укусами, колет, надавливает.

— Кокос, так ты будешь ковыряться во мне? Я ж железо в себе чувствую каждой клеткой... Ну, делай хоть что-то.

Хирург подтирает салфеткой мокрый лоб раненой горы.

— Сделаю хоть что-то. Обязательно сделаю. Достану из тебя сейчас то, что мне видно... В виде бонуса ещё поколю тебя на предмет дезинфекции и избежания абсцесса. Но чтобы найти самые мелкие вошки (в руке, в боку, под коленом) и чтобы оценить масштаб бедствия в костях нужен рентген. Позже, сегодня же, Жетон, повезу тебя в город, в больницу... Если нас тут всех не положит ваша артиллерия.

Жетон умоляюще:

— Только, Кокос, сделай всё сам. Я одному тебе здесь верю. Не давай меня резать никому.

Друг Кокос успокоительно показывает распрямлённую кверху ладонь, клянётся:

— Не бойсь, не отдам. К тому же, не уверен, что в больнице есть хотя бы один свободный хирург. Вы, спасители Украины, тут столько людей покалечили, что больница просто захлёбывается. И ладно бы лишь солдат курочили! А в чём перед вашей Великой Европейской Мечтой виноваты дети? Скольких уже убили или без ног, без рук оставили? Зачем вы донецкое старичье гробите?... А ты знаешь, сколько из-за ваших обстрелов уже выкидышей у баб, которые были в положении? Сколько рождается недоношенными, с патологиями!

Он говорит, рассчитывая время на грядущую операцию, задумчиво, готова под укол нужные ампулы, но Борятьев вздрагивает. Шлёт в бой оставшиеся силы:

— А чего ты хотел, Кокосик? Чтоб мы сочувственно смотрели на то, как дербанят нашу страну, как отрывают одну область за другой?... — Он выкапывает открытый глаз, бледный, будто облачное небо; по жирной шее даже просматривается трепыхание наружной яремной вены. — Ты пойми, украинец: сейчас наша с тобой страна впервые пытается по-настоящему строить своё, совсем самостоятельное государство, которого... толком и не было никогда... Мало кто у нас уверен, что получится, но... Шанс! Другого уже не будет. Мы не имеем права прочавкать этот шанс. Поэтому мы и бьём, и будем бить по любому, кто против. А получится или не получится... Бог ведает.

Ольховой ковыряет, не без провоцирования:

— Откуда такие сомнения и неуверенность, патриот? Что значит «может не получиться»?

Секунды паузы. Вздох раненого, кажется, собрал в себя всю полуторатысячелетнюю исследованную историю обитания людей на Подольской и Приднепровской возвышенностях.

— Да слишком много против. И внутри нас, и вне... Я вот никак не могу допереть: разговариваю со своими друзьями, многих знаю с молодых усов, а не понимаю их... Да, на словах, все — за единую и неделимую. Да, все считают, что тут, на Донбассе, мы воюем не только с бандюгами-сепаратами, которые хотят отделиться и заварить своё независимое, мафиозное, воровское вполгосударство, чтобы сесть на уголь, руду, химичить с денежными потоками, контрабандить помаленьку... И вот, все всё, казалось бы, понимают, даже гривни свои жалкие отдают на борьбу с сепарами. Но самим сюда приехать, да самим повоевать — так хрен... Не едут! От призыва косят. У меня ни один знакомый в антитеррор не подписался. Только я. Как юнак небитый, на одном лишь убеждении, — он вспыхивает в полный накал. — Вот что не даёт уверенности! Народ слишком клёклый, — посылает в воздух какой-то не совсем обнадёживающий жест. — И ещё: нет врага сильнее и хитрее, чем Раша. Она сделает всё, чтоб у нас не получилось. Подкупит наших верхних, задурит голову большинству своим Русским Миром... Ты же не будешь спорить, в натуре, что здесь резвятся не только якобы добровольные, но и вполне штатные части кацапов...

Ольхового больше тревожат желтеющие пятна на ноге пациента, поэтому — лишь сдерживаемый вздох:

— Не знаю, не встречал тут штатных. А ты? Я имею в виду не постановки с призывниками Украины, переодетыми в русскую форму, чтобы латвийские и пиндосовые телеканалы фиксировали «кремлёвское вторжение» в нэнку... Ты видел тут настоящие боевые части России? Воевал с ними?

Снова молчание. Борятьев собирается, подметает в ладонь рассыпавшиеся мысли, слова.

— Пока нет, не уверен, что они тут есть. Не может же донбасская быдлота воевать в одиночку про-

тив нашей армии! У нас же, минимум, двадцатикратный перевес, и по людям, и по технике. Так что только идиот или ребёнок не чувствует против себя твёрдую внешнюю руку. — И трибунно, перебирая нервными пальцами край ложа своего неудобного: — А что этот быдлостан может дать Украине? Пьянь, мат? Феню? Ведь почти вся Раша по-блатному бётает. Даже девки молодые. Откуда это: «беспредел», «гнилой базар»? Охранники там — сплошняком «вертухай»... Не страна, а одна большая зона!

Друг детских приключений смотрит на него с сожалением, изогнув одну из бровей:

— А на Украине — не то же ли самое? Нечего из неё Парадиз лепить! Та же феня. Мне-то можешь не втирать! Я ж не из африканских саванн и не с Венеры... — Ответный вздох. — Что делать! Такая была судьба общей страны.

Решает начинать, созрев для оперативного этапа. Шприц выталкивает последний воздух через иглу вверх, и проспиртованная мякоть ухватывается опытными пальцами:

— Я сейчас, Жетон, ввожу тебе уже блокаду по сильнее. И буду резать, пан Пузан... Не взыщи, что без перчаток; они у меня закончились... — Он пытается размягчить Борятьева, принизить факт вторжения в его чресла, отвлечь, поэтому заставляет его мыслью снова улететь туда, за линию огневого соприкосновения, за фронт. — Вот что я всё никак не могу понять, так это болезненное сходство в ваших сегодняшних привязанностях и неприятиях. Ты ж не первый с той стороны, кого тут наши повязали. Обрати внимание, сегодня вы, большинство на Украине, говорите не о своей стране, а почему-то только о России. Навязчивая идея! У меня как человека с некоторым медобразованием даже предположение вызрело: а не распыляют ли вам через вентиляционные решётки в домах какой-то забористый кокаин...

Борятьев готов к шприцу, но не может оставить последним не своё слово. Говорит, не пересекая чувства, скорее — из обязательности:

— Это вам, в Рашке осознание в бетон закатывает телевизор.

Хирург же, растянуто, ступенчато, всё глубже, слой за слоем вводит инфильтрационную дозу новокаина. Игла входит в подкожный жир и мясо легко, как и не игла вовсе, а всего лишь одинокий тонкий луч света, издали.

— Понятия не имею, Жетон, про телевизор. Не смотрю. С тех пор, как телевидением стала реклама. У нас дома даже аппарата как такового никогда не было, сын даже мульты и «В мире животных» по компьютеру смотрел... Так что всё, что нужно, ловим только в Интернете. А он без цензуры, — и, оставив в тканях нужные миллиграммы, вытягивает, под свежий спиртовой тампон, свой световой луч из настрадавшейся ноги. — Ведь видно, Жетон, что приучаете себя не любить, а ненавидеть. Для вас ненависть к территории — отсюда и до Командорских

тулених лежбищ — важнее любви к Украине. Можно даже и не любить эту Украину. Ну, воровать, скажем, гривны у страны, а потом слинять из неё в Швейцарию. Главное: ненавидеть Россию! Тогда ты — свидомый украинец... То есть патриотизм — только через ненависть. По-твоему, не кататоническая шизофрения?

Словно по операционному хронометру, точно к началу процедуры, возвращается Оксана с двумя рудокопными лампами и набором разнообразных свечей — и простых церковных, и фигурных, для салонов.

* * *

Ольховой, видя замученную мимику медсестры после операции, отпускает её поспать, хотя бы пару часов.

— Я сам закончу. И продезинфицирую, и наложу повязки. Тут площадь обработки и перевязывания, как видишь, немала, так что я, не торопясь...

Она, облегчённо вздохнув, идёт в свой угол, занавешенный куском брезента. Завозилась там, наскоро ополоснула в тазу руки и потное лицо, шею. Сбрасывает халат и рушится на взвизгнувшую раскладушку поверх скомканного пледа. Засыпает сразу же, разметавшись.

У прооперированного расщепляется сознание, ускользает и вновь возвращается. Голова кружится так, точно он, то ли напившись допьяна, то ли в непомерном жаре нутра летит вверх-вниз на горках в парке развлечений. Хирург обтирает лоб и виски сначала ему, потом себе. Устали все.

— Везёт тебе, Жетон, что ваши сегодня нас не тыркали ночью. Как будто специально дали возможность мне тебя пользоваться. — Он не совсем доволен сделанным, полностью исключить заражение крови пока не удалось. — Ну вот, вынул я из тебя всё, что различил. Остальное — только после того, как увижу снимки.

Из Борятьева выползает напряжённость, которая его держала всё предшествовавшее время. Выползает, как если бы её, разветвлённую, потянули сильно из него за самый толстый край, корень и выбросили где-то за колышками натяжения госпитальной палатки.

Расплывается пленник безвольно по медицинскому лежаку.

— Спасибо, дружан. Как-то спокойней стало... Никогда в жизни так тело не резало, не давило...

...Оба говорят, и разговору конца не будет. О чём? О Черкассах, о днепровских разливах, о последних годах, о детях своих.

Уже давно рассвело. По палатке, от основания до верха, взбирается утренняя краснота солнца, заполняя этот маленький госпитальный объём адской нереальностью. Только чертей с рогами недостаёт и кошмара для грешников.

Всё пропитывается нездоровой и пугающей краской. Лишь одной.

А тут ещё нарастает гвалт за плоскостями палатки. Он накатывается, как приближающийся шум воды, как океанский прилив.

— Пойду, посмотрю, чего там разорались. — Николай дежурно берёт из-под операционного стола автомат. — А ты, Жень, давай, спи. Тебе теперь торопиться уже некуда. Не высыпался, видать, всё это время?.. Здесь ты — в моём ведении. Так что никто тебя не тронет. — Втискивает Борятьеву под голову куртку, опускает край палаточного брезента, чтобы не задувало рассветным слабым ветром. — Спи, толстун.

У донецкого аэропорта. 18 сентября 2014

Опираясь на не подогнанные под рост костыли, самые простые, деревянные, привезённые с полупустого донецкого склада медтехники, Борятьев пробует впервые пройти по двору. Загипсованную левую ногу потешно-неумело выставляет вперед, прилаживаясь к странному шагу.

— Ну вот, ещё немного, и будешь годеи к строевой, Жетон.

Врач, вроде, доволен результатом. Всё могло быть хуже. А так — пациент возвращается к ограниченно-самостоятельной жизни. Заплывший второй глаз давно раскрылся, след от удара прикладом в щёку при захвате уже не заметен.

После поездки в горбольницу в конце августа, рентгена и там же, на месте, операции при ассистировании ещё одного хирурга, больничного, удалось вытащить все оставшиеся чуждые предметы из левой стороны пленника, вплоть до металлических зёрен, что подтвердил повторный рентген. Первый же — поймал ещё и трещину в большой берцовой кости. Но смещение в районе скола было малозаметно, что облегчало оперативные труды. Кость сцепили, мясо зашили, зашинировали, залили отвердителем на самый жёсткий бандаж до пальцев ноги, перед этим обтыкав разрезанные места всем дезинфицирующим, что только нашлось в больнице.

По возвращении Борятьева в хирургической палатке допросили уже все, кто только хотел. Дважды приезжали и из Донецка, и из спецотдела фронта, что под началом Никитина. Всё намеревались забирать с собой, но Ольховой каждый раз неопровержимо объяснял, почему раненому пока нужно оставаться у него.

— Он вам целый нужен или сгодится по частям? — спрашивал со строгим лицом. — А если целый, то не мешайте мне его поднимать. Когда гипс соскребём, тогда и можно будет думать: как и куда везти. Ему же сейчас сломать себе простреленную ногу не стоит ни копейки; любой неправильный шаг — и амба...

Борятьев слышал эти приглушённые диалоги и каждый раз быстро сжимал ему руку, как только их другие не видели.

— Спасибо, дружан, — прошептал он Ольховому после первой отговорки. — Честно признаюсь, не уверен, как бы я сам поступил, если б мы с тобой поменялись местами, и в других обстоятельствах. Мы ж вроде теперь враги.

— Да какой ты враг! — позёвывал тот. — Дятел ты. Дятел с отбитым мозгом.

— Ну, это тема для долгого спора, кто из нас отбитый. Я просто поверить отказываюсь, что мне тебя, чистопородного хохла, в натуре нужно убеждать в нашей, украинской правоте! Это ж кому рассказать!.. — Потом, задумчиво: — Хорошо, что эта война хоть не между нациями, а всего лишь между государствами. Государства раньше или позже как-то примирятся, Кокос. Вынуждены будут. Мы ж в материализме живём. Нужно есть, пить, торговать, зарабатывать деньги... А вот национальности вряд ли примирятся бы. Как греки или армяне с турчинами, скажем, или корейцы — с японцами.

На следующий день пробовал развить мысль, поскольку сам хотел понять, что же — дышло всем нам в рот! — происходит, наконец:

— Эта война за госграницы, за представление о жизни. И по ваш бок, и по наш есть хохлы, кацапы, израильцы, кавказцы, латыши, чехи, итальяшки. То есть украинец против украинца, то же про русских. — Он выглаживал пригоршней неравномерно зарастающий затылок. — Был в моей сотне один корректировщик огня, Нугзър Асатиани, красавчик югоосетинских боёв, кацапский танк тогда зажёл. А до приезда сюда подрабатывал пляжным спасателем при отеле в Батуме... Так вот он как-то уж очень горько на обеде сказал мне, что за вас, бандюков, тут, рядом, воюет его любимый дядька (имя не помню), растил маленького Нугзарика, младший брат матери. Мой корректировщик его боготворит, очень хотел бы с ним встретиться. Только не в атаке...

После подписания 5 сентября ни к чему никого не обязывающего договора, о сворачивании огня между Украиной и Новороссией, обстрелов стало чуть меньше. Их не то чтобы действительно сворачивали — тербательные плевать и размазать хотели по поводу любых договоров, — но ежедневные артобработки сократились во времени, били не больше получаса. Диверсионные экскурсии с чужой стороны потеряли свою летнюю самоуверенность. И, по общему наблюдению, военная работа шла на убыль.

Результат такой полувойны выражался арифметически: Ольховому иногда за целый день не присылали ни одного на капитальный ремонт. И на текущий тоже. Батальон Довгало перестал терять людей; со дня договора — как отрезало. Это и обнадеживало, и наводило хирурга на мысль: а не пора ли постепенно собираться домой...

С переговорщиками из правительственных когорт не получилось условиться об обмене Борятьева на кого-то из схваченных ополченцев: переговорщики не могли предложить никого, равного Евгению по армейской табели о рангах. На предложение возвратить Юрия Конопенко, в начале войны отлавливавшего лазутчиков по берегам Северского Донца и подобранного раненым, в бессознательном состоянии одним из наступавших тогда тербатальонов, отвечали без изворотов: не выйдет, некого возвращать, он был изъят ещё тогда же допрашивателями из СБУ. Даже за весомые доллары не выйдет, то есть переговорщики продали бы, и с дорогой душой, как это с июля пошло, да руки у них коротковаты против Службы Безпеки...

К середине сентября похолодало. Отглаженный комфронта Никитин поставил батальону задачу: вместе с полком из Амвросиевки поддерживать с юга атаку на обрушенный донецкий аэропорт, в котором зарылись в железобетонную падаль, в собственные экскременты, в землю и в мёртвую оборону нацгвардейцы и тербатовцы, заколоченные почти со всех сторон силами Отпора, но вооружённые вдосталь. Неизвестно на каких смесях державшиеся, они отстреливались из всего подряд по логике приговорённых, не уступая полностью лётного поля и некоторых терминалов, уже на три четверти не существующих.

Переброска харцызцев на новый, могильный рубеж шла постепенно и долго.

Ольховой с Оксаной переташили всё небольшое госпитальное имущество в оставленный жильцами, некогда вполне благоустроенный домик из червонного кирпича в близкой к аэропорту деревне.

Раненых никто не вёз. Заниматься было нечем. Оксана топила печь и, по большей части, расходовала время готовкой — на себя, хирурга, пленного и на любого, кто зайдёт. Особенно хорошо у неё выходили деруны с консервированным паприкашем и говядиной, которую — свежее филе! — благосклонно ей отпускал заинтересованный любезник, батальонный интендант Рахат-Лукум, не по-интендантски костлявый и щедрый, из здешних мест.

Ещё она пришивала пуговицы всем, кто просил, варила с персолью и хозяйственным мылом в двух эмалированных баках бельё — своё нательное, постельное, ну, и двоим мужчинам, что требуется. Николай же ходил по бойцам, следя за выздоровлением подбитых ещё летом, и откликался на жалобы деревенских; к нему зывали с обычными невоенными недомоганиями — у кого грипп, у кого ломает суставы на сырость, у кого начинающийся педикулёз.

С Ильсией говорил по телефону редко. С сыном-сачком — только однажды за всю свою эпопею. В Уфе было по-прежнему, и он начинал взаправду тосковать по дому.

* * *

Борятьев, выдохшись после тренировки с костылями по двору, накапливает силу, сидит на низкой

табуретине, вжимается спиной в тёплую стену позади печи. Разрабатывает левую руку, как повелел врач-враг, сводя и разводя пальцы бесщётно, пропиная локтем нули в воздухе.

— Кокос, тут есть поблизости церковь? — смотря в пол, спрашивает. — Хотелось бы сходить. Как начал воевать, лишь раз добрался. В Володарском. Перед боем... Хотел бы сейчас за Тосю помолиться, за маму с папой. За всех нас. За тебя, паразита, поблагодарить Бога, что свёл...

Николай, под временную тишину, как всегда, набирает в мобильнике текст, неискренний своей бодростью, чтобы позже послать Ильсие.

— Есть церковь, хотя и неблизко. В селе рядом, километров шесть. Я в воскресенье был. Там умный иерей. Святослав. Открытый, вникающий. Тоже из военных. Служил в юстиции. Сам просил перевести его в приход сюда, на войну, когда предыдущего, отца Лавра, в июле убило касетной бомбой... Только одно «но», — из-под козырька кепи подглядывает за выздоравливающим, взвешивая довод: — Не знаю, подойдёт ли эта церковь тебе.

Исполин отвечает недоумённо:

— И как тебя понимать? Что, церковь не православная? Синтоистский храм, в натуре?..

— Церковь — самая православная. Только не филаретовская. — Ольховой закрепляет в памяти телефона уже набранную часть вымыслов для семьи. — Московской ветви церковь. Вот так...

Борятьев опускает голову, изучая пристально свои гипсовые латы, выговаривает еле, не двигая, похоже, губами:

— Ну, тогда, значит, подойдёт. Я православных церковей другой ветви в Украине не знаю.

Хирург откладывает телефон.

— Н-да, не ожидал от тебя такое услышать. Ты ж зад себе рвёшь за нэзалэжну и самостийну Украину. А так называемую независимую украинскую православную церковь не признаёшь? Как же быть с денисенками и автокефалами? А?

Ещё больше пригибается к своей ноге пленник, не в силах смотреть на оппонента.

— Нет таких православных церковей. — Видно, что признания — через излом, через болевое насилие. — Кукольный театр! Самоделки! Кружки «Умелые руки» при домкоме... — Он говорит всё тише, всё дальше от хирурга отводя глаза. — А когда речь идёт о Боге, о спасении души, то о политике не думаешь. Для меня есть только одна православная церковь в Украине. Ну, и что теперь делать, раз она формально Московская? Ну, бывает. Такая была история! Ничего не попишешь. Турки тоже с арабийцами воевали, при этом поклоняясь святыням тех... Своих не придумывали... Вера — выше войны.

Первое удивление Ольхового минуло, сдав позиции негромкому насмешничеству: такой повод потроллить толстуна Жетона!

— Но как же! Денисенко же себя называет патриархом Филаретом! Патриарший клобук на голове носит! В Верховной Раде выступает!

Сидящий Жетон медленно заводится, впервые за разговор зыркнув на Николая:

— Тебе сколько повторять, пристава́ле!.. Да пусть он себя называет, как хочет, и что хочет на голове носит! Хоть свои панталоны... Нет такой церкви для меня! И ни для одной из православных церквей его нет, ни для греков, ни для остальных балканцев, ни для грузин, ни для Константинополя... По поводу же Рады... Так что б ты знал: те, кто ему аплодирует, тайком всё-таки крестят своих детей и молятся во здравие близких там, где и положено. Не у денисенок. — И итожит: — С верой не играют, Кокос!.. Договорились? Что по-пустому базла́ть!.. Своди лучше меня к своему умному иерею.

Николай вталкивает телефон в карман у колена.

— Свою. — Он всё ещё сдержанно-смешлив. — Так что ж это выходит, Жетон? Мы с тобой, получается, в одной церкви? А вот, вишь, сейчас мы крест-накрест, один наперекор другому.

Затянутое молчание приятеля можно истолковывать, как угодно. Тот, снова скрывая глаза, выстраивает продолжительную фразу:

— Да, в одной церкви. Да, крест-накрест, Кокос. Ну и что? Я ж тебе уже сказал: и такое бывало. Вон, князь Суворов-Рымникский не только иноверцев по всей Европе гасил, но и своих же, которые с ним в одной церкви — тысячами! Вешал на воротах, забивал насмерть хлыстами-канчуками, когда водил войска на Каму и под Оренбург давить бунты. Что нового-то?.. Да, мы в одной церкви с тобой. Но Украина нас развела. Ты её хочешь опять загнать в рабство Москве, а я — вырвать.

Приходит черёд Ольховому напрягаться каждым мускулом. Он говорит нервно, срываясь голосом в пропасти злобы и с силой оттуда выкарабкиваясь:

— И что ты гонишь, Женя? Ты на радио «Свобода» глашатаем подписался?.. Какое рабство, когда Москвой столько па́рубков с Украины помыкало! Раз уж князьёв-графьёв вспомнил, то тебе Разумовского мало? Он же не только Петербургу и Москве указывал, но и самой царице Лизавете... А уже при «совке» сколько! Дорогого и любимого Леонида Ильича забыл? А Семичастного? А Цвигуна́? А Подгорного? Ведь всё наше детство — под ними.

Встаёт, часто вдыхая, чтобы успокоить себя до привычной врачебной бесстрастности.

— Говоришь, что Украина нас с тобой развела? Пожалуй, — смотрит на Борятьева остро, как будто снова разрезает его лезвием, только теперь уже всего, начиная с темечка и до простаты. — Мы родину по-разному понимаем, Жетон. Ты — только вопреки одной большой Руси, только от какого-нибудь закарпатского Ужгорода и лишь до Азова... А моя страна — не только от Ужгорода или Измаила. Она и от

балтийской Куршской косы, и от Гродно на Немане, и аж до Берингова пролива. Что-то меньшее меня не устроит. — Останавливается у поддувающего окна. — Вот из-за этого я сейчас тут, Женя, а не с сыном и не со своей любимой.

Борятьев исподлобья вбивает прищуривание киллера в область носа Николая. Глаза сузились до монгольских.

— Твоё счастье, Кокос, что я пока калека и не могу тебе в зубы дать. — Вытирает вспотевшие ладони о пряжу шарфа, доставшегося от предыдущих хозяев дома. — Ты чё, пропагандозом заболел? Какой Руси тебе хочется? Чё тебя устроит? Чтоб снова всех нас за ниточки, как кукол, дергала Москва? Повсеместно — от моего Закарпаття до твоего Тихого океана?

Ольховой, на правах лечащего врача, спокойно, совсем не боевито, подходит вплотную к больному, ногой придвигает себе стул.

— Нет, милый, снова не угадал. Не Москва. Забудь. Никто уже давно не думает повторять тупое командование из неё, как при «совке». Доказано на практике за десятилетия, что такое — не пляшет. — Он кладёт ногу на ногу, наклоняясь ближе к Борятьеву — может так, ближе, слова как-то точнее дойдут. — Москва навсегда останется столицей России, и лишь России как одной из частей Великой Руси. А общий управляющий город всей Руси придётся строить. Пусть и не с нуля, но строить. Я даже знаю, где.

Замечает — зацепило. Во всём лице громадины словно разлито подстёгивающее выражение: «ну, ну, не тяни жилы, давай уже...»

— Другого места просто быть не может. Такое — только одно. — Николай ищет подмогу у своих рук — принимается жестикулировать. — Общая столица должна быть в точке, в которой сходятся границы трёх частей, трёх держав одной Руси. А значит, на границе белорусской Гомельщины с украинской черниговской землёй и российской брянской. Можно под столицу образовать отдельное земство, тоже общее... Я бывал там. Места великие! Леса, реки... Там ещё памятник стоит «Три Сестры». Три страны.

Громила заранее несогласно вертит головой, пренебрежительно помахивая кистью.

— А-а-а-а, тюля всё это, глупня! Подумаешь! Ну, не из Москвы, так из этой, заново построенной... Но всё ж равно кацапы будут править! Они ж никому другому не дадут!

Но Ольхового перебить раненому не удаётся.

— А если управлять общей Русью попеременно? Один год — белорусы, другой — мы, украинцы... Ну, и так далее, по кругу.

Борятьев даже начинает давиться яростью:

— Да ты чё, Кокос! Как мы можем с москалякой? Когда мы столько с ним воюем!.. Ты забыл, дурила? Вся же история украинцев — война с Московией.

Николай смотрит сострадательно, выдерживает небольшой перерыв. И говорит подозрительно ласково:

— Жень, не дам тебе больше есть грибы. Как врач... — Говорит, будто рецепт выписывает. Но чуть потом, в гудящей подземной дрожи рассерженного вулкана: — Какая война? Последние лет пятьсот — только вместе! И в помоях, и в победах!.. Драку у Конотопа вспомнил? Так то несколько сечевых атаманов, запродавцев, купленных за шляхетские злотые, воевали с москвитями. И не столько с москвитями, если разобраться, сколько с другими малороссийскими атаманами, оставшимися верными присяге... И всё, Жень! — Он подрагивает сейсмическими толчками, неосмотрительно хватая Борятьева за колено. — Вспомнишь, наверное, Круты? Так там ни с какой не Москвией бой был, а с большевиками. То, по сути, было смертоубийство опять же между украинцами, что не впервой. Кто тогда на стороне красных бился? В том числе украинцы же: матросня, кавалерия. От ездового тачанки до помкомандарма... А вся остальная история — только заедино! Против ляхов. Ну, и ещё против турок, румын, разнообразных германцев... Против кого была Запорожская Сечь? Против Москвии? Хватит этой тифозной горячки! Да среди днепровских казаков около трети были беглые из России... А Северин Наливайко? Больше же двадцати войн и восстаний на земле Украины, ещё с одиннадцатого века!.. А опришки? А дейнеки? Мы ж это всё детьми читали, в нашем дворе мы со своими игрались! И вы в своём, наверняка. В Пынтю Храброго, в Олексу Довбуша...

Немного совладав с глубинными подвижками земной коры, пригасив выплески вулканических фонтанов, он встаёт, снова собираясь ходить по комнате.

— Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е, Жетон. Так не пойдёт. Сожги весь тот силос, который сейчас печатается на Украине по прошлому страны. Иначе — совсем голову загубишь. Ведь ясно, что ныне историю на Украине излагают вовсе не историки и не археологи, а фантасты! Причём — бездарные.

У донецкого аэропорта. 2 октября 2014

Просыпается Ольховой от взрывов совсем рядом, нескольких, одновременных. Сразу определил: начался обстрел «града» правительственной принадлежности, арт-самоходами и самыми тяжёлыми миномётами.

С сентября (когда опорные выступления ополчения размолодили на ингредиенты всю 95-ую моторизованную бригаду Украины) националистические тербаты как с цепи сорвались. День за днём сносят оставшиеся сёла на подходе к Донецку, даже те, в которых уже ничего и никого нет.

Николай наобум одевается, напяливая на себя всё, что свисало с гвоздей у двери: не исключено, что придётся надолго убираться отсюда, так что весь день на ветру, а ещё заморозки под утро...

Рвётся в соседнюю комнатку, торцевую, где спит Борятьев.

— Жетон, встаём! Давай, я тебе помогу одеться. Нужно сматывать в вырытое укрытие. Это через улицу и два дома. Мало ли что... Вашим, похоже, закордонные учителя пожаловали своих снарядов, так что старые нужно списать...

Великан спросонья дёргается, производит много лишних движений, не сразу попадая рукой в рукав, а ногой в штанину.

— Оксан! — Врач трубит в дверной проём. — Ты где? Убегай. Знаешь, куда бежать-то?

— Та знаю вжэ, Мыкола Богдановичу! Ось тильки анэстезию посбыраю, я ййии тут не залышу, вона нам дуже дорого досталася... Та й антибиотики тэж забэру.

— Не дури, чўча! Какие ещё антибиотики! Беги с хаты, я сказал! Не смей рисковать.

Кое-как успевает одеть Борятьева, натянуть на него чужой, оставшийся от прежних владельцев китайский драный пуховик и, придерживая плечом подмышку человека-утёса, толкает его к выходу.

Тот, подтянув с испуга всю физику организма, довольно смело торопится на улицу, опирается уже окрепшей левой рукой на ортопедическую палку, слегка наступая на всё ещё гипсовую ногу.

— Оксана, быстрее, не возись! Брось всё! — Врач уже снаружи кричит в дом.

Подпирая громко дышавшего и мгновенно упревшего Жетона, торопится в узкое убежище Довгало, зацементированное и приваленное бордюрными плитами, в подвале упавшей избы, с отдалённым вырытым лазом. Там сейчас временный штабик.

Остаётся всего полета шагов. Самыми опасными кажутся шаги на неприкрытой деревенской улице, где они с Борятьевым становятся беззащитными, образцовыми мишенями для закрепившихся на деревьях дальней высоты корректировщиков и снайперов, вросших в инфракрасные видеоискатели.

Но вот и улица пересечена. И до развалин нужной избы уже совсем чуть. Тогда-то и слышит Ольховой недолгое завывание летящего конуса из 152-миллиметровой самоходной «акации», а за затылком — новый взрыв. Слишком рядом.

Они с Борятьевым приученно пригибаются, почувствовав спинами, задниками курток расстрельную дробь из кирпича, бетона, древесины.

Николай оборачивается и поначалу ничего не видит, прежде всего — того дома, в котором они провели последние восемнадцать ночей. Его больше нет совсем. Нет ничего, и с улицы, сквозь поднятую тучу из травы, земли, мелких кусков неизвестно чего просматривается весь сад, аж до забора с участком соседей. Даже не сад, а расколотые остовы деревьев —

кроны рухнули. А дом как будто в секунду провалился. Лишь по неровным зубьям обнажившегося фундамента начинает разгораться неторопливый пожар.

— Окса-а-а-ан! — разрывая вопящую гортань, вздувает канаты на шее Ольховой. — Оксана! Ты где?

Ответа нет. Никаких звуков нет. Наступила совершенно новая, нетипичная, непривычная тишина. Даже вороны заткнулись. Даже ветер мгновенно стих, так же, как и Ольховой, замертвев.

Николай отупелым взглядом смотрит на загорающийся фундамент только миг назад стоявшего дома.

— Оксана-а-а-а-а!

Борятёв, тоже с выкатившимися глазами, еле выталкивает из себя:

— Не ори, Коль. Неужели не понимаешь, что бесполезно? — И с силой пробивает наружу затык в горле: — Давай лучше двигать отсюда, а то как бы и нам с тобой тут не пришёл конец... Я наших знаю: раз стали бить из тяжёлых mortir и миномётов, то, значит, скоро сюда пойдут танки.

* * *

Комбат Довгало, щёлкая шариковой ручкой, не переставая, в возбуждённом подрагивании, рыскает пальцем свободной от щёлканья руки по разложенной на полу карте.

— А ну, посвистать мэни, хто-нэбудь, — требует у нескольких командиров рот и взводов, собравшихся в штабном подвале. — Зараз будэмо організувати оборону ливого края сэла. Насампэрэд, трэба прыкрыты вулыци Громадську й Синну. Шввидко пэрэвэзты туды батарэю Жала, и шоб моментально уся гарматы булы готови до бою!

Один из названных командиров батареи Жало — подвижный Петро Жмаченко, крупнотелый и крупноносый, — гуркнув «Понял!», выползает из погреба на подрагивающую от орудийного беснования улицу.

Щёлкающий своей надоевшей всем шариковой ручкой Довгало переводит глаза на усевшихся в подвальный угол хирурга и оберегаемого им выздоравливающего узника. Борятёв немного отошёл в надёжно укреплённом пространстве, и к нему возвращается размеренное дыхание. В Ольховом же всё ещё спицей торчит парализовавшая его застылость.

— Айболыт, я тобі зараз даю машину з машиной, и вы дуетэ звидсы на восток, в глыбь наших зэмэль, подальше вид Донэцьку. Зараз тут будэ зовсим мокро, сука, — машет вверх, в улицу. — Йидьте до Харцызська, а потім — на Торез, и ще дали, на схид. Там вам скажуть — куды.

Врач не хочет ничему верить, не хочет ничего слушать.

— Данилыч! Я пойду посмотрю. Может, Оксана всё-таки уцелела. Раненая там сейчас...

Довгало сжимается, запускает пальцы в бороду.

— Ты й сам розумиешь, що никого там нэ знайти. Пряма наводка. Писля «акаци» ничего нэ зальшасться. Так що нэ тягны час, збырайся йихаты.

— Но, Голова... — начинает снова Ольховой.

— Нияких «Голов»! Ты ж вийськóва людына. Шо, трэба тобі пояснювати, що таке прыказ командиры? Так отó я на́казую: эвакуаты цýго полонэного. — Потом, будто Ольховой языку разучился, чтобы не было инотолкований, переходит на как бы русский: — Лично отвечаешь за этого пленного. Он для нас слишком драгоценный. Срочно на восток! И как можно дальше. У Донецьки ему оставаться нельзя. Они миллионный город мочить не перестанут. Для них взять Донецьк — шо войну вже выиграть.

И в ответ на стеклянные глаза Николая:

— Обещаю: лично, сам всё там потом облажу, на карачках, всё осматрю. Если найду хоть шо-то от неё, то похороним, как подобает... А не найду... — так усё равно там камень ей поставим... Обицью! Во-на ж мэни, Оксанка, всэ óднэ як донька була.

Самый восток Донбасса. 3 октября 2014

В лобовом стекле «бобика» — уныние осенней замирающей степи разбавляют первые избы поселения. Ещё одного. Сколько таких деревень уже проехали за прошедшие сутки с молчаливым водителем!

На развилке трассы и подъезда к безвестному поселению — длинная стена из озелененного цемента. Ольховой соотносится с картой, лазит пальцем по склеенным изолентой отдельным листам: село Рассыпное. В картах он не силён. Вот если б надо было порыться в анатомическом атласе...

По мере продвижения на восток Борятёв постепенно смурнел. Смурнел от понимания, что ещё больше удаляется от дома — когда он туда попадёт?! И попадёт ли?... Смурнел в унисон с природой за окном машины. Там совсем уж всё было давно невесело. Тяжёлый, как будто одолженный рассвет, да ещё и поздний.

Ночью, в слепую темноту, остановились, чтобы поспать. Спали недолго и некомфортно на своих сидениях в машине. Лишь раненному Евгению было дозволено развалиться на двух задних сидениях, выпростав гипсовую ногу. Стучало изредка дождём. Потом морозило. И снова морось. Из рощи, где-то, вероятно, вблизи, подкрадывались лесные шёпоты. Самой рощи не было видно. Кто-то там ползал, шуршал. Глумливо хохотали совы. Скрежещали ветви. Шлёпали по мокрым низинам их отвалившиеся мёртвые отростки, сбитые случайной струей...

К утру перестало. Всё тот же холод.

От ветра всё быстро испарилось. Ползут вдоль трассы подсохшие листья, и ветер догоняет собравшийся к югу клин утиных эмигрантов. По обочинам торчат отрезки трав из затвердевшего, как пряжка, дёрна. Небо сырое, насморочное. Погромыхивает за полем. Настораживающе, без дождя.

— Нам теперь на север надо, — говорит чирьеватый водитель, выделенный комбатом Довгало ещё под Донецком для эвакуации важного раненого. Водитель очень молод, очень молчалив, Николаю до этой поездки знаком не был. Из хозяйственной службы, кажется. Но автомат знает хорошо: видно по тому, как свойски его пристроил слева от себя, стволом вниз. — Ещё минут двадцать, и мы там, где треба.

Но двадцати минут история им не даёт. Происходит то, что так ненавидит любой водящий машину, и чего он боится, просыпаясь, если привиделось ему это во сне: двигатель щёлкает, астматически задыхается, машина ещё с три сотни метров проезжает рывками, ещё раз, последний, пытается дёрнуться и останавливается. На этот раз надолго. Пока не получит хотя бы глоток бензина.

— О-па... Кажись, приехали. Горючка кончилась. — Водитель раздражающе спокоен. Точно с ним такое происходит ежедневно.

А вот это уже проблема. Да ещё какая! Ольховой сердит.

— Ты что, байстрюк, раньше не видел, что у тебя паливо на нуле? — Он с силой распахивает свою дверь. — Ты в который раз за рулём? Второй, поди, в жизни?

Выходит. Свой автомат оставил на сиденье.

— Тебе не то, что машину — игрушку в яслях, пустышку нельзя доверить!

Тоскливо оглядывает безлюдные просторы — спереди и сзади.

— Ну, и что теперь делать прикажешь, хлопец дорогой? Ждать, когда кто-то проезжать будет? А если не отольют нам горючки! А если до вечера тут никто не проедет!..

Евгений ворочается, не снимая ноги с сиденья рядом. Всё, что угодно, только не идти!

Водитель непонятно усмехается и, игнорируя вопросы хирурга, медлительно берёт его автомат, будто хочет рассмотреть вблизи слепо, и так же медлительно отдаёт его в руки сидящему сзади пленному.

— А шо? Может так случиться, шо и не проедет тут никто, — выговаривает долго, невыразительно, доставая свой ствол и направляя на Ольхового. — Вы только, доктор, не дёргайтесь и дурью не майтесь. Двигайтесь постепенно, без фанатизму. И не подходьте к машине. Тада́ вас никто не тронет.

Николай, стоя на замёрзшей за ночь, подбелённой инеем грунтовой дороге, и Евгений, получивший автомат, одинаково удивлённо смотрят на шофёра. Не скочерыжил ли парень от этой войны?

— Ты чё это вдруг? — спрашивает у него с задних сидений Борятьев. Тем не менее, по выработанному порядку проверяя оружие, отсоединяет и снова прилаживает магазин с патронами. — Чё задумал? — Потом делает предположение: — Не из наших ли будешь? Из украинских? Ты здесь чё, на задании, в натуре?

Водитель отвечает медленно, словно ему гантель на язык подвесили:

— Не... Я в ополчении торчал. Но теперь хочу до дому вернуться. И мне нужна ваша помощь.

— Моя? — всё ещё не понимает загипсованный.

— Да. Я прикидываю, шо вы — вэлыкий командыр в вашей армии. Так я помогу вам пробраться к своим, а вы за меня поручитесь. Я живу в Красноармейске, он сейчас под вашими.

Большой командир похмыкивает:

— А чего ж ты в ополчение это чесоточное пошёл, дубень?

Чирьеватый завздыхал громко:

— Та-а-а... Чего уж объяснять!.. — И, видя, что Ольховой всё-таки собирается вернуться к машине, излишне грозно предупреждает: — Я ж казав вам, доктор: стойте на месте. — Поднимает автомат для прицеливания.

И продолжает, снова спокойно, лишь слегка повернув лицо к своей надежде, сидящей сзади, наискосок:

— Девоньку я одну любил. Замуж звал. А она по весне пошла в ополчение. Уж больно не жаловала она всю вашу власть. А стреляла хорошо... Ну, и я за ней. Ну, щоб не потерять... Так она подорвалась на «противопехотке», установленной вашими у колодца, под Докучаевском, в самом конце лета. Жарко было в тот день. Пить она хотела... А мне теперь уйти из ополчения уже никак... Ваши пристрелят на первом же блокпосту.

Приходится Борятьеву соглашаться:

— Да, вполне могут, — он снова проверяет автомат. — Ну, ладно, если доберёмся до наших, скажу за тебя. В грудь себя буду бить, что спас ты меня. Из кровавых лап контрразведки просто-таки вырвал! — Разулыбался, довольный. — И ещё скажу, что тебя весной насильно, шантажируя родными, затащили в вашу банду. Обещали, что положат всю твою родню, если не пойдёшь воевать против украинской армии.

— А поверят? — осторожно сомневается водитель, неусыпно одним глазом держа Ольхового. — Разве кого-то насильно в ополчение Отпора стягивали?..

Раненный пленник, уже и не пленник вроде бы, обнадеживает:

— Поверят! У нас все знают, что только так ваше ополчение и собиралось... Ну, и я всё-таки в нашей армии — не отставной козы барабанщик. Если за тебя поручусь...

Отталкивает свою дверцу, кряхтя, выволакивает обвязанную ногу, опираясь одновременно на прихваченную из-под Донецка ортопедическую палку и автомат Николая, прикладом в землю. Хитровато-добродушно зовёт:

— Идём, Кокос, вон туда, в заросли. Побазлаём немного. И опорожнимся заодно. — А шофёру сухо, уже приказными интонациями: — Ты же тут пока посидишь. Мне с врачом поговорить надо, наеди-

не... И не бойсь, я кот учёный, наш доктор от меня не сбежит и автомат не отберёт. Я больше в плен не ходок... Так что сиди тут, жди, я через какое-то время вернусь. Может, через немалое время. Но всё равно жди. Если будут машины, попроси немного бензину.

Николай, в бешенстве запахиваясь на все пуговицы камуфляжного бушлата, засунув руки в карманы, идёт на Борятьева.

— Не, Кокос, двигай вперёд, передо мной, — одёргивает тот. — Так, чтобы только твоя спина была видна... И не быстро. А то я пока ставить рекорды в беге трусцой не могу, как тебе известно...

— Раскомандовался... Ну, и куда идти, сэр? — на ходу спрашивает Николай, прикрываясь от налетевшего режущего ветра.

— А вон там деревья какие-то, вроде, обрыв над рекой. Посидим там, потолкуем, ножки с обрыва свесим. Как в детстве, в Александровке. Помнишь?

Хирург беспечно шагает к деревьям, подняв ворот бушлата, отдав спину в распоряжение приятеля. Уточняет с весёлой злостью:

— О чём толковать хочешь? Не о высших ли сферах геостратегии?

Тот отвечает хирургу в тон:

— А как же! О них. О них самых. О независимости Украины. О полной независимости.

Николай говорит с нерадостным смехом:

— От кого независимости? От России или от Америки?

Перекидывание через сетку понг-понгового шарика фраз обрывается. Борятьев не отвечает, долго идёт, задумавшись. Потом оборванно, уже без прежнего шутовства, негромко, с оформившейся уверенностью говорит: «...от России».

* * *

Они проходят низкие и редкие посадки, ведущие к обрыву над рекой, — слишком редкие, чтобы именовать лесом. Но они приемлемы для уединения.

Выходят на изглоданный течением обрыв. Внизу под ними грустно ползёт безымянная река, вся в плывучем листопаде. Одна из тех речушек, которые они уже проезжали.

Евгений подходит к краю обрыва, без цели рассматривая течение.

— Ну и речка! Канализация сельская, а не речка. С нашим Днепром не сравнить. Правда, Коль?

Ольховой в отдалении пожимает одним плечом:

— Река как река... Ну, так что ты хотел мне повредить наедине, Жетон?

Тот опускается на границу земли и невысокой пропасти, нависающей над берегом, заросшей дикими и пригорюнившимися перед спячкой травами.

— Чё-то подустал я... Да садись ты, Кокос. Только — где стоишь. Ближе не надо... Садись. В ногах правды нет.

— «Но правды нет — и выше», — цитирует Ольховой.

— Старо, Коля... Но ты всё-таки сел бы. И прошу: не вздумай метаться. Я призёром по стрельбе всегда был. — Освобождённый пленник пристраивает автомат на колене, направляя в дружбана. — Дело идёт к тому, Коль, что нам с тобой расставаться пора. Так что уходи. Прощу: не дай грех на душу взять. Спасибо за всё, что ты для меня сделал за этот месяц с небольшим. Поверь, при всех моих недостатках, меня нельзя назвать неблагодарным скотом... Но раз ты, украинец, не хочешь за свою родину встать, то езжай к себе в Уфу или ещё куда, но только не трись здесь. Это моя страна, и здесь я буду жизнь налаживать.

Ольховой и не собирается слушать Жетона серьёзно. Этот-то, толстозадый, будет его наставлять! Этот, которого он учил правильно загребать руками и ногами, когда они переплывали Днепр от одного острова до другого! Этот, которому он позже рассказывал об «Инфанте» Веласкеса в столичном Музее западноевропейской и восточной живописи! Может, ещё и выстрелит в учителя? А вдохновения хватит?

— Жетон, а если не уйду? Завалишь меня? — Смеётся обидно. — Ну, стреляй, стреляй!.. Что, скукисился? — И замедленно, с долгими интервалами: — Нет, не уйду, Женя. Не мечтай. Я буду воевать. Именно за родину, которую у меня хочет оттяпать ваш североамериканский меценат. Я её верну. — Выдохнул словившимся голосом: — Не могу я её оставить. Вы же крадёте! Мою тихую, мою обильную и сдержанную когда-то Украину, какой я её всегда знал. И я останусь здесь, чтобы её у меня окончательно не отобрали. Ни пиндосы, ни вуйки, ни вы, сведомые громадяне.

Борятьев нервно цепляется за спусковой крюк автомата. Рычит полушёпотом:

— Дурак ты, Кокос. Вроде ведь порядочный человек... А дурак... О чём ты? Не понимаешь, дурила, что той, тихой и забитой, совковой, несвободной Украины больше никогда не будет? А будет сильная, независимая от всех, соборная Киевская Русь, у которой твоя Раша ещё за честь почитает быть в колониях... Метрополия, центр мира! Со святой Софией и златоглавыми храмами!

Но приятель беспощаден:

— Боже ж ты мой! Жетон, откуда такой звёздный размах?!.. Центр мира? С чего бы? С культуры, покорившей всю планету? Военной силы? Технологического превосходства? Вселенских денег?.. Ведь в сегодняшнем мире только грóши что-то и способны решать, да и то — не всегда. Но теперь у Украины даже этого нет.

— Теперь, может, и нет, — лязгает Евгений зубами, как замками тюремной камеры. — Но обязательно всё будет.

— Откуда будет-то? Объясни, Жетон. — Ольховой в возбуждении возвышает голос. — Почему ничего из этого не появилось за все годы после Союза? И откуда появится теперь?

— А вот появится. Поскольку теперь есть свобода. — Жетон непреклонен, уже заходится ором: — Мы теперь всё можем!

Николай прижимает ладони к горящей голове.

— Боже, вразуми вас всех! Да чем же вас опыляют? Тут поневоле поверишь в инфо-утечки, что последние лет сорок военный флот Штатов разрабатывает излучатели массового гипноза. И это тебе не телевизор. Эти волны пострашнее. Неужто до Украины дошёл черёд?.. Нет, не хочу верить... Чтоб вас, свидомитов, проказа скрутила! Надо ж было так страну уездить!

Борятьев, перегорев, вскидывает поджарое волчье тело автомата. Палец пружинит на спуске. Снова взрыв неукротимого приступа.

— Ну, так подыхай! И я тоже готов сдохнуть! А Украина будет великой! Будет, несмотря на всех врагов — и снаружи, и изнутри!

Разовый выстрел протыкает холодный и многотонный, как вечная мерзлота, воздух, сбрасывает с качнувшихся веток подорвавшуюся стаю, и чёрная рваная туча в вороньем иерихоне спешит в небо, подальше от этого места, где ещё не наигрались в стрелялки.

С северо-востока тянет острым приполярным ветром, низкие облака несутся оттуда, но всё никак не кончаются. Евгений невидяще и неверяще смотрит сквозь закачавшуюся фигуру друга, которая валится набок, приминая осенний тёмный, траурный осот-подорожник.

* * *

На гремющую смесь звуков прибегает дезертир-водитель с автоматом.

Борятьев отворачивается: не хочет убеждаться в том, что кто-то мёртв. Или ещё жив. Или не совсем... Не хочет снова смотреть туда, куда направлял шальной глаз дула — в ломающиеся к зиме, чёрствые стебли.

Что свершилось, то свершилось. Если кто-то умер, так умер. Выжил — значит, так лёг расклад!

Водитель молча стоит, не смея ничего спросить. Так и стоял бы, если б не закоченелый, надорванный, спрашивающий голос отходящего от ранения великана:

— А что это за река тут внизу? Не знаешь?

Юный дезертир опускает автомат — держал наготове.

— Река называется Миус, — водитель лениво озирается во все направления. — Там за ней, на том берегу — уже Луганщина считается.

Запустение пейзажа гнетёт. К нему нужно привыкать: к неизменяемости, к нависшим, как судьба, облакам, к дикому вороньему «кра-а-а-аааа», к шевелящейся и шуршащей на ветру траве. Время года — самое покойническое...

— Луганская область? Ещё один нарыв... Ну, ничего, и это вылечим, — Борятьев встаёт, подтягивая ногу,

опираясь на палку и автомат, распрямляется. — Ну что, были автомобили? Удалось бензином разжиться?

Парень поводит-покачивает головой в обе стороны — как стрелкой метронома.

— Та не... Ни одна сука не проехала за это время.

Многоногий пешеход неслаженно перебирает всеми опорами, намереваясь пройти вдоль речного русла влево.

— Значит, нужно идти пешком, к нашим. Значит, будем двигаться. Потом какую-нибудь частную машину стопанём. Хорошо бы, чтоб с одним только шоферюгой, без пассажиров. Сунем шефу ствол в нос, завяжем руки, кинем на пол сзади, и побыстрее отсюда мотать туда, на запад. Хотя бы к вечеру успеть...

Оба сползают медленно с холма, всё так же вдоль шелудивого берега.

Задувает ветром. Стали капать первые предвестники большого дождя. Гнев грома уже рядом.

* * *

Ближе к дороге, из всё ещё густолистой осиновой заросли на них выходят четверо. Все в камуфляже. С автоматами вперёд. На рукавах нашивки — «Новороссия».

— Это не вы тут шалили, стреляльщики? Всех деток и курят нам пораспугали, — спрашивают, с пристрастием глядя в глаза. — Куды путь держим, граждане прохожие? Кто такие?

Шофёр сереет чирьеватыми щеками. Борятьев хочет вскинуть свой автомат, но успевает просчитать: не удастся, они выстрелят первыми...

— Из харьковского отдельного батальона Семёна Даниловича Довгало. — Юнец, только что живший видами на близкий дембель, опрометью возвращается к сольной партии завязанного ополченца. — Вот, конвоирую пленного, как и приказано, в Четвёртый резервный полк Отпора. Он ранен. Можете перепроверить, свяжитесь с нашим комбатом.

— Пленного? — вперёд выходит один из четверых, приземистый и жизнерадостный. Улыбается счастливо, как в детском саду. — А шо у тебя пленный при оружии разгуливает? Та ещё зраненный... Не-е, шо-то не то тут, хлопцы... А ну, пленный, брось-ка свой калибр, а то я человек неврамешенный. Ещё как пальну... И ты, конвоир, свою дудку тож брось. Мы подыдем. И вперёд просим. Сюды, по тропке. Потопали, панове. У нас и машина имеется. Разберёмся. Мы и есть Четвёртый резервный в Отпоре.

Мало кому заметным поворотом Борятьев оглядывается, смотрит назад, на взгорок, прежде чем начать спотыкаться по начертанному ему пути. Коля Ольховой, лежащий на обрыве лицом к воде, хотя ещё и заметен, но уже едва. Краешек плеча над травой, бугор локтя. Далеко, мелко.

— Да иду я, иду, — недовольно отсылает за спину, в которую стучится поторапливающий ствол. — Вы ж видите, что я сегодня не спринтер и даже не стайер.

Александр Казаков

ЕСЛИ СЕРДЦЕ ПОМНИТ...

Повесть

«На северо-западе России ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха...»

Фёдор Иванович, не вставая с широкого топчана, с раздражением дёрнул за шнур радиоприёмника. Вилка пульей вылетела из розетки и громко звякнула о стоявшую на столе пустую трёхлитровую банку из-под молока.

Крупный, с небольшого телёнка, сенбернар, дремавший на брошенном у двери вагончика старом половике, вздрогнул и открыл глаза.

— Извини, Чапа, — Фёдор Иванович развёл руками. — Я случайно...

Пёс в ответ стукнул хвостом по полу, — ладно, мол, прощаю! — зевнул и снова закрыл глаза.

— «Без существенных осадков»... — поморщился Фёдор Иванович. — Впрочем, правильно: разве это, — он посмотрел в окно, — существенные? Только конца им не видно...

И это было сущей правдой.

То, что вот уже третий день подряд сыпалось с мутного серого неба, не то что дождём, а даже изморосью можно было назвать только с большой натяжкой: в воздухе невидимой, но вполне ощущаемой массой висела мельчайшая водяная пыль, состоящая, наверное, даже не из молекул, а из одних только атомов. Высунь руку на улицу, — и она через несколько секунд станет мокрой, словно ты её в ведро с водой окунул, хотя ни одной, видимой глазом капли дождя на неё за эти короткие мгновения вроде бы и не упало.

— Ну, погодка... Ну и погодка, чтоб её! — сокрушённо качая головой, сказал Фёдор Иванович. — Во как мы с тобой попали-то, — а, Чапа? Вот уж попали...

Пёс приоткрыл глаза, с сочувствием посмотрел на хозяина и шумно вздохнул.

Да, припоздали они с поездкой на новую, лишь в прошлом году купленную дачу, здорово припоздали. Вообще-то Фёдор Иванович планировал приехать сюда на всё лето: надо было и участок от кустарника расчистить, и саму дачу, роль которой выполнял выдавший виды строительный вагончик, в порядок привести... Короче говоря, планов было — громадье. Вот только получилось всё не так, как хотелось, — совсем не так... Как когда-то говаривала мать Фёдора Ивановича: «Человек предполагает, а Бог располагает».

Ну, то, что он в конце мая с ремонтом квартиры завёлся, так в этом только его вина и есть: никто Фёдора Ивановича не неволил, никто не торопил. Впрочем, кому теперь торопить-то...

Его двухкомнатная квартира в ремонте, по большому счёту, не очень-то и нуждалась: она и без ремонта выглядела вполне опрятно. Но Фёдор Иванович всё же решил обновить своё жилище, сделать его ещё уютнее и светлее: где-то в глубине души он надеялся, что обновлённый вид квартиры хотя бы в какой-то степени поможет разнообразить его холостяцкий быт, как-то заполнить образовавшуюся со смертью жены пустоту существования, к которой он за три последних года стал мало-помалу привыкать...

Управиться с ремонтом Фёдор Иванович рассчитывал за неделю, максимум — за две: велика ли, казалось бы, хитрость — потолки побелить да стены обоями оклеить. И дел-то — всего ничего! Но провозился он больше месяца...

Потолки Фёдор Иванович побелил за один день, причём не особенно и торопясь. Потом за пару дней покрасил двери и оконные рамы. Сделав суточный перерыв, чтобы хорошенько высохла краска, поклеил обои. Но когда покончил и с этим, то увидел, что тёмно-коричневые полы совершенно не гармонируют с обновлённым интерьером квартиры, особенно со светлыми, в цветочек, как любила Галина, обоями... Чтобы довести дело до конца, Фёдору Ивановичу не оставалось ничего другого, как купить краски посветлее и покрасить и полы.

И квартира засверкала!

Он вздохнул с облегчением и совсем уж, было, собрался ехать на дачу, но тут испортилась погода: один за другим пошли такие ливни, что город чуть ли не тонуть начал в потоках неизвестно откуда взявшейся мутной грязи. Какая уж тут дача!

Послонулся Фёдор Иванович по отремонтированной квартире, повздыхал, сетуя на вынужденную задержку с отъездом, и, не видя на небе ни одного просвета и не слыша утешительных метеопрогнозов на ближайшее время, принял за ремонт ванной...

Синоптики, правда, в очередной раз ошиблись, — и за что только людям деньги платят? — и уже на следующий день после того, как Фёдор Иванович принялся за ванную, над Псковом вовсю сияло солнце. Но позволить себе бросить начатый ремонт ванной он уже не мог: не тем характером обладал и не по тем принципам жил бывший военный лётчик, чтобы останавливаться на полпути к намеченной цели.

В конце концов, в последних числах июня с ремонтом он закончил. Придирчиво осмотрев чистенькую квартиру и оставшись весьма довольным результатами этого осмотра, Фёдор Иванович сказал своему лохматому другу:

— Ну, Чапушка, пора!

— Гав! — вильнув хвостом, радостно согласился с хозяином очумевший от запаха краски пёс.

И Фёдор Иванович стал собираться в путь, время от времени с удовлетворением поглядывая на веселенькие обои и белоснежный потолок, и думая о том, с каким удовольствием он после летнего отдыха сюда вернётся.

Накануне дня отъезда, с вечера загрузив в свой «жигулёнок» недельный запас продуктов, резиновую лодку, рыболовные снасти, одежду и кое-какой столярный и слесарный инструмент, без которого на даче не обойтись, Фёдор Иванович поставил машину на платную стоянку возле дома: очень уж ему хотелось выехать засветло, чтобы добраться до места к обеду и ещё успеть порыбачить. И рано утром, прогревая перед выездом двигатель, он уже представлял себе, как сидит в лодке с удочкой в руках, а в тростнике всплёскивает рыба, и рябь от этих всплесков медленно катится по заводи, изламывая отражающиеся в воде стройные стволы растущих на ближнем острове берёз...

На выезде из города Фёдор Иванович заехал на заправку, решив залить бензина «под пробку», чтобы хватило на весь путь. Он остановился возле колонки, заглушил двигатель, — и в то же мгновение его «жигулёнок» получил такого пинка под зад, что у Фёдора Ивановича от сильного удара о подголовник сиденья помутилось в голове. Сидевший на соседнем сиденье Чапа взвизгнул и залился неистовым злобным лаем, чего раньше от спокойного, уравновешенного пса Фёдор Иванович никогда не слышал.

«Ну, вот и выехал пораньше, — мелькнула в голове Фёдора Ивановича тоскливая мысль. — Ну, вот и порыбачил...»

Тормоза ли у новенькой «Газели» неожиданно отказали, или молодой парень, сидевший в её кабине с открытым от испуга ртом, был ещё слишком неопытным водителем, — это Фёдора Ивановича в тот момент интересовало меньше всего. Главным для него было то, что столь долго ожидаемая им поездка на дачу, судя по всему, «накрылась бордовой шляпой». И это без малейших сомнений можно было констатировать, как свершившийся факт...

Ремонт разбитой машины, включая покраску, занял ровно два месяца. Может быть, времени ушло бы и гораздо больше, если бы Фёдору Ивановичу пришлось выбивать деньги с виновника аварии через суд. Но Федька — парень оказался тёзкой хозяина машины — сразу и полностью признал свою вину и не только дал слово возместить причинённый им ущерб, но и сам дневал и ночевал в гараже у Фёдора Ивановича, помогая восстанавливать разбитый автомобиль.

В общем, машину они ремонтировали — и отремонтировали, в конце концов, — вдвоём, без привлечения посторонних. Руки у Федьки оказались просто золотыми, и заодно с кузовными и прочими работами он и двигатель почти полностью перебрал, да так, что Фёдор Иванович, впервые выехав на отремонтированной машине из гаража, нарадоваться не мог: его выдавшие виды «жигули» вели себя так, будто только что сошли с заводского конвейера.

Чудеса, можно сказать, но Фёдор Иванович с Федькой, несмотря на почти тридцатилетнюю раз-

ницу в возрасте и более чем печальный повод для знакомства, довольно быстро подружились. У них, как оказалось, было много общего: и рыбалкой оба увлекались, и в авиации в прошлом и тот, и другой служили...

Впрочем, и характерами они обладали тоже весьма схожими: Федька, как и Фёдор Иванович, человеком был сдержанным, рассудительным и понапрасну слов на ветер не бросал.

И ещё... Что-то неуловимо знакомое чудилось иногда Фёдору Ивановичу в белозубой Федькиной улыбке — что-то такое, что заставляло тревожно-сладостно замирать его сердце. Будто на короткое мгновение вдруг открывалась где-то за этой улыбкой маленькая потаённая дверца, ключ от которой был давным-давно им, Фёдором Ивановичем, потерян, и там, за этой дверцей, расплывчатым видением мелькало нечто удивительно светлое и доброе, притягивая и маня его к себе из какого-то бесконечно далёкого далека. Будто кто-то невидимый говорил ему настойчивым шёпотом: «Открой, открой дверцу, Фёдор! Открой — и войди!..»

Но, как ни пытался Фёдор Иванович в такие мгновения отыскать тот ключик, это ему не удавалось. И дверца захлопывалась...

Родом Федька был из Новгородской области, где и находилась дача Фёдора Ивановича, и куда он по вине парня не попал, — по крайней мере, тогда, когда рассчитывал. Правда, откуда именно, из какого её района, он у Федьки не уточнял: поначалу не до этого было, а потом как-то забыл...

В Пскове же Федька остался, отслужив срочную службу в здешнем авиаполку.

— Чего ж домой-то не захотел вернуться? — спросил его как-то Фёдор Иванович.

— А-а, — Федька, поморщившись, махнул рукой. — Что мне там делать-то, дядя Федь? На всю деревню — три десятка домов, да и те, почти сплошь, — дачи. А местных жителей и вообще осталось — раз, два, — и обчёлся...

Он вдруг как-то разом погрузился и тихо сказал:

— Ни молодёжи нет, ни клуба; в общем, ничего нет. Одни дачники, да и то — только летом. Человек, может, двадцать—тридцать побывает за всё лето у нас в деревне — и всё. А зимой там тоска-а-а...

Федька задумался о чём-то и надолго умолк. Потом бросил короткий и отчего-то сердитый взгляд на Фёдора Ивановича.

— Ну, какие там для меня перспективы? — спросил он. — Ни-ка-ких! А здесь у меня — и работа, и в политех я поступил в прошлом году, на заочное...

— И девчонку, небось, завёл? — подмигнул парню Фёдор Иванович, уводя разговор в сторону от неприятной, как он понял, для Федьки темы.

— Ну, а как же! — заулыбался Федька. — Как же без девчонки-то? Это она меня, кстати, в институт поступать уговорила. Вот мы с ней вместе и поступали. А познакомились, когда я служил ещё...

Из дальнейших — между делом — разговоров с ним Фёдор Иванович уяснил для себя одно: что бы ни говорил Фёдке о преимуществах городской жизни, привыкнуть он к ней до сих пор никак не может, и на самом деле ему страсть как хочется домой, в деревню. А единственной причиной того, что он остался в Пскове, была любовь — видимо, первая и потому невероятно сильная любовь к девушке, которая, как узнал Фёдор Иванович из Фёдкиных рассказов, ехать жить к нему в деревню не захотела ни за что. Любила Фёдку, наверное, так же сильно, как он её, а вот уезжать из города отказалась наотрез...

Самому же Фёдке город со всеми его сомнительными прелестями был, судя по всему, до лампочки. Если бы не любовь, он, скорее всего, даже учёбой в солидном институте пожертвовал, лишь бы домой вернуться...

В общем, за эти два месяца они о многом успели поговорить. И даже со своей девушкой, Людмилой, Фёдка Фёдора Ивановича познакомил.

Вышло это, в общем-то, совершенно случайно: Фёдор Иванович в тот вечер поехал зачем-то к бывшему сослуживцу на окраину Пскова и там, на автобусной остановке, увидел Фёдку, и не одного, а с очень красивой девушкой. Как выяснилось, молодые снимали в этом районе комнату.

«Да-а, такая в деревню не поедет... — любясь Фёдкиной подругой и осторожно пожимая тонкие девичьи пальчики, подумал тогда Фёдор Иванович. — Попал ты, однако, брат! Ох, попал!...»

И, чувствуя душевные метания парня — и домой ему хочется, и с Людмилой он расстаться не в силах, — по-отцовски пожалел его.

Но что он, взрослый человек, мог Фёдке посоветовать? Да ничего! Какие уж тут советы... В этом деле советы вообще неуместны, а то и вредны.

Да и сам Фёдка — не маленький уже: раз уж в институт поступить сумел, значит, голова на плечах есть.

«Дров бы не наломал, по молодости-то, — беспокоился Фёдор Иванович, отчего-то близко к сердцу принимая Фёдкины проблемы. — Не сорвался бы парень, не искалечил бы жизнь девчонке, а заодно — и себе. Будет потом локти кусать, что уступил Людмиле, или, наоборот, на своём не настоял... Задним-то умом мы все крепки; вот только радости от этого...»

С Чапой, псом умным и осторожным, обладавшим каким-то особым чутьём на плохих и хороших людей — а в необычайной точности этого чутья Фёдор Иванович убеждался неоднократно — Фёдка тоже подружился. Причём намного раньше, чем с его хозяином — уже на третий день их знакомства. Фёдор Иванович, будучи тогда ещё зол на виновника аварии, поначалу едва сдерживался, чтобы не приструнить, не одёрнуть щенком крутящегося вокруг Фёдки солидного, взрослого пса; приревновал его тогда к Фёдке, что ли? Но, присмотревшись к

парню, постепенно успокоился, лишний раз убедившись в том, что Чапа в людях не ошибается...

В конце концов, когда в последних числах августа машина была полностью отремонтирована, и пришла пора Фёдору Ивановичу с Фёдкой прощаться, то расставались они с большим сожалением. Ну, вот возникло между ними за короткое, в общем-то, время их знакомства такое удивительное взаимопонимание, какое не часто встречаются и у людей, порой проживших вместе, бок о бок, целую жизнь...

Вот так и получилось, что добрался Фёдор Иванович до своей дачи лишь первого сентября. Ну, а осень — она и есть осень: только они с Чапой приехали, только устроились в вагончике, как на следующий же после их приезда день начались бесконечные дожди...

Фёдор Иванович с сочувствием посмотрел на лежавшего возле двери пса; Чапе, судя по его унылой морде, тоже было не особенно весело. Да и впрямь, какое уж тут веселье! Это в день приезда он, как заведённый, шнырял по участку и вокруг него, подолгу обнюхивая кусты, деревья и всё, что попадалось на его пути. Видно, слишком уж много новых, незнакомых Чапе по городской жизни запахов обрушилось на него разом, слишком много неведомых звуков доносилось из леса, начинавшегося сразу за границей участка. Время от времени Чапа надолго замирал, напряжённо прислушиваясь и вопросительно поглядывая на Фёдора Ивановича: дескать, а это что такое? А теперь вот лежит и вздыхает; впрочем, оба они вздыхают — то по очереди, а то, бывает, и одновременно...

«Тоже, видно, тоскливо ему: вон, глаза-то какие грустные, — глядя на Чапу, подумал Фёдор Иванович. И снова вздохнул: — Эх, на рыбалку бы сейчас!»

— Да уж, попали мы с тобой, Чапа, — сказал он. — Ну, попали...

Пёс в ответ лишь вяло стукнул хвостом по дощатому полу вагончика. «Ты это уже говорил», — было написано на собачьей морде.

Сидеть вот так, глядя на серую муть за окном, и ждать «у моря погоды» было больше неважноту. Надо было что-то делать — тем более что делать-то как раз было что: дел — и на участке, и в самом вагончике, — если разобраться, было невпроворот.

— Эдак тут скиснешь совсем, — громко сказал Фёдор Иванович и решительно поднялся с жалобно заскрипевшей железной кровати.

Чапа тоже встал и, припав на передние лапы, потянулся большим и сильным телом.

— Пойдём-ка, дружок, на свежий воздух, — сказал Фёдор Иванович. — Нечего тут валяться; пора нам с тобой кости поразмять, пора... Пойдём, Чапушка, пойдём!...

«Жаль, конечно, что не получается пока с рыбалкой», — думал Фёдор Иванович, спускаясь по при-

ставленной к порогу вагончика металлической лестнице. Хотя, может быть, так-то оно и лучше: ещё неизвестно, устоял бы он перед искушением отложить намеченные дела «на потом» и вместо этого целыми днями пропадать на озере с удочкой в руках, если бы погода была нормальной. А тут, хочешь или не хочешь, всё складывается так, как и должно быть; да и хозяйство своё приводить в порядок, рано или поздно, всё равно придётся.

А рыбалка... Да куда она денется-то?

— Ничего, Чапа: будет и на нашей улице праздник, — сказал Фёдор Иванович и потрепал пса по холке.

— Гав! — ответил Чапа, прыгнул из вагончика на землю и рысцой потрусил к давно облюбованному им кусту.

Первым делом Фёдор Иванович решил скосить на участке траву; лето с самого начала было щедрым на дожди, и трава выросла такой густой и высокой, что в день приезда он даже въезжать на участок на машине не решился: а ну как в яму какую-нибудь, не заметив, своротиться? Да и траву колёсами примнёшь — как потом косить?

Вот только своей косы у него не было: от прежнего владельца участка в вагончике остались лишь тяжёлая лопата с присохшим к ней цементом да с десяток кривых, ржавых гвоздей в круглой жестяной коробке. Правда, разного калибра гвоздями и саморезами Фёдор Иванович запаса перед выездом из Пскова, а вот о косе даже и не вспомнил.

И отправился он искать косу по соседям.

«Заодно и познакомлюсь: ведь, по сути, не знаю здесь никого, — думал он, пробираясь напрямик, через заросли ивняка, к соседнему участку. — Только бы не увидел кто, как я косить буду: ведь сроду косу в руках не держал! Опозоришься тут на веки вечные...»

Косу Фёдор Иванович нашёл сразу: она стояла на виду, под навесом соседского сарая, рядом с другим инвентарём — граблями и лопатой. Правда, спросить разрешения было не у кого: ни во дворе, ни в доме никакого движения Фёдор Иванович не заметил.

Он с минуту потоптался возле закрытой калитки, не решаясь войти и не зная, как обозначить своё присутствие. Не кричать же на всю деревню: «Эй, хозяева!» или «Есть кто живой?» И потому, махнув рукой, Фёдор Иванович отправился к следующему участку.

Но и там никого не обнаружил.

— Как в пустыне Гоби, — пробормотал он в недоумении. — Куда народ-то подевался?

Ещё накануне вечером, несмотря на мерзкую погоду, в деревне было достаточно многолюдно, и поодаль от участка Фёдора Ивановича, у берега, то и дело были слышны голоса. И почти возле каждого дома стояла какая-нибудь легковушка, а то и две, причём всё больше с московскими или питерскими номерами. А сейчас деревня будто вымерла.

«Это погода всех разогнала, — догадался Фёдор Иванович. — Понятное дело...»

И сколько ни вслушивался он в непривычную для него, городского жителя, тишину, но так ничего и не услышал, — если не считать тихого посвиста о мокрую траву собственных резиновых сапог.

«Сам виноват, что в прошлом году ни с кем здесь не познакомился, — запоздало ругал себя Фёдор Иванович. — Познакомился бы, — и проблем сейчас никаких бы не было! По крайней мере, с ко-сой... А то и не знаешь, у кого её искать; куда идти, к кому?»

В свой прошлогодний — и единственный, если не считать нынешнего, — приезд сюда он больше с озером знакомился, чем с деревней. Сама деревня, как и её жители, Фёдора Ивановича, заядлого рыбака, интересовала мало, — если не сказать, что не интересовала вообще: ну, живут здесь люди — и пусть себе живут. Лишь бы ему не докучали.

Ему и не докучали. Никто из соседей к Фёдору Ивановичу не приходил, чтобы о чём-нибудь спросить или что-либо предложить; никто из местных жителей или дачников в друзья-приятели к нему не набивался, не приглашал выпить за знакомство или вместе порыбачить. И Фёдор Иванович был этому только рад: кажется, впервые в жизни он ни от кого на свете не зависел, никому и ничем не был обязан. И это ощущение полной независимости от людей ему очень нравилось.

Что же касается общения, то рядом всегда был верный Чапа, который всё понимал и чувствовал не хуже людей, — а может быть, и гораздо лучше многих из них. А от одиночества Фёдор Иванович с некоторых пор страдать перестал; скорее, наоборот...

Одиночество... Говорят, одиночество — страшная штука; наверное, это, действительно, так... Только вот... разным оно бывает, очень разным; и приходит одиночество к людям по-разному: к одним — по их собственной воле, к другим — по чужой, злой и беспощадной...

К Фёдору Ивановичу одиночество пришло всего лишь через неделю после его ухода в запас, и было оно неожиданным и страшным: по вине пьяного мотоциклиста, на полной скорости врезавшегося в стоявших на автобусной остановке людей, погибла жена, Галина. Дочь, прилетевшая на похороны с далёкой Камчатки, смогла провести с отцом всего лишь неделю. Впрочем, лучше бы она и не прилетала: такой короткий визит Марины, до того ни разу за все двенадцать лет замужества не навещавшей родителей, только усугубил страдания Фёдора Ивановича...

Как ни печально это звучит, но они с женой за эти годы как-то уже привыкли жить вдвоём, без Марины; знали только, что есть у них дочь и что у неё всё хорошо: муж — морской офицер-пограничник, трое детей, большая квартира в Петропавловске-Камчат-

ском... Ну и слава богу! А что не виделись столько лет, так что ж поделаешь: до Камчатки путь неблизкий, в гости не очень-то поездишь. Словом, притерпелись они — и Фёдор Иванович с женой, и Марина, — к постоянной разлуке; отделились друг от друга, и не только тысячами разделявших их километров, но, в какой-то степени, и вообще...

Тогда, после похорон, когда всё немного улеглось, из долгих разговоров с Мариной Фёдор Иванович понял: увидятся они теперь опять не скоро, — если вообще когда-нибудь увидятся. На прямой вопрос отца, когда она приедет в следующий раз и сможет ли привезти с собой внуков, которых Фёдор Иванович видел только на фотографиях, Марина ответила, потупив заплаканные глаза:

— Знаешь, папа, ты лучше сам к нам приезжай... если сможешь. У нас там хорошо; погостишь, с мальчишками поиграешь, с Виктором порыбачить в море приходишь... Мы всегда тебе рады будем. А нам всем приехать сюда — даже не знаю: мальчишки частенько побаливают, у младшего — подозрение на астму... В общем, не знаю...

— Значит, не приедешь... — помолчав и горько усмехнувшись, не спросил, а утвердительно кивнул головой Фёдор Иванович. — Вот как, значит...

— Ну, папа!.. — Марина взяла его за руку. — Ну, не знаю я, как получится... Не обижайся!..

— Да не обижаюсь я, не обижаюсь, — с трудом выдавил из себя Фёдор Иванович и погладил дочь по гладко причёсанному, как у матери, волосам. Потом осторожно положил тяжёлую руку на её хрупкие плечи, прижал худенькое тело к себе и чмокнул в русоволосую макушку, — будто попрощался с ней про себя. Навсегда... И подумал: «Вот, кажется, и всё: вот и остался я один...»

И было для него в этом «вот, кажется, и всё» что-то настолько жуткое и безысходно неотвратимое, что даже озноб прошёл по спине Фёдора Ивановича; глаза его сами по себе с силой зажмурились, и он почувствовал, как там, под веками, закипают жгучие солёные слёзы...

Провожая Марину в аэропорту, он ещё крепился: улыбался, даже пытался шутить. А когда дочь вместе с другими пассажирами пошла по покрытому невестомой позёмкой лётному полю к самолёту, а потом, оглядываясь на каждой ступеньке, поднималась по трапу, едва не заплакал.

Успокаивая себя, подумал: «Ну, что ж делать... Марина — взрослый человек, и у неё — своя жизнь. И нечего было ей дурацкими вопросами докучать: приедешь, не приедешь... Да разве отсюда вот так, запросто, приедешь?.. Ладно; поживём, — увидим...»

А в висках, пульсируя, назойливо билось: «Вот и всё... Вот и всё... Вот и всё...»

В тот день, вернувшись из аэропорта в опустевшую квартиру, Фёдор Иванович напился, причём

так, как не напивался никогда в жизни — до бессмятства. Проснувшись на следующий день к вечеру, тут же опять напился. И почти сразу же заснул...

А когда снова проснулся и с невероятным усилием оторвал от подушки будто расплавленным чугуном налитую голову, то первым, что предстало перед его осоловелыми глазами, была огромная морда в упор смотревшего на него Чапы.

Чапа молча плакал, и в его больших грустных глазах было столько боли и обиды, столько искреннего сочувствия и поистине человеческого участия, что Фёдор Иванович вмиг протрезвел.

— Что же ты делаешь-то, скотина! — сказал он сам себе. — Что же ты делаешь-то!..

И с этого дня раз и навсегда поставил на выпивке точку.

А одиночество... К одиночеству Фёдор Иванович сумел заставить себя привыкнуть, хотя сделать это было совсем непросто. И боль утраты постепенно стала отходить всё дальше и дальше... Фёдор Иванович постарался запрячь эту боль ещё глубже — туда, откуда она никогда бы уже по своей воле не смогла выбраться. И она вроде бы повиновалась ему, подчинилась — утихла, затаилась.

Но, видно, нет в человеческом сознании такого места, в которое можно было бы навсегда, осудив на пожизненное заключение, упрятать однажды пережитые страдания. И потому боль утраты иногда, особенно по ночам, всё же прорывалась сквозь возведённые Фёдором Ивановичем преграды, захлёстывая его ледяной, перехватывающей дыхание волной.

И тогда сжимались зубы, и падало в бездонную пустоту сердце...

Да и как было Фёдору Ивановичу отрешиться от грустных воспоминаний, если буквально всё в квартире, в которой они с Галиной прожили столько лет, напоминало ему о жене? То тут, то там, отыскивая какую-нибудь вещь, натёкался он на что-нибудь такое, что вновь возвращало его к воспоминаниям о ней. Её платья в шкафу, которые Фёдор Иванович не знал, куда определить; её тапочки в прихожей; какие-то брошки и колечки в ящичках трельяжа; завалившийся за зеркало тюбик помады...

Наверное, именно поэтому с такой радостью ухватился Фёдор Иванович за предложение бывшего сослуживца купить у него участок земли в тихой деревеньке на берегу большого озера. Ну и что, что за четыреста километров от Пскова: может, оно и к лучшему... В конце концов, не на Камчатке же!

Вот так и стал Фёдор Иванович землевладельцем. И искренне и безмерно был рад тому, что всё так удачно получилось. Красота здесь — просто сказочная, и рыбалка отменная; живи хоть круглый год! Повезло ему с приобретением этого участка, что и говорить, — здорово повезло! Осталось только в порядок его привести, чтобы перед соседями стыдно не было...

Фёдор Иванович прошёл почти через всю деревню и добрался до самого дальнего её конца, где бывать ему ещё не доводилось.

«Где же мне косу-то взять?» — чуть ли не с отчаянием подумал он, остановившись на большой лужайке между трёх окраинных домов деревни; идти дальше было некуда, — сразу за домами виднелся поросший высоким тростником берег озера.

Неужели за косой придётся в райцентр ехать, если и здесь никого из жителей не удастся найти? И как это он сразу-то не додумался косу купить — ещё там, в Пскове? Ведь должен же был сообразить, что в деревне без этого инструмента не обойтись. Или думал, что здесь косить не придётся, заасфальтировано всё кругом?

«Эх, ты, лопух городской! — обругал себя Фёдор Иванович в сердцах. — Вот и ходи теперь с протянутой рукой, кланчи: подайте, мол, люди добрые!.. Тьфу!»

— Здравствуйте! Вы, наверное, за молоком?

Женский голос прозвучал совсем рядом и настолько неожиданно, что Фёдор Иванович вздрогнул.

За невысоким дощатым забором, окружавшим участок вокруг большого деревенского дома, стояла средних лет женщина; она смотрела на Фёдора Ивановича из-под серого, низко повязанного на лоб платка и приветливо улыбалась.

— Здравствуйте! — слегка поклонившись женщине, ответил Фёдор Иванович. — Нет, я не за молоком; у меня тут, видите ли, другие проблемы возникли...

Женщина понимающе кивнула головой и сделала шаг к забору, и от этого движения неожиданно громко зашуршал нелепо свисавший с её узких плеч, блестящий от измороси плащ-болонья.

«Такие плащи лет тридцать назад в большой моде были», — мелькнуло в голове Фёдора Ивановича; помнится, он в юности в таком же на танцы бегал. Только плащ у него был другого цвета — не ярко-зелёного, как у женщины, а, кажется, шоколадного...

«Ну надо же, что вспомнилось!» — не сумев сдержаться улыбки, подумал Фёдор Иванович.

Женщина тоже улыбнулась, и от её улыбки у Фёдора Ивановича вдруг сбилось с ритма и гулко забухало в неожиданно опустевшей груди сердце...

«Что это со мной? — подумал он чуть ли не с испугом. — Откуда это?»

Как из какого-то бесконечно далёкого далека, из серого, беспросветного тумана, навсегда поглотившего события прошлого, блеснул вдруг в карих глазах незнакомки чистый, ясный солнечный лучик; он полыхнул неожиданно яркой, ослепительной вспышкой, ударил всплеском пламени беззвучного, как в немом кино, взрыва... И сразу же пропал — погас, растворился, растаял в том же сером, вязком тумане, из которого каким-то чудом сумел вырваться...

У Фёдора Ивановича от дикого напряжения, с которым он попытался удержать этот лучик, не дать ему ускользнуть, провалиться в бездонную пропасть небытия, вдруг со страшной силой заломило виски.

«Пятикратная... — профессионально сравнивая своё состояние с лётной перегрузкой, подумал он. — А может, и больше...»

И эта, не к месту пришедшая мысль, окончательно погасила неведомый лучик, помешала Фёдору Ивановичу удержать его хотя бы ещё на одно мгновение, чтобы... Чтобы — что? Понять? Вспомнить?

И ведь было с ним недавно что-то похожее, было... Только когда?

Он с усилием выдохнул из груди воздух, но легче ему от этого не стало: там, где притаилось сбившееся с привычного ритма сердце, остался странный холодок... Будто какой-то высокопрофессиональный хирург одним коротким и точным взмахом скальпеля вспорол ему грудь и отсёк что-то жгучее — только что возникшее и бесконечно дорогое...

И вложил вместо этого жгучего и дорогого маленькую колючую льдинку...

С трудом проглотив застрявший в горле сухой комок и отводя взгляд в сторону, чтобы скрыть от собеседницы своё состояние, Фёдор Иванович хрипло спросил:

— А что, у вас можно молока купить?

— Конечно, можно! — улыбнулась женщина. — Почему же нельзя? У меня многие молоко берут... Может, и вы будете?

Фёдор Иванович пожал плечами:

— Да я и банку с собой не взял... Вообще-то я молоко у Марьи Захаровны вчера брал, — вдруг начал оправдываться он перед собеседницей. — Она и ещё предлагала приходиться...

Женщина поджала губы.

— Ну, воля ваша, — с лёгкой обидой промолвила она и сделала движение, чтобы повернуться и уйти.

— Прямо не знаю, что и делать, — окончательно смешавшись, зачем-то попытался остановить её Фёдор Иванович. — Вроде я... как бы обещал у неё брать...

А про себя подумал: «Вот уйдёт сейчас, — и где я тогда косу возьму?»

— Да ладно вам! — улыбнувшись, беспечно махнула рукой женщина. — У Захаровны — так у Захаровны; у её Зорьки тоже молоко хорошее...

И пояснила:

— У нас ведь тут промеж собой конкуренции нет — у нас тут как раз наоборот: желающих, особенно летом — тьма, а молока — nemá!

Она, было, рассмеялась неожиданно возникшей рифме, но вдруг как-то разом погрузилась и сказала, печально кивая головой:

— Коров-то дойных три всего и осталось, на всю деревню... Не то, что раньше...

— Да-а, — сочувственно покивал головой Фёдор Иванович. И вдруг сам не зная почему, брякнул рас-

хожую, стилизованную под деревенскую речь, фразу: — Да-а-а, таперича не то, что давеча...

И сразу понял, что сморозил глупость: собеседница бросила на него быстрый, с прищуром взгляд — как к стене пригвоздила! И был этот взгляд острым, как бритва, и гораздо менее дружелюбным, чем ещё секунду назад.

«Откуда тебе, городскому, знать, что и как здесь было «давеча»?» — словно говорили Фёдору Ивановичу её недобро сузившиеся глаза.

«Чего это я ляпнул-то?» — почувствовав неладное, смутился Фёдор Иванович. — Вон как она меня глазами полоснула! Как серпом по... горлу... Вот повернётся сейчас — и уйдёт!»

— Я, собственно, косу ищу, — торопливо, заискивающим тоном, чтобы сгладить возникшее вдруг отчуждение, начал объясняться Фёдор Иванович. — Хотел, понимаете, траву на участке скосить, а своей косы у меня нет. Всю деревню прошёл — и не нашёл... Вымерли все, что ли?

— Выходные закончились, вот народ и разъехался... — пожав плечами, объяснила женщина. — А косу я вам дам. Только... косить-то умеете? — кольнула она Фёдора Ивановича насмешливым взглядом: дескать, вот тебе — и за «таперича», и за «давеча»!

— Ну... косил когда-то... — окончательно смешался Фёдор Иванович, а про себя подумал с осуждением: «Чего врёшь-то?! Да ты сроду косы в руках не держал!»

И опять на короткое мгновение вдруг сверкнуло из карих женских глаз что-то до боли знакомое, когда-то однажды — давным-давно! — виденное, но безвозвратно утраченное. Мелькнуло — и исчезло, вновь оставив в груди Фёдора Ивановича звенящую пустоту...

«Да что это со мной сегодня? — уже не на шутку встревожился он. — Второй раз уже... Откуда это?»

— Да вы заходите во двор; чего на улице-то, под дождём, стоять, — смилостивилась женщина. — Идите, посидите на крылечке, пока я в сарай за косой схожу.

Она пошла к дому, но посредине двора остановилась и обернулась к замешкавшемуся у калитки Фёдору Ивановичу.

— Вас, простите, как звать-величать? А то как-то неловко получается: говорим, говорим, а познакомиться забыли...

И она добродушно рассмеялась.

«Ну, кажется, пронесло!» — с облегчением подумал Фёдор Иванович и, галантно поклонившись, представился по имени-отчеству.

«Ты б ещё каблуками щёлкнул!» — обругал он себя, представив, каким нелепым выглядит со стороны этот поклон: стоит небритый мужик в старой рыбацкой куртке и спущенных под колени, как ботфорты у мушкетёра, сапогах-болотниках и чуть ли не ножками расшаркивается перед дамой в замызганной «болонье». Цирк!

— А меня Антониной зовут; можно просто Тоня, — представилась женщина.

И снова ёкнуло в груди у Фёдора Ивановича.

«Тоня... Тоня... Антонина... Нет, не помню... Какая Тоня?» — подумал Фёдор Иванович, пытаясь усилием воли унять неожиданно участившееся сердцебиение.

Антонина обтёрла о фартук мокрую от дождя ладонь и протянула её Фёдору Ивановичу.

— А по батюшке? — осторожно пожимая холодные пальцы, спросил он.

— Да ни к чему по батюшке, — Антонина беспечно отмахнулась. — У нас здесь по батюшке как-то не принято.

Она вдруг рассмеялась:

— Вот по матушке у нас — это да! По матушке-то у нас могут! Так, бывает, приложат, что...

— Кто? — машинально насупил брови Фёдор Иванович. Прослужив четверть века в армии, он, как ни странно, терпеть не мог матерщины, и потому всегда безжалостно пресекал её, от кого бы она ни исходила; если от подчинённых, то наказанием, а если от равных или старших по званию офицеров — то подчёркнуто холодным взглядом. И, надо признать, это действовало почти на всех без исключения, причём весьма эффективно. Кстати, и потом, на «гражданке» — тоже.

Антонина снова махнула рукой:

— Да нет! Не со зла, по матушке-то, а так, в разговоре... Да вы не думайте, у нас на это никто всерьёз и не обижается. Мы тут мирно живём, не ссоримся; нам ссориться нельзя...

Она хотела добавить к сказанному что-то ещё, но, видно, отчего-то передумала; засуетилась вдруг:

— Что ж это я вас на улице-то держу, Фёдор Иванович? Входите, входите на крыльцо! А косу я сейчас принесу. Коса у меня хорошая — почти новая, и наточена хорошо; Степан Матвееч наточил на днях. Как бритва!..

Фёдор Иванович тщательно вытер о мокрую траву подошвы сапог и поднялся на крыльцо, под навес, покрытый почерневшей от дождей дранкой. Антонина тем временем скрылась в тёмном проёме распахнутой настежь двери сарая и спустя полминуты вышла из него, неся в руке обещанную косу.

— Вот вам и инструмент! — весело сказала она и прислонила косу к мокрой от дождя стене дома, лезвием вверх. — Пользуйтесь на здоровье!

— Спасибо! — искренне поблагодарил Фёдор Иванович. — Теперь я с такой косой — кум королю...

— ...и сват министру, — подхватила поговорку Антонина.

Оба рассмеялись.

Фёдору Ивановичу отчего-то очень не хотелось уходить, хотя поводов задерживаться здесь у него больше не было. Антонина будто почувствовав его замешательство.

— Хотите молока? — спросила она и, не дожидаясь ответа, пошла в сени. — У моей коровы хорошее молоко; попробуете — ещё попросите!

«А ведь она ещё — о-го-го! — глядя вслед Антонине, вдруг подумал Фёдор Иванович. — Во всяком случае, по возрасту никак уж не старше меня. А может быть, и младше...»

Почувствовав, как застучал вдруг в висках, тут же резко одёрнул себя: «Ты чего это, а? Ты чего? Серебро — в бороду, а бес — в ребро?»

— Вот и молоко, прямо из холодильника!

Антонина вышла на крыльцо, неся в руке большую фарфоровую кружку с нарисованными на ней сиреневыми цветочками. Кружка была наполнена до самых краёв, и Фёдор Иванович, боясь расплескать содержимое, бережно и даже с каким-то благоговением принял её обеими руками.

Он долго, зажмурив от удовольствия глаза, цедил ледяное — аж зубы заломило! — молоко. А в голову назойливо лезли чумные мысли:

«Интересно, а муж у неё есть? И если есть, то где он? А дети? А может быть, она не замужем?»

И снова оборвал себя:

«Ты что, совсем сбрендил? Страх потерял? Или совесть? К тебе, как к человеку, а ты...»

Наконец, он допил молоко и, прежде чем отдать опустевшую кружку Антонине, дважды — от носа вниз, к подбородку — вытер ладонью замёрзшие губы. И так же, как при знакомстве, галантно поклонился.

— Ну, спасибо этому дому — пойдём к другому! — шутилой половицей поблагодарил он Антонину и поднял на неё глаза.

И осёкся...

Антонина смотрела на него как-то странно — исподлобья, настороженно и то ли недобро, то ли оценивающе прищурившись.

«Вот те на! Я что, опять что-нибудь не то брякнул? — несприятно удивился Фёдор Иванович. И вдруг разозлился — то ли на Антонину, то ли на себя самого: — Да что ж это за день-то сегодня такой! Всё мнится что-то непонятное, кажется что-то... С катушек съезжаю понемногу, что ли? Так вроде бы не время ещё...»

— Может, ещё молочка налить? — спросила Антонина, напряжённо глядя Фёдору Ивановичу прямо в глаза.

— Да нет, спасибо; я вдоволь напился. Как-нибудь в следующий раз ...

И он широко улыбнулся, стараясь сгладить непонятно откуда появившийся в глазах Антонины холодок.

— В следующий раз? — думая о чём-то своём, машинально спросила Антонина. — Это когда же?

Фёдор Иванович окончательно растерялся.

— Ну... когда косу принесу. После того, как участок выкошу. Не сама же она к вам вернётся, правда ведь? — снова попытался пошутить он.

Антонина посмотрела на него с непонятным подозрением и едва заметно кивнула.

— Что ж, до встречи... — сказала она, круто повернулась и шагнула в сени.

«Аудиенция окончена, сударь! Пшёл вон!» — обескураженный таким поворотом событий, усмехнулся Фёдор Иванович. Он пожал плечами и пошёл прочь со двора.

Чапа, терпеливо дожидавшийся хозяина по ту сторону забора, поднялся с густой мокрой травы, отряхнулся и потрусил рядом с ним. Чувствуя настроение Фёдора Ивановича, он помалкивал, лишь время от времени бросая на хозяина настороженные взгляды, словно хотел спросить: не случилось ли чего, хозяин? Не обидел ли тебя кто? Ты, дескать, только скажи...

— Всё нормально, Чапа, — Фёдор Иванович на ходу потрепал могучего пса по высокой холке, одновременно и успокаивая, и благодаря его за молчаливое участие. — Просто... не поймёшь, что у них на уме, у баб этих. И в душе — тоже. И в сердце... Я, Чапушка, женщин никогда не понимал, а уж теперь, наверное, и подавно не пойму... Так что давай-ка, брат, плюнем на всё и пойдём траву косить, пока косу не отобрали. Да и обедать нам с тобой давно пора. Ты как на это предложение смотришь? А, дружок?

— Гав! — облизнувшись, согласился пёс.

И, обогнав Фёдора Ивановича, трусцой побежал по направлению к вагончику.

Участок свой Фёдор Иванович, кое-как приновившись к малознакомому сельхозинвентарю, обкосил уже к вечеру. Он бы и быстрее управился, если бы во время работы не застыл вдруг, как изваяние, и не стоял бы так, подолгу уставившись в одну точку.

Ну, никак не шла у него из головы Антонина — не шла, и всё! Даже несмотря на её более чем прохладное прощание с ним. А может, именно поэтому...

И то непонятное, что не единожды произошло сегодня с Фёдором Ивановичем во время встречи с этой, показавшейся ему поначалу такой простой и бесхитростной, женщиной, тоже тревожило его, сильно тревожило. Он терпеть не мог неожиданных, нелепых и логически необъяснимых ситуаций, по собственному горькому опыту зная, чем такие ситуации иногда могут закончиться...

Было с Фёдором Ивановичем такое, было...

Он тогда должен был принять командование эскадрильей истребителей МИГ-27, сменив на этой должности Лёву Зайцева, своего друга и однокашника по лётному училищу. Лёву же — лётчика, по всеобщему и единодушному признанию, экстракласса — переводили в штаб дивизии, где он должен был возглавить отдел по лётной подготовке. И все в полку понимали, что выбор командованием сделан правильно...

Времена тогда, в конце восьмидесятых, для авиации — как, впрочем, и для всей армии, и для страны в целом — наступили тяжёлые: топлива вечно не хватало, а то и вовсе не было, и самолёты большей частью не бороздили, как им положено, «голубой океан», а месяцами простаивали в ангарах и по периметру аэродрома. Лётчики, отлучённые от неба, постепенно теряли навыки реального пилотирования, которые — по определению — никакими тренажёрами в полной мере заменить невозможно. Да ведь и самолёт — не велосипед, чтобы такие навыки после долгого перерыва можно было бы достаточно быстро восстановить. Вот и по этой, и по другим причинам складывались порой в воздухе разные нештатные ситуации, которые так не любил Фёдор Иванович. Да и кто их любит-то?

Так случилось и в тот промозглый осенний день. День, едва не ставший последним в его жизни...

Не один месяц потом разбирались многочисленные комиссии в причинах, которые привели к тому, что самолёт Лёвы Зайцева при приземлении вдруг стало уводить в сторону, и он буквально выдавил с посадочной полосы садившуюся рядом с ним машину Фёдора Ивановича...

Не одна — ох, не одна! — голова, фигурально выражаясь, полетела за время тех разбирательств с увенчанных погонами плеч! Только кому от этого легче-то?

Больше же всего — если, конечно, не считать самого Лёвы — в результате той катастрофы пострадала голова Фёдора Ивановича, и не в фигуральном смысле, а в самом что ни на есть прямом...

Долго, очень долго не только близкие и сослуживцы, но и сам Фёдор Иванович привыкал к своему новому лицу, каким-то чудом слепленному волшебниками в белых халатах из того бесформенного кровавого месива, в которое превратилось то, что было его настоящим лицом. Ибо всё, что было на этом, новом, его лице — нос, губы, подбородок — было чужим и мало похожим на то, что при рождении дала ему природа. И только сами глаза остались прежними — голубыми, как весеннее небо, в котором Фёдор Иванович так любил летать...

Правда, летать ему больше не пришлось: медицинская комиссия свой вердикт вынесла справедливо и на полном законном основании. И претензий к врачам, навсегда и безоговорочно отстранившим его от полётов, у Фёдора Ивановича не было: он и сам чувствовал, что — всё, отлетелась ясный сокол...

И стал Фёдор Иванович начальником штаба полка; в этой должности он службу и закончил...

Вот потому и не любил он всяких неясных ситуаций, в чём бы они ни выражались и в связи с чем бы ни возникали; вот потому и старался в каждом таком случае разобраться по возможности быстро, скрупулёзно и до конца.

Лёва Зайцев тогда не разобрался — «не учёл при подготовке лётного задания недостаточную для по-

лётот в сложных метеорологических условиях слётанность экипажей эскадрильи», как было сказано в заключении комиссии. И нет больше Лёвы...

К вечеру как-то совершенно незаметно дождь закончился: шёл себе, шёл потихоньку — и вдруг его не стало. А незадолго до заката из-за расступившихся над горизонтом туч выглянуло и долгожданное солнышко.

— Ну, наконец-то! — подставляя лицо заходящему солнцу, улыбнулся Фёдор Иванович. — Слава богу, дождались! Слышишь, Чапушка? Дождь кончился!

— Гав! — ответил Чапа и вильнул хвостом.

Было уже темно, когда Фёдор Иванович, поужинав и накормив Чапу, вышел из вагончика и присел на вкопанную напротив него скамейку, чтобы выкурить сигарету перед сном.

Погода, судя по всему, налаживалась, и он радовался этому, как ребёнок. Впервые за последние дни на небе появилась луна, и на фоне россыпей далёких и безымянных звёзд необычайно чётко, словно отмытые долгими дождями от многовековой пыли, смотрелись знакомые с детства созвездия.

Тишина вокруг стояла необыкновенная; казалось, что такой тишины он доселе не слышал нигде и никогда в жизни.

— Ну, завтра — на рыбалку, — с наслаждением затягиваясь дымом, сказал сам себе Фёдор Иванович. — Вот и дождались...

Но всецело отдаться приятным размышлениям о предстоящей рыбалке ему никак не удавалось: надоедливо и неотступно зудели в голове Фёдора Ивановича тревожные, вызывающие смутное беспокойство мысли. Но, как он ни старался, он не мог ни определить истоков этого беспокойства, ни объяснить тех чувств, которые, неожиданно возникшая, не раз тревожили его в течение прошедшего дня...

И единственным, в чём у него не возникало сомнений, было то, что это его смятение каким-то таинственным образом связано с Антониной.

Тоня... Антонина... Нет, не вспомнить ему женщины с таким именем, ни за что не вспомнить! Хотя... Стоп! Фёдор Иванович даже рассмеялся и помотал головой. Ну, надо же, что вспомнил! Ай да память: странная штука — вон что сохранила!

Была, была в его жизни Тоня — Тонька Смирнова, Тошка-Антошка — «пойдём-копать-картошку», весёлая шепутная девчонка, с которой он проучился девять лет в одном классе. Ох, и девчонка была! Ни одна игра, ни одно рискованное мальчишеское предприятие без неё не обходилось, будь то в школе или во дворе дома, в котором они жили по соседству. Куда они с пацанами — хоть блиндажи старые в лесу раскапывать, хоть с крутого волжского берега на саянах кататься, — туда и Тошка. Одним словом, не девчонка, а разбойник в платье, сорвиголоу; помнит-

ся, даже в шестом классе она ещё с содранными колёнками бегала.

А потом... Ах, Тонька, Тошка-Антошка!

Фёдор Иванович грустно улыбнулся и снова полез в карман за сигаретой...

Потом выросла Тонька, и в девятом классе влюбился в неё Фёдор до беспамятства. Ну, и Тонька в него — тоже. Знакомиться им, присматриваться друг к другу никакой необходимости не было: чего уж тут присматриваться, если целыми днями вместе — и в школе, и во дворе.

Почти полгода они провели вместе, не стыдясь своих чувств друг перед другом и не особенно скрывая их от окружающих. В ответ на шуточки типа «жених и невеста» оба только загадочно улыбались, а на доходящие до них время от времени сплетни старались просто не обращать внимания. Правда, Фёдору пришлось пару раз помахать кулаками, отстаивая Антошкину честь, и после этого сплетни вообще прекратились...

Вот только... Вот только не было у них ничего такого — в смысле серьёзного... Ну, обнимались, сидя на скамейке в сквере возле дома, и целовались в подъезде, конечно; даже серьёзные планы на будущую семейную жизнь строили, ибо твёрдо верили в бесконечность своей любви и в то, что всё ещё впереди. Но дальше этого заходить себе не позволяли...

А потом всё кончилось, потому что Тониного отца, работавшего у них в райцентре начальником милиции, перевели в Казахстан. Перевели с таким повышением, от которого он отказаться не смог.

Весь десятый класс Фёдор и Тоня переписывались, каждую неделю отправляя и получая по письму, а то и по два. Потом, сразу после окончания школы, Фёдор поступил в лётное училище, а Тоня — там, в Казахстане — в мединститут... Новые друзья, новые интересы... Писать друг другу они стали всё реже и реже: то времени на это из-за учёбы не хватало, то ещё почему-либо... А потом переписка их и вовсе заглохла, как бы сама по себе, без объяснения причин той или другой стороной. И почти без сожалений.

Тем вся их любовь и закончилась...

— Эх, Тошка-Антошка! Где-то ты теперь?.. — улыбнулся Фёдор Иванович, глядя в усыпанное звёздами небо и пытаясь вызвать из памяти образ первой своей любви. Но облик её был смутен и нечёток; стёрло его время, растопило солнцами прошедших с того времени лет, запорошило жгучими метелями и мягкими снегами трёх десятков пережитых им с тех давних пор зим. Только длинные светлые Тошкины косы виделись ему в золотых звёздных россыпях, да и то — как-то расплывчато, неясно, рассыпающимися в бездонной пустоте холодного чёрного неба...

Наутро Фёдор Иванович насухо обтёр старым полотенцем косу и пошёл к Антонине.

«Вот приду, отдам косу, поблагодарю — и на рыбалку! — думал он, бодро шагая по пыльной деревенской улице и шуря глаза на играющие на поверхности озера солнечные блики. — И голову больше ломать не буду над всеми этими ощущениями дурацкими, что вчера мнились... Мало ли что пригрезится...»

Антонину Фёдор Иванович увидел издалека, ещё из-за поворота улицы; она стояла на крыльце своего дома — там, где вчера угощала его молоком, — и вытряхивала пёстрый половик. Увидев Фёдора Ивановича, Антонина повернулась и ушла в дом.

— Видишь, Чапушка, даже подождать не захотела, — пожаловался псу Фёдор Иванович, вдруг почему-то обидевшись на Антонину. — Могла бы и подождать, пока подойду... И чего такого я ей вчера сказал?

Он вспомнил поджатые губы и странный взгляд Антонины, замкнутое выражение её лица и ту холодность, с которой она вчера с ним прощалась.

— У-ум, — то ли выражая свою солидарность с хозяином, то ли возражая ему, буркнул Чапа и вяло махнул хвостом.

Фёдор Иванович подозрительно покосился на Чапу.

— Вот я и говорю: странная женщина... — пробормотал он, пожал плечами и заставил себя ускорить шаг, чтобы поскорее покончить с этим делом и отправиться на долгожданную рыбалку.

Он долго вытирал сапоги о расстеленный перед нижней ступенькой крыльца домотканый половик, стараясь при этом производить как можно больше шума, чтобы обозначить своё присутствие. Но шума не получалось: какой может быть шум от вытирания о толстый половик резиновых сапог? Смех, да и только...

Фёдор Иванович кашлянул раз, другой. Наконец, краем глаза увидел, как чуть-чуть качнулась в ближнем к крыльцу окне белая занавеска.

«Ведь видела же, видела, что я иду! И чего выжидаешь? — нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, начал злиться Фёдор Иванович. — Вот поставлю сейчас косу к стенке, как она давеча, и уйду! Весь клёв с этими бабами пропустишь...»

«Давеча», «таперича», — усмехнулся он, вспомнив свой вчерашний промах: вот ведь словечки привязались! Раньше он таких слов в разговоре не употреблял...

В сенях скрипнула дверь, и на пороге дома появилась Антонина, одетая по-домашнему — в цветастом халате и тапочках, — и только голова её, как и вчера, была плотно обвязана клетчатым платком.

«Наверно, корову доить собралась, потому и волосы платком покрыла, — мелькнуло в голове Фёдора Ивановича. — Опять я не вовремя, что ли? Ну, да мне-то какое дело! Отдам косу — и уйду...»

— Здравсьте! — буркнул он, отводя взгляд от лица Антонины. — Я тут вам косу...

— Здравствуй, Фёдор, — не дав ему договорить, перебила она. — Здравствуй. Заходи в дом... — И, не сказав более ни слова, скрылась в сенях.

«О как! — удивлённо вскинул брови Фёдор Иванович. — Когда это мы с ней на «ты» перешли? Что-то не припомню...»

Противиться приглашению он, однако, не стал; поднялся по чисто вымытым ступенькам, стащил с ног сапоги и, как был в толстых шерстяных носках, так и переступил порог дома.

Антонина сидела за небольшим кухонным столом возле окна и смотрела на кур, копошившихся в начинающей желтеть траве. Не поворачивая к Фёдору Ивановичу головы, кивком указала на стул напротив себя.

— Садись...

— Спасибо, — ответил Фёдор Иванович, присаживаясь и ещё не понимая толком, как себя вести и что вообще всё происходящее может означать.

Антонина продолжала смотреть в окно, и Фёдор Иванович, не собираясь первым начинать разговор, — да и откуда ему знать, зачем она его пригласила? — принялся исподлобья разглядывать Антонину.

И чем дольше и внимательнее всматривался он в осунувшееся и бледное, по сравнению со вчерашним, лицо женщины, тем отчего-то всё сильнее и сильнее начинала пульсировать жилка на его виске, тем острее становилась заполняющая — совсем, как вчера! — его грудь звенящая пустота, тем невероятнее казалось то, что сейчас с ним происходило...

Позже Фёдор Иванович не мог вспомнить, сколько времени — миг или целая вечность — прошло до того момента, когда Антонина, наконец, повернула к нему голову и в упор взглянула в его глаза своими карими — карими, карими! — глазами. А потом, улыбнувшись, медленно стащила повязанный на голову платок, и из-под платка дивным водопадом обрушились на её плечи длинные русые волосы...

— Тоня? — севшим от волнения голосом просипел Фёдор Иванович, отчаянно боясь спугнуть сказочное видение, ставшее воплощением его вчерашних ночных воспоминаний. — Тошка?! Ты?!!

— Ну, вот! Узнал... — тихонько и сквозь заблестевшие в глазах слёзы засмеялась Антонина.

Фёдор Иванович схватил её за руку, словно боялся, что Антонина сейчас исчезнет, растворится в воздухе, растает, — как растворялось, таяло, исчезало из его сознания то неуловимое, что он так неожиданно ощутил в себе вчера, при первой встрече с ней.

— Господи!.. — выдохнул из себя пустоту Фёдор Иванович. — Господи! Разве так бывает?!

— Бывает, как видишь, Федя, — не отнимая руки, улыбнулась Антонина. — Ещё как бывает...

— Да как же так? — Фёдор Иванович ещё крепче сжал её руку. — Как же так, Тошка? Как это я сразу-то тебя не узнал, ещё вчера?

Горькая усмешка тронула губы Антонины.

— Знать, изменилась я сильно, Федя, постарела... Да и лет прошло — считать боязно...

Фёдор Иванович нетерпеливо мотнул головой:

— Да причём здесь это, Тошка! Годы, годы... Да Бог с ними, с годами! Нет, скажи, разве так бывает?

— Бывает, как видишь, — улыбнулась Антонина.

— Эх, Тошка, а я ведь только вчера о тебе вспоминал! — вспомнил он вдруг. — Поверишь? Столько лет не вспоминал, а вчера вспомнил...

— Верю, — кивнула Антонина, и Фёдор Иванович понял: действительно, верит.

— А ты? Ты обо мне вспоминала? — почему-то ревниво спросил он, вглядываясь во вдруг ставшие бесконечно дорогими карие глаза.

Антонина улыбнулась — совсем чуть-чуть, краешками губ; только просохшие, было, глаза блеснули то ли новой слезинкой, то ли на мгновение вспыхнувшей искоркой.

— Вспоминать — не вспоминала, а помнить — помнила, — непонятно ответила она. Грустно посмотрела на Фёдора Ивановича, одним взглядом окинув его лицо, и пояснила: — Сердцем помнила, хотя умом забыть хотела. И забыла. Почти...

И только в этот момент до потрясённого сознания Фёдора Ивановича дошло, что Антонина узнала его, несмотря на то, что у него другое лицо. Другое, а совсем не то, которое она видела когда-то и которое только и могла запомнить!

Антонина, будто услышав его мысли, тихонько засмеялась:

— Помнишь, как ты вчера ладошкой утирался, молока попив? Вот так... — Антонина повторила его жест — от носа вниз, к подбородку. — Меня будто током насквозь пробило, когда я это увидела: только ты в детстве так делал, больше никто... А что внешность у тебя другая...так ведь и ты меня тоже не узнал, сразу-то; только сейчас и признал, да и то с трудом. Что, не так, Федя?

Фёдор Иванович вынужденно кивнул, опустив от смущения глаза. Ну, как сказать женщине, что годы, и вправду, сильно изменили её — так сильно, что для этого и никакой пластической операции не понадобилось.

Антонина мягко высвободила свою руку из руки Фёдора Ивановича и шутливо потрепала его по сидящей шевелюре.

— Да ладно тебе, Федя! — пряча грустинку в глазах, улыбнулась она. — Не горюй! Годы и внешность — ерунда, если сердце помнит...

Фёдор Иванович снова кивнул, а про себя подумал: «А ведь и у меня, видно, сердце тоже памятьным оказалось, если я вчера ночью вдруг ни с того, ни с сего её, Тошку, вспомнил. Не вспоминал, не вспоминал, а тут — раз! — и вспомнил. Как же так? С чего бы это?»

Они ещё долго разговаривали, сидя за столом; вспоминали детство, родной дом, школу, учителей...

Потом пили чай с яблочным вареньем и снова говорили, говорили, говорили...

Говорили обо всём, кроме одного — того, чего по молчаливому согласию решили не трогать, не тревожить — своей юношеской любви. Да и нужно ли было говорить об этом...

Или оба они просто боялись порвать неловким словом ту тоненькую ниточку, которая, оказывается, связывала их все эти годы?

Фёдор Иванович, как сумел коротко, рассказал Антонине о себе. Рассказал почти всё — кроме того, конечно, что могло невзначай ранить её памятливое сердце... Поведал он и о своих невесёлых семейных делах, и о том, что привело его в эти, далёкие от его дома, края.

Антонина выслушала его молча, не перебивая и лишь изредка то с удивлением, то с сочувствием кивая головой. Когда он окончил свой рассказ, она положила свою тёплую руку на его запястье и тихонько пожала его.

— Всё, что ни делается, делается к лучшему, Федя, — сказала она. — Я это точно знаю: только к лучшему! Как бы человек в этом ни сомневался, а только так и бывает. И примеров тому я тебе, сколько хочешь, могу привести — хоть сто, хоть тысячу! Только ты уж мне на слово поверь, Фёдор: я и вправду это знаю...

Она вдруг рассмеялась.

— Вот, например — мы с тобой встретились! Это что, не к лучшему разве?

Фёдор Иванович осторожно кивнул и как-то неуверенно улыбнулся в ответ. И эта его неуверенность от внимательного взгляда Антонины не ускользнула.

— Скажешь, просто мир тесен, потому и встретились? — спросила она. — Не знаю, не знаю... Только я всё равно думаю, что даже в этом тесном мире просто так люди через столько лет не встречаются: не бывает такого, Федя...

Она помолчала немного, глядя в окно и собираясь с мыслями; потом повернулась к Фёдору Ивановичу.

— Ты мне свою жизнь рассказал, теперь послушай про мою...

И узнал Фёдор Иванович, что Антонина — когда-то его Тошка-Антошка, сорвиголова и заводила, — на третьем курсе медицинского института, в котором весьма успешно училась, скоропалительно выскочила замуж за здешнего механизатора, приехавшего в Казахстан на уборку урожая, чтобы, как она выразилась, «зашибить денег», да и уехала с ним сюда, в деревню, против воли родителей бросив родной дом и институт. Вскоре одна за другой родились у них две дочери, которые теперь уже давно замужем, так что она, Антонина, вот уже почти десять лет, как стала бабушкой. Обе дочки живут в Питере, и хорошо живут, — Дай Бог каждому! А потом, после дочерей, она и сына родила: уж очень Сергей, муж,

сына хотел! Только вот увидеть его ему не довелось: когда она на седьмом месяце беременности была, утонул её Сергей в озере... Никто не видел, как это случилось, но врачи сказали, что он сначала умер от внезапной остановки сердца, а потом уж в воду упал, перевавшись через борт лодки. Может, наклонился в это время зачем-то над водой, а может, спиннинг в этот момент закидывал, и сердце от резкого движения остановилось, — кто знает? В общем, сына она родила уже вдовой...

— И где он сейчас? — спросил про сына Фёдор Иванович. — Тоже в Питере?

— Федя-то? — зачем-то переспросила Антонина, впервые назвав сына по имени и при этом почему-то лукаво взглянув на Фёдора Ивановича. — Нет, Федя малость поближе, чем девчонки мои, — в Пскове. Служил там в армии, там и после службы остался...

У Фёдора Ивановича вдруг отчего-то зашекетало в горле. Он сделал из кружки глоток остывшего чая и спросил:

— И как он там, тёзка мой? Что делает, чем занимается?

— Шоферит; чем ему больше заниматься-то, если он шофёр? Не бизнесом же! — рассмеялась Антонина. — Он уж и женился там, — правда, неофициально пока и по-тихому, без моего ведома. Вот стервец! Ну, да я не в обиде: Федька — парень с головой, не пропадёт; да и много ли нынешние молодые родителей-то спрашивают? Твоя-то Маринка вас с твоей Галиной — Царствие ей Небесное! — Антонина перекрестилась на висевшие в углу иконы, — много спрашивала, когда на Камчатку-то свою уезжала? То-то!

— Ну-ну! — неопределённо буркнул Фёдор Иванович, отводя взгляд в сторону. — А ещё чем Фёдор твой занимается?

— Учиться поступил — в политехнический, на заочное отделение, — ответила Антонина. — Первый курс в этом году уже закончил...

«Та-ак!» — подумал про себя Фёдор Иванович, отводя в сторону смеющийся взгляд. Он, было, хотел попросить Антонину показать ему фотографию сына, но та словно угадала его желание:

— Я тебе, Федя, альбом сейчас покажу, — сказала она, поднимаясь из-за стола. — Посмотришь на деток моих, да и на внучек заодно...

Антонина ушла в горницу и продолжала говорить уже оттуда:

— Федя должен был в июле в отпуск приехать, вместе с женой... или как это там у них теперь называется... да не приехал...

— Что так? — заранее угадывая ответ, спросил Фёдор Иванович.

— Да ну его! В аварию какую-то попал. Сам-то, как пишет, ничего, а вот машину чью-то чужую раздолбал...

«И ещё как!» — чуть не вырвалось у Фёдора Ивановича.

— Ну, и что? — спросил он, прикуривая сигарету трясущимися от едва сдерживаемого смеха руками. Спыхватился: — Ничего, что я закурил, Тонь?

— Да, кури, кури... Форточку только открой, а лучше — окно, — откликнулась из горницы Антонина. — А что не приехал-то, спрашиваешь? Так машину тому мужику, хозяину машины то есть, помогал ремонтировать.

— От... от... отремонтировал? — не сдержавшись, расхохотался Фёдор Иванович.

Антонина вышла из горницы с альбомом в руках и уставилась на него непонимающими глазами.

— Отремонтировал... вроде бы... — сказала она. — А чего тут смешного-то?

Фёдор Иванович встал со своего стула, выщелкнул только что прикуренную сигарету в открытое окно и шагнул к Антонине. Взял из её рук тяжёлый альбом, положил его на стол и, опустив свои крупные руки на такие же, как и тридцать лет назад, худенькие плечи Антонины, близко-близко наклонился к её удивлённому лицу.

Он долго и улыбочиво смотрел в растерянные, немного испуганные, чего-то ждущие карие глаза женщины, словно пытаясь проникнуть в самую потаённую их глубину и найти там ответ — ответ на единственный и только им двоим и без слов понятный вопрос. Ответ, от которого, возможно, будет зависеть очень и очень многое...

Увидев, как в глазах Антонины затеплился знакомый ему с детства озорной огонёк, обнял её крепко-крепко и прошептал прямо в маленькое порозовевшее ухо:

— Тесен, говоришь, мир?

И, когда Антонина, прижавшись лицом к его груди, слабо кивнула, Фёдор Иванович рассмеялся:

— Ты даже представить себе не можешь, как!..

Отношений своих Фёдор Иванович и Антонина не афишировали, но ни перед кем особенно и не скрывали. Да и перед кем было их скрывать в почти начисто опустевшей к середине сентября деревне? Дачный сезон закончился, и дачники ещё в конце августа, прибрав участки и закрыв окна домов и домиков ставнями, поразъехались по родным городам и весям, некоторые — до ближайших выходных, а большинство — до следующего лета.

В деревне остались только свои, как называла местных жителей Антонина, да сам Фёдор Иванович, а всего — семь человек: Степан Матвеевич с Еленой Афанасьевной, Марья Захаровна с внуком Витькой и его рыжеволосой женой Веркой, Антонина и Фёдор Иванович. По выходным, правда, ещё приезжал из райцентра Андрей Дикарёв — порыбачить и просто отдохнуть от семейных неурядиц, неоступно преследовавших его в последние годы; об этом Фёдору Ивановичу поведала Антонина.

— Мы Андрея-то за своего считаем, — рассказывала она. — Из дачников он здесь чуть ли не самый

первый построился, лет двадцать назад... Да ну — двадцать! — она махнула рукой. — Больше! Он ещё с Сергеем моим рыбачил; значит, лет двадцать пять назад. Или чуть поменьше... Он сюда до белых мух ездить будет, да и на зимнюю рыбалку потом приезжает почти каждые выходные. Мужик он хороший, работающий, хотя, бывает, и выпивает иногда. И не отказывает никогда, если куда поехать нужно или из Медянска что привезти, или просто помочь в чём-нибудь...

Антонина умолкла, глядя на озеро. А Фёдор Иванович подумал, что, наверное, вспомнила она сейчас своего Сергея, которого у неё это озеро отняло, и всё то, что когда-то связывало её с мужем — любовь, рождение дочерей, светлые и ненастные дни, прожитые ими в доме, возле которого они сейчас сидели на скамейке, глядя на желтеющие на ближнем к берегу острове берёзы. Может быть, скамейку эту ещё Сергей сколотил...

— Знаешь, Фёдор, а ведь Андрюха-то Дикарёв наш однажды остров этот от басурманов отстоял, — сказала Антонина.

— Как это — отстоял? — не понял Фёдор Иванович. — От каких басурманов?

— У-у! — Антонина покачала головой. — Тут такая история была!..

И она поведала Фёдору Ивановичу о том, как несколько лет назад какие-то московские дельцы, облюбовав этот остров, решили его купить, чтобы построить здесь то ли пансионат, то ли дом отдыха. Им, дельцам этим («За взятки, как люди говорят», — осторожно уточнила Антонина), тогда удалось уже и с администрацией — то ли с волостной, то ли с районной — все вопросы решить, и даже расчистку острова начать, не спрашивая на то согласия местных жителей.

— Вон, видишь, — Антонина кивнула на правую оконечность острова, — старые брёвна лежат? Это они берёзы посреди острова спиливали — место под строительство расчищали. Хорошо хоть, что не много спилить успели: была б там сейчас вместо красоты-то этой голая лысина...

Фёдор Иванович даже вздрогнул, представив нарисованную Антониной картину. Неужели нашлись люди, у которых рука на такое поднялась?! Неужели такое возможно, тем более — здесь, в Национальном парке?

Он спросил об этом Антонину. Та неопределённо пожала плечами и тихо, словно кто-то мог их подслушать, сказала:

— Деньги всё, Федя, денежки... Взятку, наверное, кому-то дали хорошую, вот и получили разрешение на святотатство это. А может, лапа мохнатая у кого-то была, если, нас не спрашивая, деревья валить стали. Кто их разберёт...

— Ну, и?

— Ну и ничего! Степан Матвеич с Витькой поплыли, было, туда на лодке, когда пилы-то на остро-

ве завизжали, а их оттуда — вежливо так! — выпроводили какие-то мордовороты в камуфляжах: валите, мол, отсюда, господа хорошие, подбру-поздорову, и чтобы ноги вашей на этом острове больше не было! Здесь, дескать, отныне частная собственность...

— Ну, и? — нетерпеливо заёрзал по скамейке Фёдор Иванович. — Дальше-то что?

— Вот тебе и «ну и»! — рассмеялась Антонина. — Хорошо, что в тот день Андрей на дачу на свою приехал — хотя, как потом говорил, как раз в тот день и не собирался ехать: чего, говорит, тогда сюда сорвался, всё бросив, — сам не пойму. Приехал он, значит, постоял минут пять на берегу, посмотрел на это безобразие — и к Матвеичу! Ещё минуты через три — сама видела! — вышел от него, сел в свой «жигуль» и укатил. Я, грешным делом, подумала тогда: ну, наверно, Андрюха за водкой в Сокольское поехал — поминки по нашему острову справлять будет. Ещё и испугалась за него: выпьет, думаю, и попрётся на остров с этими, в камуфляжах, разбираться: он — мужик резкий, если что не по нему...

— И что, попрётся? — спросил Фёдор Иванович, думая о том, что сам он в такой ситуации уж точно не сдержался бы: это ж надо, на что замахнулись, сволочи!

— Да нет... Смотрю я — нет Андрея, не возвращается. Я — к Матвеичу в дом. А там... Афанасьевна стоит возле окна и слёзы платочком вытирает, на остров-то глядя, а дед Степан сидит на лавке и патроны в двустолку свою засовывает. На меня глаза поднял и говорит: «Не думал я, Тоня, что ещё когда-нибудь ружьё в руки возьму, но, видно придётся... А Бог меня простит: на правое дело иду...»

— Ах, даже так?! — изумился Фёдор Иванович, почувствовав, как у него мурашки по спине побежали, когда он представил себе нарисованную Антониной картину.

«Ну, мужик! Вот это мужик!» — восхищённо подумал он, неожиданно ощутив в себе такую гордость, будто это вовсе и не старик Степан Матвеевич, а он, Фёдор Иванович, решился на такое дело — объявить пришельцам войну.

«Нет, братцы, не всё ещё потеряно, пока такие люди на Руси есть! — подумал он, глядя на стройные берёзки, растущие на острове. — Шалишь, брат, шалишь!.. Хрен нас сломаешь, таких-то!»

— Так чем дело-то кончилось? Отстояли остров?

— А то ты не видишь! — рассмеялась Антонина. — Отстояли... Андрей-то, оказывается, прямо отсюда в область махнул, за двести километров. Как уж он умудрился к самому губернатору прорваться, он потом не рассказывал. А только уже к вечеру — часам, думаю, к восьми, — вернулся он, да не один: за ним две машины, — таких больших, чёрных, с флажками российскими на номерах — и ещё одна, с фугоном. И высыпали из того фургона омовцы с автоматами — человек пятнадцать, я думаю, — похватали все лодки, что у берега были, — и на остров!

— Вот это да! — хлопнул себя по коленям Фёдор Иванович. — Вот это да! Прямо боевик какой-то!.. И что?

— А что... Там, на острове, и мяукнуть не успели. А ещё через час лесорубов этих и тех, что в камуфляжах-то были, и след простыл. — Антонина улыбнулась и прислонилась головой к плечу Фёдора Ивановича. — И нет с тех пор. Хорошо бы, если б и не было больше никогда...

— Хорошо бы... — кивнул Фёдор Иванович.

Он обнял Антонину за плечи, прижал к себе и чмокнул в макушку. А про себя подумал: «И не будет больше. Никогда. Не пустим, пока живы!»

И почему-то не удивился этой мысли...

Возвращаясь на рассвете в свой вагончик, Фёдор Иванович остановился напротив стоящего почти у самой воды приземистого дома Степана Матвеевича. Дом, казалось, не стоял на земле, а как какой-то фантастический корабль-призрак, плыл в густом промозглом тумане. Фёдор Иванович подумал, что если он подойдёт сейчас к дому и слегка подтолкнуть его в сторону озера, то он, дом, плавно стронется с места и поплывёт по свинцовой водной глади, словно бесшумное судно на воздушной подушке.

Поплывёт куда-то далеко-далеко, и будет плыть так до тех пор, пока не поднимется над озером нежаркое осеннее солнце и не растопит этот туман, а вместе с туманом, как мираж, растает под солнечными лучами и дом с его обитателями, растворившись где-то там, в Вечности...

«Это надо же — с двустолкой против такой-то своры! — не переставал с восхищением думать о Степане Матвеевиче Фёдор Иванович. — И ведь пошёл бы, — как пить дать, пошёл бы! И правильно бы сделал; я бы тоже пошёл, будь я тогда здесь. Но меня здесь не было... А жаль!»

«Но сейчас-то ты здесь! — усмехнулся Фёдор Иванович. — Если бы сейчас такое случилось, ты бы что, на этот беспредел просто так, со стороны, смотрел? А, майор? Или ты только там, в Афгане, за пределами родной страны, голову готов был сложить, защищая её интересы? А здесь, стало быть, интересы эти пусть Андрюха Дикарёв со стариком Матвеевичем защищают — посредством матюгов и двустолки?» Он наклонился, сорвал уже пожухлый стебелёк какой-то высокой травы и, сунув его в рот, принялся остервенело жевать.

«Эх, мать вашу! — со злостью и невесть в чей адрес выругался Фёдор Иванович. — Хорошо хоть, что губернатор толковый попался — молодец, быстро порядок навёл! А другой на его место придёт, — не такой, как этот? Сумеет ли — да и захочет ли? — таким вот дельцам противостоять, или на откуп всё, что ему подвластно будет, им отдаст? И кто тогда тот же остров и всю эту красоту от разорения защищать будет? Опять Матвеич с Андреем?»

И вдруг, как молния, прожгла Фёдора Ивановича мысль, — вернее, не мысль, а простой и ясный, как дважды два, вопрос, спонтанно возникший перед ним за чередой предыдущих вопросов. Он даже остановился, будто с размаху стукнулся о невидимую преграду лбом.

«А ты-то на что, Фёдор? Ты-то за каким хреном землю здесь купил — только рыбку ловить да красотою здешними любоваться? А потом, налюбовавшись — домой, в Псков, в тёплую квартирку — до следующего лета? А здесь — хоть трава не расти; так, что ли?.. А Тоня? Как теперь с Тоней-то быть?..»

— Р-р-р-р-р-ав! — глухо рыкнул Чапа, внезапно остановившись и напряжённо глядя в сторону скрытого за густыми зарослями ивняка вагончика.

— Спокойно, дружок, спокойно, — Фёдор Иванович положил руку на лобастую голову пса; шерсть была влажной от густого тумана, и Фёдор Иванович подумал: «Опять всю ночь возле Антониного дома просидел, во дворе: ни за что на крыльцо, под крышу, не идёт, как ни зови. Во характер!»

— Пойдём, Чапа, пойдём! — сказал, наконец, Фёдор Иванович и, слегка придержав пса за ошейник, тихо добавил: — Только не трогай никого, понял? Не трогай!

На скамейке возле вагончика, покуривая самокрутку, сидел Степан Матвеевич.

«Лёгко на помине!» — удивился Фёдор Иванович. Надо же: только что думал о старике, а он уж — тут как тут! В такую-то рань — чего ради?

— Извини, Иваныч, за ранний визит, — вместо приветствия сказал Степан Матвеевич, разгоняя рукой сизый махорочный дым. — Я тут, понимаешь, в Медянск собрался съездить, на первом автобусе, да дай, думаю, к тебе по пути загляну: может, застану ещё, пока ты на рыбалку-то не ушёл... А от тебя уж и на автобус сразу...

«Ну-ну... — усмехнулся про себя Фёдор Иванович. — Врат-то ты, Матвейч, так за всю жизнь, видно, и не научился: «пока на рыбалку не ушёл...» Будто не знаешь, откуда я иду...»

— Здравствуй, Степан Матвеевич, — он пожал протянутую стариком руку и удивился крепости стариковских пальцев: «Ого! Силён дед! И хорошо, что силён, а не немощен: немощь ещё впереди, и лучше б до неё не доживать...»

— Ты, Фёдор Иваныч, не обессудь, но я по важному делу к тебе пришёл. Думаю, сам кумекаешь, по какому, — без обиняков начал Степан Матвеевич.

Фёдор Иванович кивнул головой и сел рядом со стариком.

— Ну, и славно! Вот и поговорим; пора уже поговорить-то, дабы языки поганые никто не распускал, — сказал Степан Матвеевич и затоптал окурок.

— Ты, мил человек, Антонину нашу не обижай. Мы ведь все тут, можно сказать, родня. Ну, или почти родня. И нам здесь ещё и дальше жить, и в глаза

друг дружке кажинный день смотреть, — сколь времени ещё Бог отпустит... — Он вполоборота повернул голову к Фёдору Ивановичу, строго глянул на него из-под лохматых бровей. — У неё судьба и так — не позавидуешь, чтоб её и дальше ломать... — начал, было, говорить Степан Матвеевич, но вдруг запнулся и замолчал, Потом задумчиво произнёс: — Хотя, конечно, с какой стороны посмотреть... — С какой стороны? — не понял Фёдор Иванович.

— А с такой! — Степан Матвеевич отчего-то насупился и сердито засопел. Потом, наклонив к Фёдору Ивановичу кудлатую седую голову, заговорил тихо и доверительно:

— С одной стороны, Антонина уж двадцать годков, как вдова; когда Сергей-то ейный утонул, ей ещё и тридцати не было... В самом соку молодуха была, а никого после Сергея-то к себе не допускала. Во как! И детей одна поднимала, кормила-поила да одевала; это что, думаешь, — просто, особенно в деревне-то?

Степан Матвеевич покачал головой и умолк, задумчиво глядя перед собой.

— А с другой стороны? — спросил Фёдор Иванович.

— С другой? — переспросил старик. — А с другой — то и есть, что подняла! И не одного, а троих! И без мужика...

И он снова строго посмотрел на Фёдора Ивановича.

— Вот я и говорю: не обижай Антонину, паря! Ты вот потешишься с ней и — фьють! — укачишь себе, откуда приехал. А она — как? Как она-то тут останется? И нам в глаза как смотреть будет?.. Мы-то, само собой, и поймём её, и не осудим: тоже ведь люди! А ей-то, Антонине, каково? Ты об этом подумал, а?

— Я её с собой увезу, — уверенно, как о давно решённом деле, сказал Фёдор Иванович. — У меня квартира в Пскове, и... один я... Я ведь, Степан Матвеевич, тоже вдовец...

Он вдруг запнулся на последнем слове и подумал: «А ведь я впервые после смерти Галины сам себя так назвал: раньше это слово мне и в голову не приходило! Вдовец... Слово-то какое страшное!»

— Ты... это... извини старика, если что не так брякнул, по глупости-то своей, — Степан Матвеевич смущённо кашлянул; вздохнул, покачал головой: — Что ж это за жизнь такая нонче, что вы с Антониной молодые такие ещё, а уже оба вдовы? Вот мы со старухой: всё живём, живём, и всё Господь никого из нас прибрать не торопится. Хотя, может, и пора бы уже... А вы — такие молодые, — и на тебе! А давно?

— Четвёртый год пошёл... — тихо ответил Фёдор Иванович.

И, более не дожидаясь расспросов старика, рассказал ему о себе. Просто почувствовал, поверил, что не из любопытства спрашивает его о самом сокровенном Степан Матвеевич, не потому, что делать

больше старому человеку нечего, как языком на лавочке ни свет, ни заря чесать да уму-разуму его, Фёдора Ивановича, тоже уже немолодого человека, учить... Чего уж теперь учить! Учёные уже: жизнь — школа ещё та!.. А потому расспрашивает его Степан Матвеевич, что взаправду и искренне переживает за Антонину, желает ей добра, — блюдет, прежде всего, её, а не свои интересы!

«Вон как они здесь живут! — белой завистью позавидовал Фёдор Иванович. — Вон как они друг за дружку беспокоятся и переживают! Или всё-таки за себя?»

И эта, последняя из пришедших в голову Фёдора Ивановича мыслей, показалась ему настолько мелкой, неуместной, поганенькой, — будто он на гостеприимно расстеленную перед ним добрыми людьми белую скатерть комок грязи бросил, — что он даже зубами скрипнул от злости на себя.

«А ты чего хотел? Чтобы люди везде жили, как в большом городе, где, бывает, годами — да что там годами — десятилетиями! — живёшь с человеком в одном подъезде, а не знаешь, как его зовут? И не узнаешь никогда, потому что тебе это просто неинтересно!.. Нет, брат! Здесь — другое...»

— А поедет? — спросил Степан Матвеевич.

— Кто? Антонина-то?

Фёдор Иванович, не зная, что ответить, пожал плечами: не было ещё у них с Тоней разговора на эту тему, не было. Это он, Фёдор, таким представлял их совместное будущее; это ему хотелось, чтобы было именно так, а не иначе. Только вот с самой Тоней он на эту тему пока не говорил: что-то сдерживало его, останавливало; рано ещё об этом говорить, рано, убеждал себя Фёдор Иванович; потом поговорим, попозже...

Степан Матвеевич, почувствовав его замешательство, вопроса своего повторять не стал.

— Ну, вы это и потом решите, — великодушно согласился он. — Это — ваше дело, вам его и решать... Сколько там времени-то, Иваныч? Я на автобус-то не опоздаю?

Фёдор Иванович посмотрел на часы.

— Да нет, до автобуса минут двадцать ещё, я думаю. Может, проводить? А, Степан Матвеевич?

— Не-е, ни к чему: я до остановки от своего дома за пятнадцать минут дохожу, а от тебя-то мне и ещё ближе... — Он, побряхтывая, поднялся со скамейки и кивнул: — Ну, бывай, Иваныч! Не прощаюсь: заходи к вечеру, коли захочешь; поговорим, чайку попьем... А может, и того...

И, подмигнув Фёдору Ивановичу, старик выразительно шёлкнул по горлу узловатым указательным пальцем.

И ещё долго, улыбаясь, смотрел Фёдор Иванович вслед своему раннему и неожиданному гостю, испытывая к нему чувство истинного уважения и благодарности за... за что? За откровенный, без ненужных впросов и никчёмных нравоучений, разговор? За ис-

кренную обеспокоенность старика судьбой Тони? Или за ту давнюю его попытку спасти от разорения остров, а с ним — и этот удивительный, неповторимый мир, в котором он прожил всю свою жизнь и из которого не собирался уходить никуда, — разве что в тот мир, который уготован потом, после земной жизни, каждому из живущих на земле людей?

Наконец, силуэт Степана Матвеевича растворился в последних клубах растекавшегося по земле тумана — там, на взгорке, возле придорожного ельника, — и вскоре со стороны Сокольского послышался характерный воющий звук подъезжающего к остановке «пазика»...

Время приближалось к полудню, когда Фёдор Иванович, с утра вырубив и выкорчевав с десяток больших кустов ивняка и изрядно от этого занятия утомившись, присел на скамейку перекурить. Дел на участке было ещё много, но то, что они — наконец-то! — стронулись с мёртвой точки, было очевидно.

«Успею ещё! — думал Фёдор Иванович, беспечно попыхивая сигаретой. — Куда мне торопиться? Никто нас с Чапой в Пскове не ждёт, никто скучать по нам не станет: кому мы там нужны-то теперь? Никому!...»

Он сунул окурок в пустую консервную банку, подвешенную вместо пепельницы на вбитый в столбик скамейки гвоздик, и вздохнул. А ведь действительно: кто и где его ждёт? Марина на своей Камчатке? Что же, может, и ждёт, но не сейчас же, не в этом году! Он, правда, после похорон Галины так и не съездил в гости к дочери, не повидал внуков; но ведь и поезд, как говорится, ещё не ушёл, успеет ещё съездить! К этому подготовиться надо: путь до Камчатки не близкий, и сразу — вот так, с кондачка, — не сорвёшься, не поедешь, бросив всё...

А если и поехать, то куда Чапу девать? С собой-то его через всю страну не потащишь. Тоже проблема, и не маленькая. Чапа — не просто собака; Чапа — друг, верный и преданный. И ему не объяснишь, каким бы умным он ни был: ты, мол, дружок, подожди меня с месяц, пока я туда-обратно смоюсь, и не скучай — я недолго! Не скучай... Да он без него, Фёдора Ивановича, помрёт здесь уже через неделю!

«Стоп! Почему — помрёт здесь?» — осенило вдруг Фёдора Ивановича. Вот как раз здесь-то, в Буковке, и не помрёт! Здесь — не в псковской квартире, куда Чапа без него, Фёдора Ивановича, даже и не впустит-то никого; здесь — люди кругом, и люди добрые, отзывчивые, к которым Чапа за эти три недели, как они сюда приехали, уже и привыкнуть успел. Вон как он за Антониной ходит, хвостом виляя — как за своей хозяйкой! Когда это такое было, чтобы он из чужих рук без разрешения Фёдора Ивановича пищу брал? Не было, и быть не могло: не так воспитан... А у Антонины — берёт! Оглянется

на Фёдора Ивановича, состроит виноватую морду, глазки эдак потупит, как девица на выданье, — а берёт, паршивец!

«Ну, и пусть берёт; и хорошо, что берёт!» — улыбнулся Фёдор Иванович: значит, теперь, слава богу, есть на кого Чапу оставить, если и вправду поездку к Марине предпринять.

Придя к такому неожиданному выводу, он даже вздохнул с облегчением. Что же получается: путешествие на Камчатку — не такая уж несбыточная мечта? Выходит, что так... Но это — потом, позже; может быть, на следующий год...

От этих мыслей и без того хорошее настроение Фёдора Ивановича ещё больше улучшилось.

— Ну, Чапушка, ещё пару кустиков оформим — и шабаш! — поднимаясь со скамейки, бодро произнёс он. — А после уж и пообедаем... Слышишь, что говорю? Чего молчишь?

Он оглянулся на Чапу. Пёс, ещё минуту назад безмятежно гревшийся на солнце, теперь стоял с вздыбленной на загривке шерстью и смотрел в сторону озера, к чему-то напряжённо прислушиваясь.

— В чём дело, Чапа? — нахмурился Фёдор Иванович. — Что случилось?

Вместо ответа Чапа нервно дёрнул лобастой головой, — не мешай, мол! — постоял ещё мгновение и вдруг, коротко рыкнув, рванул напролом, через кусты, к озеру.

— Господи! Что там?.. — пробормотал Фёдор Иванович и, не раздумывая ни секунды, ринулся вслед за Чапой.

От вагончика до берега, если идти к озеру коротким путём, через болотину, было метров семьдесят. В обход же, по той дорожке, по которой можно было проехать на участок Фёдора Ивановича на машине — вдвое больше. Обычно, если погода позволяла ему не парить ноги в резиновых сапогах, Фёдор Иванович ходил в обход, чтобы вдоволь налюбоваться постепенно — по мере приближения к берегу — открывающейся перед ним панорамой величественного озера.

Ходить через кусты и болотину, особенно с рыбацкими снастями в руках, было неудобно: кусты низко нависали над протоптанной им тропинкой и цеплялись за натянутые на удилища лески, норовя их порвать. И, бывало, рвали...

В общем, короткой дорогой Фёдор Иванович ходил редко и только в случае крайней необходимости; например, когда в первые после встречи с Антониной дни тёмными осенними вечерами тайком пробирался от вагончика к её дому или возвращался перед рассветом назад...

Сейчас же он, как гончая, взявшая след зверя, бежал за Чапой, не разбирая дороги и едва успевая прикрывать лицо от больно хлеставших по нему веток кустарника. Чапа был отнюдь не декоративной собачкой, и потому там, где со скоростью артиллерийского снаряда — ну, может быть, чуть медлен-

нее — только что промчалось его мощное, почти девяностокилограммовое тело, след остался соответственный.

То, что Чапа не в игрушки побежал играть и не за кошками гоняться, Фёдор Иванович понял сразу: будучи псом воспитанным, солидным и хорошо знающим себе цену, он на такие мелочи и в юном-то возрасте не очень разменивался. А теперь, когда — по собачьим меркам, конечно, — они, Фёдор Иванович и Чапа, стали почти что ровесниками, таких выходов от взрослого пса его друг-хозяин и вовсе не мог ожидать.

«Господи! Что там случилось?! — в такт быстрому бегу бились в голове Фёдора Ивановича тревожные мысли. — Может, с Тоней что?..»

Когда он, немного отстав — да разве его догонишь! — от Чапы, выбежал из кустов на поросший тростником берег, то увидел, как в воде, у дальнего конца одного из приткнувшихся к берегу длинных дощатых причалов, барахтается его лохматый друг, пытаясь подтянуть поближе к берегу какую-то кучу тряпья.

То, что в воде плавала не просто куча тряпья, Фёдор Иванович понял сразу. И не потому, что что-то уже разглядел, а мгновенно проанализировав поведение Чапы.

«Дурак он, что ли, — за тряпками в холодную воду нырять? — бросаясь на помощь Чапе и грохоча подкованными каблуками армейских ботинок по влажным и скользким доскам причала, думал Фёдор Иванович. — Дурак он, что ли?..»

А где-то в затылке, позади этой, в общем-то, ничёмной мысли, тупо билась другая — страшная, насквозь прожигающая мозг и потому самым же мозгом подсознательно загоняемая вглубь самого себя: «Только бы не Тоня! Только бы не Тоня! Толь-ко-бы-не-То-о-о-ня-я-я-я!..»

Но это была не Тоня: из воротника не успевшей ещё полностью намокнуть и потому пузырьком вспучившейся над водой телогрейки торчала облепленная жидкими прядями седых волос голова Елены Афанасьевны, жены Степана Матвеевича. Чапа, мёртвой хваткой вцепившийся своими мощными клыками в этот воротник, изо всех сил грёб лапами к берегу, и плыть ему до мелководья оставалось метров пять, не больше.

Фёдор Иванович сделал, было, движение, чтобы прыгнуть с причала в воду, но Чапа недвусмысленно зарычал на него: и не думай, мол, даже — только мешать будешь! А то и тебя, хозяин, не дай бог, ещё вытаскивать придётся...

И пока Фёдор Иванович, неосознанно подчинившись Чапе, чуть замешкался на причале, пёс успел подтянуть Афанасьевну вплотную к тому месту, где глубина, как знал Фёдор Иванович, уже позволяла человеку встать в полный рост. И снова зарычал на хозяина: чего, дескать, стоишь-то? Прыгай уже: теперь можно!

«Он что — чувствует глубину, что ли?! — мельком изумился способностям Чапы Фёдор Иванович и прыгнул в воду.

Ноги его сразу же по шиколотку погрузились в вязкое илистое дно; не обращая на это внимания, Фёдор Иванович обхватил руками тело Афанасьевны и крепко прижал его к себе, будто боялся, что она вырвется из его рук и поплывёт обратно, в озеро.

«На причал мне её всё равно не вытащить — сил не хватит» — решил он и, подхватив Афанасьевну подмышки, потащил к берегу.

Чапа не стал обгонять Фёдора Ивановича, хотя сделать это мог бы без особого труда; и не поспешил раньше него выбраться на сушу; он продолжал плыть следом, не вмешиваясь в действия хозяина и словно бы подстраховывая его и поощряя его: давай, мол, давай, поторапливайся! Я, в случае чего, — рядом. Только назад, в озеро, не поворачивай — всё равно не пушу! Там — плохо, холодно; там — смерть...

— Ой, Господи! Ой, что это!

Фёдор Иванович мельком оглянулся.

К причалу по улице бежала Антонина, а со стороны мыса, то мелькая над высоким тростником, то пропадая за ним, быстро приближалась копна рыжих волос Верки.

«Это не тростник высокий — это я низко стою. Потому что в воде...» — подумал Фёдор Иванович, выбираясь на твёрдое прибрежное дно...

Оказавшись на берегу, Афанасьевна довольно быстро пришла в себя, но ещё с полминуты смотрела помутившимся взглядом то на Фёдора Ивановича, то на Чапу, одновременно почему-то отталкивая от себя руки подоспевших на помощь Антонины и Верки. И не говорила ни слова, а только мычала.

Фёдор Иванович переглянулся с женщинами: уж не помутился ли у Афанасьевны от страха разум? Всё может быть; ведь старый уже человек...

Неожиданно Чапа, до того стоявший в стороне, подошёл к Афанасьевне и лизнул её в лицо. Фёдор Иванович хотел, было, отогнать его, чтобы тот ещё больше не напугал и без того до смерти напуганную женщину, но не успел: Афанасьевна вдруг протянула к Чапе дрожащую руку и погладила его по голове, а потом, неожиданно для всех, обхватила её обеими руками, прижала к своей груди и заплакала.

— Ах ты, спаситель мой!.. Ах ты, хороший мой!.. — тихо, как молитву, шептали её бескровные, трясущиеся губы. — Ах ты, собачка моя!.. Хороший ты мой!...

— Ну, слава богу! — облегчённо вздохнула Антонина и перекрестилась. И тут же, спохватившись, засуетилась, закомандовала:

— Ну, всё, всё! Вставай, баба Лена, вставай, нечего на земле сидеть! Вон, ты мокрая вся! Пойдём скорее в дом, переоденемся да обсушимся пока! А потом я баню стоплю: надо тебя пропарить, а то простудилась — беды с тобой не оберёшься!

Подхватив Афанасьевну под руки, Антонина с Веркой, как могли быстро, повели её домой, а Фёдор Иванович, уже изрядно продрогший в мокрой одежде, отправился к своему вагончику.

На берегу остался только Чапа. Он постоял немного, глядя вслед женщинам, — словно раздумывал, нужна ли им его помощь, или сами теперь справятся? Потом повернулся к озеру и долго-долго смотрел на его потемневшие от набежавших туч воды, будто бы ожидая от них ещё какой-нибудь опасности.

Наконец, он коротко и угрожающе рыкнул на озеро — я, мол, тебе! — и побежал вслед за Фёдором Ивановичем...

Вечером, когда стемнело, Фёдор Иванович отправился к Антонине. Чапа, как всегда, степенно шествовал впереди, изредка останавливаясь и обнюхивая попадавшиеся по дороге камни, кусты, углы заборов и ещё что-то, чего Фёдору Ивановичу в темноте было уже не разглядеть.

Антонина ждала его, сидя на кухне за накрытым к ужину столом. Окно кухни выходило во двор, за которым начинался огород, а там, за огородом, до самого большака тянулся редкий лесок. Фёдор Иванович с Антониной всегда по вечерам сидели на кухне: в деревне привыкли ложиться рано, и свет, горящий в окне почти всю ночь, мог запросто оказаться причиной для досужих домыслов и деревенских сплетен. Впрочем, кому о них в Буковке сплетничать-то, если в деревне, не считая Фёдора Ивановича с Антониной, и всего-то — пять человек?

— Ну, что там с Афанасьевной? Оклемалась немного? — с порога спросил Фёдор Иванович.

— Да что с Афанасьевной! — Антонина махнула рукой. — Спит твоя Афанасьевна и десятый сон уж, поди, видит... Мы с Веркой переодели её в сухое, уложили в кровать и тремя одеялами укутали. Потом быстренько баньку затопили и пропарили бабку, как положено. Ну, и чаем с мёдом после бани напоили, конечно, да и снова — под одеяло!

Антонина восхищённо покачала головой:

— Верка, молодец — вот шустрая девка! — и воды сама наносила, и дров, и баню истопила; всё сама! Ты, говорит, тётя Тоня, посиди с Афанасьевной: мало ли чего ей захочется, или нехорошо вдруг станет. А я сама управлюсь! И управилась!

— Ну, и хорошо, — сказал Фёдор Иванович, присаживаясь к столу. — Повезло, значит, Витьке с женой...

— Ему-то, конечно, повезло; а вот ей с ним... — Антонина усмехнулась.

— Что так? — вскинул брови Фёдор Иванович. — Витька — парень работающий; всё, смотрю, чего-то копошится — то в доме, то в огороде.

— Да в огороде, Фёдя, у нас все копошатся, хотим мы этого или нет. Если не копошиться, так и жрать нечего будет, когда зима настанет. А то и рань-

ше... Это для тебя здесь — дача, да рыбалка в охотку, да грибы. От нечего делать. Отдых, одним словом. А для нас...

Фёдор Иванович напрягся и внимательно посмотрел на Антонину. Что-то с ней было не так: хмурое лицо, поджатые губы; взгляд какой-то колючий — совсем как тогда, в день их первой встречи.

Вернее, второй — через тридцать лет после первой...

— Что это с тобой сегодня, Тонь? — спросил он, стараясь говорить как можно мягче. — Из-за Афанасьевны расстроилась, что ли? Так с ней всё в порядке теперь, сама же говоришь...

— Да причём здесь Афанасьевна! — ни с того, ни с сего вскинулась Антонина. — Афанасьевна... Хотя, конечно, и Афанасьевна...

— Что-то ты не договариваешь, — покачал головой Фёдор Иванович. — То — Афанасьевна, то — не Афанасьевна... Ты уж говори, как есть.

— А то и есть!

Антонина облокотилась на стол, подалась лицом к его лицу почти вплотную и будто кольнула Фёдора Ивановича карими глазами.

— Вот не станет скоро ни Афанасьевны, ни Матвеича, — им, смотри, обоим под восемьдесят уже! И Марьи Захаровны, что тоже недалеко от них ушла, хотя и помладше немного... Дай им всем, Господи, здоровья! — Антонина перекрестилась. — А Витька с Веркой отсюда враз, как пить дать, умотают, как Захаровны-то не станет: они только из-за неё и не уезжают никуда. А не станет её — и фьють! Как говорится, не поминайте лихом...

— И что? — всё ещё не понимая, к чему она клонит, спросил Фёдор Иванович.

— А то! — сбавив тон, усмехнулась Антонина. — А то, что останусь я, Фёдя, здесь одна; и пойду я как-нибудь бельё полоскать, как Афанасьевна пошла, да и сковырнуть с мостков, как она сегодня сковырнулась! И — всё! А вытащить-то и некому будет!

Фёдор Иванович растерялся; не готов он был к этому разговору, не готов. А следовало бы: неспроста ведь сегодня утром Степан Матвеевич к нему в гости приходил — ох, неспроста!

Он хотел, было, возразить Антонине, успокоить её: да ну, мол, — брось, Тоня! Какие наши годы! Но вовремя почувствовал, что делать этого не следует: Антонина — не дитё малое, и её пустыми фразами с толку не собьёшь.

— Почему одна-то? — спросил он, осторожно подбирая слова. — И почему — здесь?

— А где? Где же мне ещё-то быть? — снова вскинулась Антонина. — В Париж меня что-то пока не зовёт никто! И в Лондон — тоже...

Фёдор Иванович попытался свести неприятный разговор к шутке:

— А что, поехала бы?

— Ах, отстаньте вы все от меня, ради бога! — Антонина порывисто поднялась с табуретки и, махнув рукой, ушла в горницу.

Фёдор Иванович в недоумение пожал плечами.

Кто это — «все»? Он, Фёдор Иванович, что ли? Интересно, чем это он вдруг перед ней провинился? Тем, что его Чапа Афанасьевну из озера выудил?

Тьфу! Чушь собачья...

В горнице, куда ушла Антонина, взвизгнул пружинами старый диван, и в доме стало тихо; только на кухне мерно тикали старинные «ходики», которые когда-то — давным-давно, ещё до свадьбы, как рассказывала Антонина, — где-то на чердаке дедовского дома нашёл Сергей. Нашёл, отремонтировал и вот на это самое место повесил. «Ходики» были старинными — с облупившимся местами циферблатом в виде лубочной картинки и тяжёлыми гирьками на цепочке; таких, пожалуй, теперь уже ни в одном музее не сыщешь.

Так и тикают они с тех пор в этом доме уже три с лишним десятка лет; Сергея, подарившего им новую жизнь, уж давно и на свете нет, а они всё тикают и тикают... А сколько всего они за свою жизнь натикали — того, наверное, никто и никогда уже не узнает...

— Тонь, а Тонь! — несмело позвал Фёдор Иванович.

В ответ из горницы не раздалось ни звука.

«Может, уснула, за Афанасьевну-то перенервничав? — подумал он. — Нет, вряд ли... И не в Афанасьевне тут дело, совсем не в ней! А в чём — хоть убей, не пойму... Чем я её завёл?»

— Тонь, иди сюда! Чего ты ушла? Иди-ка сюда; послушай, что скажу!

И опять Фёдор Иванович не дождался ответа.

«Пойти самому? — подумал, было, он, но сразу же и одёрнул себя: — Нет, не пойду! Моей вины в её настроении нет; сама психанула, пусть сама и мир устанавливает!..»

Фёдор Иванович закурил и стал смотреть на маятник часов. Смотрел и размышлял: «Вот и человек так: идёт себе и идёт, пока завод в нём не закончится... И прямо ли он по жизни идёт, или качается из стороны в сторону, а всё это — до поры, до времени. А кончится завод — и время остановится, как этот маятник: тик-так, тик-так, тик... — и всё!..»

В горнице скрипнул диван, и на её пороге появилась Антонина. Сложив руки на груди, она прислонилась к дверному косяку и хмуро посмотрела на Фёдора Ивановича.

— Ну, говори, что хотел сказать...

— Сказать-то... — Фёдор Иванович, было, замешкался, но быстро нашёлся: — А то хочу сказать, что жить тебе здесь вовсе не обязательно! Ясно?

— Нет, не ясно! — Антонина стрельнула в него колючим взглядом. — Как это — не обязательно? Ты о чём?

— А о том, что жить мы будем у меня! — твёрдо заявил Фёдор Иванович, глядя Антонине прямо в глаза.

— У тебя-а?! — делано изумилась Антонина. И добавила насмешливо: — Это где — в вагончике, что ль?

Фёдор Иванович смутился от её взгляда и заёрзал на скамье.

— Почему — в вагончике? Я что, на дурака похож, чтобы тебе такое предлагать? Обижаешь, Тоня, обижаешь; не знаю, правда, за что...

— И где же мы будем жить, если не в вагончике? — заметив его смущение, продолжала насмешничать Антонина. — Может, в Париже?

— Вот дался тебе этот Париж! — Фёдор Иванович начал понемногу злиться. — В Париже... Парижа при всём моём желании я вам, сударыня, предложить не могу. Увы! Рылом не вышел... А вот Псков — предлагаю!

— Пско-о-ов? Ну, это, конечно, не Париж... — уже откровенно издевательским тоном начала Антонина

Фёдор Иванович, теряя остатки терпения, встал сквозь зубы:

— Да уж, само собой... И не Лондон...

— Да, и не Лондон, — кивнула Антонина. — Куда уж твоему Пскову до Лондона!

Воздух в кухне стал вдруг холодным и упругим; оба, видимо, почувствовав это, насупились и замолчали...

Антонина демонстративно отвернулась от Фёдора Ивановича и, покусывая нижнюю губу, стала смотреть в окно, как будто там, в крошечной тьме осенней ночи, можно было что-нибудь разглядеть. А он устался в пол и зачем-то принялся взглядом пересчитывать половицы, одновременно тщетно пытаясь понять, что происходит.

Эх, рано начался этот разговор, рано! Надо было им ещё чуточку выждать: пусть бы сперва всё в их отношениях окончательно наладилось и устоялось, пришло бы в устойчивое равновесие. И чего ради Антонина именно сегодня этот разговор завела? Он что — уезжает завтра, что ли? Так нет, и не собираются даже...

«Она сама меня вынудила заговорить о... обо всём этом, — пересчитывая глазами половицы, думал Фёдор Иванович. — Но почему именно сегодня, сейчас? И вообще, что такого именно сегодня произошло, что она будто с цепи сорвалась? Ну, Афанасьевна чуть не утонула — это, правда, событие — из ряда вон... Видишь ты, на себя ситуацию примерила; впрочем, может, Антонина и права... Тогда зачем же всё в кучу-то сваливать: Париж, Лондон! Про Вашингтон ещё забыла; надо бы подсказать... Эх, да причём здесь всё это?!»

Антонина первой не выдержала тягостного молчания.

— Ну, и для чего мне в Псков твой ехать? А, Федя? Чего я там не видала? — вкрадчиво спросила она.

Фёдор Иванович пожал плечами: что, мол, за глупый вопрос?

— Как для чего? Жить, для чего ж ещё-то...

— А-а! Ну, конечно, жить! — снова начала заводиться Антонина. — Ясное дело, что не помирать ты

меня туда зовёшь... И где же я там жить буду? И с кем, не подскажешь? Сделай милость, расскажи!

В небольшом пространстве кухни снова физически ощутимо почувствовалось напряжение; будто где-то между Фёдором Ивановичем и Антониной зависла невидимая шаровая молния, которая только и ждёт от них неосторожного слова или движения, чтобы взорваться со страшным грохотом и в пух и прах разнести и эту кухню, и дом, и всё то, что заново, через многие годы, только-только начало между ними возникать.

Фёдор Иванович, прежде чем ответить, опять устался в пол. Он зачем-то заново пересчитал половицы, — их было ровно тридцать, — и только после этого поднял глаза на Антонину.

— Где жить, с кем жить... — он натянуто улыбнулся. — О чём ты спрашиваешь, Тоня? Будто не понимаешь, о чём я говорю... В Пскове жить, в моей квартире. И со мной, разумеется; с кем же ещё-то?

Антонина картинно всплеснула руками и, наклонив голову, сделала шаг к столу.

«Забодать меня хочет, что ли? — предчувствуя недоброе, усмехнулся Фёдор Иванович. — Ну, пусть попробует, без рогов-то! В народе недаром говорят: бодливой корове Бог рог не даёт...»

— Ах, разумеется? Ах, с тобой?! — повысила голос Антонина. — А мы с тобой, собственно говоря, кто? Муж и жена, что ли? А?!

Она вдруг остановилась и побледнела. Потом медленно опустилась на стул и грустно посмотрела на Фёдора Ивановича:

— Нет, Федя! Любовники мы с тобой. Любовники — и всё... Вон, Верка с какой ехидной улыбочкой на меня посматривает: бабе, мол, под пятьдесят уже, и внуками давно уже обросла, а подвернулся мужик — она и ножки врозь!

— Да что ты такое говоришь-то, Тоня?! — возмутился Фёдор Иванович. — Что говоришь? Да я этой Верке за такие слова ноги повыдергаю! Завтра же! Да я...

— Не повыдергаешь, — усмехнулась Антонина.

— Почему это? Очень даже запросто!

— Да потому, что не говорила она этого и не говорит, а только думает. А за невысказанные мысли, Феденька, ноги не выдёргивают... Она умолкла ненадолго, а потом сказала: — А может, она, Верка, во все и не думает так, а это сама я про себя так думаю... А в её голову мысли эти вкладываю: самой-то о себе пакости разные думать, знаешь ли, как-то не с руки. А в чужую голову такое вложить, чтобы потом было на кого свои обиды сваливать, — пожалуйста! Даже, можно сказать, и удобно...

Антонина замолчала и снова отвернулась к окну.

«Какой-то у нас с ней дурной разговор идёт... — подумал Фёдор Иванович. — Дурнее не придумаешь...»

Ему вдруг припомнилась народная пословица: «Начали за здоровье, а кончили за упокой». Или это

поговорка? Никогда Фёдор Иванович разницы между ними не понимал; ему — всё одно: что поговорка, что пословица; лишь бы умная была. Или — мудрая...

«Начали за здоровье...» Да не начинали они с Антониной сегодня за здоровье! С самого начала разговор у них наперекосяк пошёл, сразу — «за упокой»...

У Фёдора Ивановича неожиданно сильно разболелась голова; так нередко бывало с ним раньше, особенно в первый год после катастрофы. Правда, вот такая сильная боль и так неожиданно давно уже на него не обрушивалась; Фёдор Иванович уже и ждать её перестал, и бояться её прихода — отвык, наверное, от таких вот приступов. А может, надеялся, что всё уже — оставила его эта боль, и уже никогда больше к нему не придёт? Зря, выходит, надеялся...

Вот она, боль — тут как тут; сдавила мощными тисками его виски и бешеным пульсом бьётся где-то в затылке, словно хочет вырваться из головы Фёдора Ивановича — вырваться, чтобы ужалить ещё кого-нибудь, кто сейчас рядом с ним; чтобы и тому человеку стало так же нестерпимо больно, как и ему. Чтобы и он, тот человек, который рядом, — Тоня? Тоня! — закричал, заплакал, завыл от неё, и обезумел от неё, и искал бы от неё немедленного избавления...

Но череп Фёдора Ивановича оказался для боли слишком прочной крепостью, и боль, как ни пыталась, не могла из него вырваться, и потому металась там, внутри него, как мечется по арене разъярённый, утыканный бандерильями, заранее приговорённый к смерти бык...

«Лечь бы сейчас, закрыть глаза и провалиться в пустоту, — успел подумать Фёдор Иванович, прежде чем его сознание стало всё быстрее и быстрее погружаться в густой, как кисель, насыщенный жгучей пульсирующей болью багрово-красный туман, за которым — и он это знал! — потом не будет ничего. — Не будет ничего, кроме пустоты... и ничего мне больше не надо! Ничего, ничего, ничего... Ни-че-го, ни-че-го, ни-че-го... Ни-че-го-ни-че-го-ни-че-го-ни-че-го-ни-че-го... Ни... че...»

И когда уже не оставалось сил, чтобы хотя бы стоном облегчить дикую боль, окончательно теряя сознание, сквозь заставшую глаза кровавую пелену увидел он прямо перед собой испуганное лицо Антонины — Тони, Тошки-Антошки! — и услышал её тревожный голос:

— Фёдор! Федя! Феденька! Что с тобой? Что с тобой, Федя?! Господи, спаси и сохрани! Федя! Ты слышишь меня? Федя, милый, любимый! Очнись, Федя, очнись! Открой глаза, любимый мой, желанный мой, солнышко моё ясное! Федя! Федя-а!! Феденька-а-а!!!

И совсем уж откуда-то издалека донёсся до Фёдора Ивановича истошный, жуткий своей нескончаемой протяжностью вой Чапы...

В первых числах октября неожиданно резко похолодало, и снова зарядили нескончаемые дожди. Листья на старой берёзе, растущей возле самого дома Антонины, в три дня пожелтели и осыпались; долго упрямылся только один-единственный маленький листочек, каким-то чудом удерживаясь на самой верхушке дерева, хорошо видной с изголовья кровати, на которой лежал Фёдор Иванович. Листочек бился на промозгом ветру, как маленький флажок гордого корабля, не желавшего сдаваться разбушевавшейся стихии, и выходил в битве с ней победителем.

«Интересно, продержится до морозов или нет?» — гадал Фёдор Иванович, думая об упрямце. И каждое утро, когда за окном только-только начинал заниматься холодный осенний рассвет, он первым делом отыскивал глазами этот листок, а отыскав, радовался ему, как доброму старому знакомому, и тихо улыбался...

И думал: «Молодец, не сдаётся... Ну, и я не сдамся!..»

Лежать Фёдору Ивановичу надоело до тошноты. Будь его воля, он уже давно бы встал и чем-нибудь занялся, чем целыми днями ворочаться с боку на бок, глядя на хмурое небо сквозь стекающие по оконному стеклу дождевые капли. Но Антонина, выполняя предписания врача, держала Фёдора Ивановича в строгости; даже читать ему не разрешала.

— Врач не велел тебе напрягаться, — говорила она, заботливо поправляя на Фёдоре Ивановиче тяжёлое лоскутное одеяло.

Он, конечно, вряд ли стал бы подчиняться и Антонине, и врачебным предписаниям, если бы у него при попытках подняться с постели, действительно, сильно ни кружилась голова. Поэтому Фёдор Иванович послушно соблюдал постельный режим и принимал прописанные ему лекарства.

Но самым действенным лекарством была для него, конечно же, Антонина. Фёдор Иванович чувствовал её присутствие рядом с собой постоянно, даже тогда, когда Антонины не было в доме. Целыми днями, пользуясь взятым за свой счёт отпуском, она занималась нескончаемыми крестьянскими делами где-нибудь в огороде или во дворе, но то и дело забегала в дом и заглядывала в горницу, чтобы спросить:

— Ну, как ты? Может, надо чего?..

Но Фёдору Ивановичу ничего не было нужно — ничего, кроме исполнения одного, но постоянного желания: видеть любимые карие глаза, почувствовать на себе искреннюю заботу Антонины, ощущать её искреннюю обеспокоенность...

Разговор о переезде Антонины к нему в Псков, прерванный тем страшным приступом головной боли, который уложил Фёдора Ивановича в постель, у них всё же состоялся — недавно, на днях. И был он непростым...

— Ну, куда я отсюда поеду, Федь? — ласково, будто уговаривая Фёдора Ивановича, как малого ребёнка, говорила Антонина. — И зачем? Что я там делать-то буду, в Пскове твоём — в тёплой квартире сидеть, в телевизор глядячи?

Фёдор Иванович открыл, было, рот, чтобы возразить Антонине: хотел сказать о том, что и работу он для неё найдёт по душе, и всё такое прочее... Но слова сами собой вдруг застряли в горле, а вместо них в голове у него возник чёткий, ясный и простой, как дважды два, вопрос, только что заданный ему Антониной: «А и вправду, зачем?»

Антонина, будто прочитав его мысли, мягко улыбнулась.

— Ты помолчи, Фёдор, помолчи: пока ни к чему тебе лишний раз волноваться, — сказала она, заботливо поправляя на нём одеяло. — Помолчи и меня послушай; то, что ты мне сказать хочешь, я и так знаю, наперёд...

Она взяла его руку в свою и тихонько, словно боясь причинить ему боль, пожала её.

— Ты только не обижайся и не перебивай меня, — помолчав немного и собравшись с мыслями, сказала Антонина. — Я все твои слова, что ты мне тогда говорил, помню; теперь я скажу, и ты мои слова тоже запомни — запомни и, как бы там дальше у нас с тобой ни было, не обижайся на них...

У Фёдора Ивановича сжалось сердце и в груди отчего-то стало пусто — так пусто, что, казалось, стукни в неё кулаком, и она загудит, как колокол.

«Неужели — всё?! — пронеслась в его голове опустошающая душу мысль. — Неужели конец всему?»

— За предложение твоё, Федя, спасибо, — продолжала Антонина. — И не просто спасибо, а от всей души: знаю я, чувствую, верю, что ты на самом деле добра мне хочешь, жалеешь меня. Только не надо меня жалеть, Федя, не надо: нет для этого причин, поверь мне, совсем нет. Ни одной. Да, в деревне жить нелегко, и ты сам знаешь, почему; так что давай мы с тобой об этом говорить не будем. В городе, конечно, проще — и спорить нечего: пожила я у девчонок своих в Питере, так что знаю, что почём. Они меня давно зовут к ним перебраться, насовсем; особенно теперь, когда Федька в Пскове остался...

— А ты? — тихо спросил Фёдор Иванович. — Ты-то что им ответила?

— Ответила что? А то и ответила, что тебе сейчас отвечаю: не уеду я отсюда, Феденька, никуда — ни в Питер, ни в Псков. И ни в Париж, и ни в Лондон... Никуда, куда бы и кто бы меня ни позвал — ты ли, или дочки, или Федька. Не могу я, Федя, отсюда уехать, как бы трудно мне здесь ни было: здесь моё место жительства, и другого не будет уже никогда...

— А если одна останешься? Совсем одна, Тоня? Помнишь, как ты говорила: не станет стариков — Витька с Веркой враз отсюда умотают, поближе к цивилизации, и в деревне, кроме тебя, вообще никого не останется... Помнишь, говорила так?

— Помню, помню... — ответила Антонина, прикладывая к губам Фёдора Ивановича свою тёплую, пахнущую молоком ладонь. — Ты не разговаривай, а слушай, слушай...

Она отняла руку от его лица и провела ею по своим светлым волосам.

— Не могу я, Федя, уехать отсюда; по многим причинам не могу. Дом этот бросить не могу, хозяйство, вот это всё, — она показала на убранство горницы. — И не только потому, что жалко... Да, в общем-то, и жалко, что ни говори, всё это оставлять, пусть даже и хорошим людям. А дети мои с внуками куда приезжать летом будут? — встрепелась Антонина. — Они ведь каждое лето приезжают — куда ж им ещё и ехать-то, как ни сюда?

Она заботливо подоткнула под его ноги сбившееся одеяло и продолжила:

— Но и не в этом главное, Феденька, не в этом... И стариков, Матвеича с Афанасьевной, я бросить здесь одних не могу: а ну, как и вправду Захаровна помрёт, а Витька с жёнкой своей рыжей уедут? Что тогда? А в окрестных деревнях люди? Я ведь, Феденька, — единственный фельдшер на всю округу, и вместо меня, думаю, вряд ли кто сюда работать придет — на такую-то, как у меня, зарплату...

— Так ведь... — начал, было, говорить Фёдор Иванович, но Антонина опять остановила его:

— Молчи, Федя, молчи! Знаю, что скажешь: и про людей, и про то, что у Афанасьевны с Матвеичем свои дети есть; пусть, скажешь, они о стариках и заботятся... Да, есть у них дети — и ещё какие! Вон, Васька их в прошлом году адмирала получил! Ты что же думаешь, он их не звал к себе, родителей-то? И звал, и уговаривал...

Антонина, вдруг вспомнив что-то, по-девичьи звонко рассмеялась.

— Ты чего, Тонь? — помимо воли заулыбался и Фёдор Иванович.

— Молчи, молчи! Сейчас расскажу... Ой, и смех, и грех!..

Она вытерла подолом цветастого фартука выступившие слёзы.

— Это я про Ваську вспомнила; вернее, про то, как он отца уговаривать пытался, когда в позапрошлом году в отпуск приезжал. Он, кстати сказать, хоть и адмирал, а в отпуск только сюда ездит, а не по курортам каким-то. Ну, так вот, слушай... Стал Василий отцу говорить, что поехали, мол, батя, ко мне в Мурманск: у меня, мол, и квартира там большая, со всеми удобствами, и то, и сё... Вам, дескать, там с матерью на старости лет жить — самое милое дело. Ну, Матвеич его слушал, слушал, головой молча кивал, кивал, — мне это всё Афанасьевна потом рассказывала, — а потом и спрашивает Ваську-то: вот ты, сынок, зачем сюда в отпуск едешь? Только нас с матерью навестить, или ещё из-за чего? И вас навестить, отвечает Васька, и вообще... А что — вообще? Это его Матвеич спрашивает, — пояснила Антонина. —

Ну, люблю я эти места, вот и поэтому тоже сюда приезжаю, говорит Васька. А Матвеич ему: ну, тогда скажи мне, сынок, а когда служба твоя закончится, ты в Мурманске своём останешься — когда совсем-то, мол, на пенсию выйдешь, — или куда в другое место пойдешь? Афанасьевна говорит, что Васька смотрел, смотрел на отца, потом вокруг стал смотреть — на озеро, на острова — ну, на всё, что вокруг их дома видно. А потом и говорит: нет, батя, я сюда приеду, потому что нет другого места на всей земле, которое я любил бы больше, чем это...

Антонина замолчала, и Фёдор Иванович увидел, как по её щеке побежала одинокая слезинка.

— А Матвеич ему, Василию то есть, и говорит: так зачем же, сынок, ты нас-то с матерью отсюда увезти хочешь? Или думаешь, что то, что тебе дорого, для нас с ней ничего не значит? И на могилки наши с ней, говорит, ты потом уже отсюда в Мурманск ездить будешь?

Антонина замолчала и надолго задумалась, глядя в окно.

— И что Василий? — не вытерпел Фёдор Иванович.

— А что Василий... Смотрел, смотрел на Матвеича, а потом поклонился ему в пояс, как в старину это делали, да и говорит: прости, говорит, отец, меня, дурака, за глупые слова, и спасибо, говорит, тебе за науку твою...

Закончив свой рассказ, Антонина посмотрела прямо в глаза Фёдору Ивановичу; она смотрела долго и улыбочиво, а потом сказала:

— Вот и я, Федя, никуда и никогда отсюда не уеду — по той же самой причине, что и Матвеич с Афанасьевной: моё это всё, — она кивнула на окно и повторила: — Моё, и жить я без всего этого не смогу...

Она немного помолчала и добавила:

— Даже если одна здесь останусь. Совсем одна...

Фёдор Иванович взял руку Антонины, поднёс её к своему лицу и надолго припал к ней губами. А потом сказал:

— Не останешься...

Здоровье Фёдора Ивановича хотя и медленно, но всё же шло на поправку. Иногда Антонина впускала в дом вечно мокрого от дождя Чапу; Чапа подходил к кровати, на которой лежал Фёдор Иванович, и сначала внимательно смотрел ему в глаза, — как, мол, ты здесь без меня? — а потом доверительно клал свою лобастую голову на грудь хозяина.

— Чапа, Чапа, Чапушка, — говорил Фёдор Иванович, ласково глядя влажную шерсть на его загривке. — Пёс ты мой дорогой, друг ты мой единственный!.. Не волнуйся за меня, Чапа: я выкарабкаюсь... Впрочем, можно сказать, уже выкарабкался...

На прощанье он легонько хлопал пса по спине и говорил:

— Ну, иди, иди! Гуляй, Чапа, гуляй; только далеко от дома не уходи.

— Да он далеко и не уходит, — рассмеялась однажды Антонина, случайно услышав это его напутствие псу. — Всё вокруг дома вертится, или возле крыльца сидит. А если и уходит, то, как я заметила, в одно и то же время, где-то около полудня, и не надолго, — на полчаса, не больше. И маршрут у твоего Чапы всегда один и тот же — до дома художника и обратно; он там уже и тропинку для себя такую протоптал, что из огорода видно.

— Что, зазнобу завёл? — удивился Фёдор Иванович. — Во даёт, на старости-то лет! Ай да Чапа!

— Какая зазноба? — ещё больше развеселилась Антонина. — Зазноба! У нас на всю деревню, кроме Чапы, — две собаки, и те — кобели. Зазноба!.. Нет, Федя, не к зазнобе он бежит, а к приятелю своему; тот ещё, доложу я тебе, приятель...

Фёдор Иванович даже приподнялся на кровати:

— К приятелю? Что за приятель? — ещё больше удивился он: сроду у Чапы среди собак приятелей не было! Ну, может, как раз сроду-то и были, когда он только что на свет появился, а при нём, при Фёдоре Ивановиче то есть, такого не было: Чапа вообще был на редкость равнодушен к другим представителям собачьего племени — не считая, разумеется, представителей его прекрасной половины, но и то только в определённые периоды...

А чтоб приятеля завести, да, тем более, — здесь? Видел Фёдор Иванович тех двух собак, что у Захаровны и у Степана Матвеевича во дворах на привязи сидят; так, собаки и собаки: ни ума, как говорится, ни фантазии.

Одна из них — та, что у Захаровны, — помнится, как только Чапу увидела, сразу в будку спряталась, да так в той будке и просидела, повизгивая, пока Захаровна Фёдору Ивановичу молоко в банку наливала. И только потом, когда он вышел за калитку, выскочила и залилась вслед им с Чапой злобным визгливым лаем. А Чапа, кстати, тогда и во двор не входил, чтобы её так напугать: он Фёдора Ивановича у калитки ждал. Чапа — пёс воспитанный, никуда без приглашения не зайдёт. И без разрешения — тоже.

— Так что за приятель, Тонь? — спросил Фёдор Иванович, откидываясь на подушки: кружится ещё у него голова, кружится; придётся, видимо, ещё дня два-три полежать...

— Не поверишь, Федя! — Антонина загадочно улыбнулась. — Кот!

— Как это — кот? — снова приподнялся с подушки Фёдор Иванович. — Какой кот?

— Ты лежи, лежи! — Антонина кинулась к нему и заставила лечь. — Лежи; рано тебе ещё...

Она присела на край кровати и взяла его за руку.

— Это, Фёдя, такой кот, который всем котам — кот, — заговорила она. — И как он с твоим Чапой сошёлся — ума не приложу: наши-то собаки, деревенские, его стороной обходят, и как можно дальше.

— Почему?

— А кто их знает? Они разве скажут? — Антонина улыбнулась. — А с Чапой у них... ну, не то, чтобы дружба, — какая уж дружба между котом и собакой?.. Хотя, может быть, и дружба: чего на белом свете не бывает. Ну, если уж и не дружба у них, то полное взаимопонимание; это я тебе верно скажу!

— И в чём оно выражается? — Фёдор Иванович был заинтригован: ну, Чапа! Надо же...

— А сядут рядышком почти, только Чук — это кота так зовут, — пояснила Антонина, — на лавочке возле калитки, а Чапа — напротив, на траве, — и смотрят друг на друга. Не всё время, конечно, смотрят, но в глаза друг другу подолгу засматриваются. Иногда то Чук что-нибудь буркнет — он мяукать не умеет, а бурчит всё чего-то, — то Чапа твой...

— Наш... — вставил Фёдор Иванович.

— Наш, наш, — Антонина светло, будто лучик из серого неба блеснул, улыбнулась и сжала его пальцы. — То Чапа наш чего-нибудь тихонько рыкнет... Так и разговаривают. Потом Чапа поднимется с травы, махнёт хвостом, гавкнет разок — и пошёл домой.

— Ты что, Тоня, сама это видела? — не поверил рассказу Антонины Фёдор Иванович. — Своими глазами?

— И я видела, и Верка эту картину наблюдала; мы уж с ней с неделю назад об этом говорили. Удивлялись ещё: надо же, кот с собакой разговаривают!

В сенях скрипнула дверь, и послышались тяжёлые шаги.

— Это Матвеич идёт, тебя навестить, — не поворачивая головы, определила Антонина. — Он давеча приходил, ещё утром; да ты спал, и я его не пустила...

Фёдор Иванович вдруг схватил её за руку.

— Тоня, послушай, что я хочу тебе сказать... — начал торопливо говорить он, но Антонина перебила его:

— Потом, Федя, потом! Подожди, вот Матвеич уйдёт, — и скажешь...

— Нет, я сейчас скажу! Ты только выслушай и не перебивай, пожалуйста!

— Ну, говори... — напряглась Антонина.

— Да нет, ты не бойся, Тоня: всё нормально! В общем, я, как поправлюсь, в Псков поеду...

— В Псков?

Антонина вздрогнула так, будто Фёдор Иванович её ударил — тяжело, наотмашь, со всей силы — и выдернула руку из его пальцев.

В сенях уже громко топал тяжёлыми сапогами Степан Матвеевич.

— Да нет, ты не поняла опять! — боясь не успеть, с отчаяньем и скороговоркой заговорил Фёдор Иванович. — Я не насовсем; я только ключи от квартиры Федьке отдам и на могилку к Галине заеду; и сразу — назад!

— Ключи? Какие ключи? — Антонина смотрела на него ничего не понимающими глазами.

— О, Господи! — простонал Фёдор Иванович. — Ну, ты и бестолковая, Тонька! Ключи Федь-

ке отдам от своей квартиры — и вернусь! Поняла? Зачем им с Людмилой по чужим углам мыкаться, да ещё и за бешеные деньги, если у меня квартира пустует? Ты знаешь, сколько у нас там в аренду жильё снять стоит?

— Ну... догадываюсь... — выдохнула из себя Антонина. — А ты... только за этим и собираешься ехать?

— Да зачем же ещё-то мне туда ехать, голова твоя садовая? — рассмеялся Фёдор Иванович. — Съезжу — и сразу назад, к тебе. И — навсегда... Если при-мешь, конечно...

Антонина порывисто прильнула к его груди, прижалась к ней крепко-крепко — словно боялась, что он сейчас встанет и уйдёт, и больше уже никогда, никогда к ней не вернётся... Потом подняла голову, посмотрела на Фёдора Ивановича сияющими от счастья карими глазами и наспех чмокнула его в губы.

— Приму, любимый... — прошептала она. — Уже приняла...

— Есть кто живой?

— Все живые; не дождёшься! — рассмеялась Антонина, вставая навстречу старику и наспех поправляя на голове сбившийся набок платок. — Проходи, Степан Матвеич, проходи; садись вон на диван: там помягче...

— Для моих костей теперь и гробовая доска — солома, — усмехнулся Степан Матвеевич, но на диван всё-таки сел, бережно поставив на пол между ног принесённое с собой лукошко.

— Ну, как ты тут, болящая твоя душа? — обратился он к Фёдору Ивановичу. — Скоро на выписку-то?

— Душа-то, Степан Матвеевич, у меня как раз и не болит, — улыбнулся Фёдор Иванович. Он бросил короткий взгляд на Антонину и добавил: — Вот как раз с душой-то у меня теперь всё в полном порядке!..

Антонина зарделась, опустила глаза и вышла из горницы.

Старик взгляд Фёдора Ивановича подметил, но заговорил о другом:

— Ну, коли с душой всё в порядке, то и тело скоро здоровым будет: это я, Иваныч, точно знаю. Я, брат, войну прошёл, да и так всякого в своей жизни навидался — во! — Степан Матвеевич поднял ладонь ко лбу, вроде как козырнул. — О чём это вы тут с Антониной говорили-то, когда я пришёл? Если не секрет, конечно... Может, я вам какой важный разговор перебил?

Фёдор Иванович засмеялся.

— Да ну, какой секрет! Мне Тоня... Антонина рассказывала, как Чапа мой... — он на мгновение запнулся, но тут же сам себя и поправил, — ... как наш Чапа дружбу с каким-то котом завёл. А мне вот что-то не верится, Степан Матвеевич. И что это за кот такой, который смог Чапе приглянуться? А другие собаки почему кота этого... как его?

— Чук, — подсказал Степан Матвеевич и серьёзно, без намёка на улыбку, кивнул головой.

— Да, Чук... Другие-то собаки чего его боятся? Кусается он, Чук этот, что ли?

— Куса-а-ается... — усмехнулся в ответ Степан Матвеевич. — Да ежели б он кусался!... Там, брат, такие клыки... — старик с восхищением покачал головой. — Как это Верка-то говорит... А, вот: «Ой, мама, не горюй!» Там, Иваныч, клыки — что там твоя рысь!

Степан Матвеевич засмеялся:

— А ты говоришь — кот! Этот кот, друг ты мой сердешный, всем котам — кот, — сам того не зная, повторил он слова Антонины; потом, кряхтя, тяжело поднялся с дивана и подошёл к Фёдору Ивановичу.

— Ну, ладно, про кота-то... Потом про него узнаешь: время у тебя для этого, думаю, теперь будет, и немало...

Сказал — и бросил на Фёдора Ивановича пытливым взгляд.

— Ты давай... это... выздоравливай побыстрее, — строго глядя Фёдору Ивановичу в глаза из-под косматых седых бровей, продолжил он. — Тут Афанасьевна травок своих тебе передать велела, — он кивнул на лукошко. — Не побрезгуй, Иваныч: хорошие травки, стоящие, и от всего сердца... Она и меня ими пользуется, и других всех, кому надо. И, как видишь, жив я ещё, не отравился!

Степан Матвеевич, было, рассмеялся, но тут же оборвал смех, поднялся с дивана и вдруг чинно, в пояс, поклонился.

— И спасибо тебе за старуху мою, Фёдор Иваныч: кабы не ты, был бы я уже один-одинёшенек...

— Да ладно, Степан Матвеевич... — смутился поклону старика Фёдор Иванович. — И не мне спасибо, а Чапе моему... нашему то есть: это его заслуга. А я бы, может, и не услышал, и не успел бы...

Он неожиданно отчётливо вспомнил свою бешеную гонку сквозь хлещущие по его лицу кусты, по следам Чапы. И вздрогнул, подумав: «А ведь и правда: если б не Чапин собачий слух, хрен бы я что услышал! И был бы сейчас Матвеевич вдовцом, на старости лет...»

Степан Матвеевич отвёл в сторону заблестевшие глаза и, махнув рукой, направился к порогу; в дверях обернулся и сказал:

— В общем, пошёл я... Некогда мне с тобой лясы точить да вместо сиделки у твоей койки сидеть: дел ещё — по горло. И баню ещё истопить надобно: сегодня, чай, суббота...

Он в нерешительности потоптался у двери, словно решая, говорить Фёдору Ивановичу что-то очень важное или не стоит; потом махнул рукой.

— Ты, Иваныч, давай, выздоравливай пошустрее, хотя бы к следующей-то бане. И приходи: попаримся всласть, полечимся заодно... А после бани — и того, может быть... ещё полечимся!

Фёдор Иванович вдруг явственно ощутил, как в его груди величавой волной растекается щемящее душу тепло, исходящее из приоткрывшейся на миг души старика. И улыбнулся...

Степан Матвеевич чуть усмехнулся в ответ на его улыбку и сказал:

— Я, мил человек, в свою баню не любого-всякого приглашаю, а только своих, нашенских. А ты теперь, сердцем чую — нашенский. И даже ежели ты когда потом уедешь отсюда, то вот это всё, — старик кивнул на окно, — навек в тебе останется. Поверь моему слову, Иваныч: навек! Я это по себе знаю; я, брат, пол-Европы, как в песне поётся, прошагал и на брюхе прополз, и всякое диво видал... Но снилось и грезилось только это...

И он снова кивнул на окно.

— Вот потому я так и говорю. И не токмо красота эта здешняя наша, а и всё, что ты здесь узнал и увидел, из сердца своего выкинуть ты уже не сможешь... Никогда...

— А я и не собираюсь, — сказал Фёдор Иванович.

И подмигнул старику.

Василий Киляков

Рассказы

БАЛАГУР

С неба упало три яблока:

Одно — тому, кто сказки сказывал,

Другое — тому, кто сказки написал,

А третье — тому, кто прочитал.

Тимофей Круглов женился рано.

Под стать себе облюбовал он в Рожнове скотницу Наташку — крепкую, разбитную, веселую. Молодожёны жили в новом брусом доме, ходили на праздники под руку, — как сказали бы рожновские жители, «под крендель».

Высокий, сухопарый, суетный Круглов от темна до темна стерег стадо, стрелял, как из ружья, конопляным кнутом с повивкой конского волоса.

За лето скотина выбивает выгоны. Осенью в поисках отавы Тимофей уходит далеко от села. Все ложбины, лесные куртинки пролезет, а овец накормит, напоит свежей водой.

Для Наташки осенняя пора — сущее наказание: чтобы отнести обед Тимофею, она долго ищет овечье стадо, бродит по оврагам и мелколесью в любую погоду.

— Тимоша! — кричит она, сложив ладони патрубком. — А-у!..

— Ого-го-о!.. — откликается Тимофей сиплым простуженным голосом.

Чапыжник царапает руки, цепляется за одежду, а Наташка, акая на ходу, спешит на голос.

Круглов радуется приходу жены, светлеет лицом, веселее покрикивает на овец, собирает их на поляну. Преклонив колени, с трудом разводит костер, чтобы согреться, просушить портянки, пообедать в тепле. А рядом усаживается Наташка, ногами вперед. Вынимает из сумки хлеб, чугуничик наваристых шей и крупитчатую кашу, — все это она раскладывает на клеенке, не торопясь, основательно, как дома.

— Пожуй со мною, — просит ее Тимофей, не спуская добрых ласковых глаз. — Ух, и хороши щи! Прямо объеденье! Со свежей капустой!

— Кушай, ешь вдосталь, а мало будет — еще принесу...

Наташка подкладывает Тимофею хлеб, думает свое... Сырой осенний ветер дует порывисто, треплет развешенные на рогатине портянки. Овцы, понутив головы, сбились в кучу. Небо грозит проливным дождем. Наталья обирает листья, падающие с куста на клеенку; окидывает взглядом из-под руки бесприютные дали и прерывисто вздыхает.

— Бросил бы ты пастушить, Тимоша, — говорит она тихим, вкрадчивым голосом, — бросил бы. Ишь, как у тебя в коленках скрипит от простуды. И от голоса отстал, на овец орамши. Перебирайся на ферму. Истопником. И тепло, и крыша над головой, и...

Тимофей делает вид, будто не слышит жены. Сороки, качаясь на ветвях, трещат отсыревшими головами. Круглов черпает из чугуна щи деревянной ложкой. С каким-то особенным наслаждением жует кашу. Наевшись, увязывает в белую тряпицу посуду, кости и крошки вываливает собакам.

— Никак это не выйдет, чтобы, к примеру, бросить, — нехотя говорит он. — Сердчишко прикипело к полям. Тут мне и воля, и доля. Пахом — я с ним еще подпаском начинал — так говаривал: на свободе-то хоть сам себе голову откуси — никто тебе слова не скажет.

— Пахом? Тот, что сказкам да байкам тебя выучил?

— Он. Эх, покойник и мастак был на сказки. Бывало, заведет, заведет — про все на свете забудешь.

— Да и ты горазд, — улыбается Наташка. — Настроился у него, навыв.

И, затаив потуже платок, Наташа просит сказочку. Круглов докуривает козью ножку. Затаивается глубоко, до дна легких. Начинает издали: «Жили-были дед да бабка, ели кашу с молоком».

— Раз сидят они на лавочке, рядышком, как голубки, как вот мы с тобой — такие-то. Только старые оба, лет им под сто. Старуха вдруг возьми и запой...

Тут Тимофей меняет голос и поёт тонюсенько, как могла бы петь только старуха:

Была б я лёгкой пташечкой,
Умела б я летать...

— А старик был дошлый, сумрачный. Посмотрел на свою супружницу и тоже запел:

Беззубая ты, старая...
Чем стала бы клевать?

Рассказывал Тимофей всегда с самым серьёзным лицом, с тоном лёгкого недоумения в голосе. Ждал, когда Наташка отсмеётся. И лицо, и движения его — всё было вкус и мера, и, может быть, поэтому Наташка чаще прежнего заливалась колокольчиком, запрокидывала голову.

Присказки, байки, пословицы и канавушки как-то скрашивали неуютность серого дня с низкими, тяжёлыми облаками, с облетевшими, продутыми насквозь кустами и сваявшейся по низинам блеклой травой-отавой. Наговорившись вдосталь, с веселым сердцем и чувством облегчения Тимофей вскидывал кнут, сухо стрелял им, выгоняя овец на свежую поляну. А Наташка спешила на ферму, додумывая на ходу рассказанное мужем...

Так жили они в мире и согласии лет двадцать — двадцать пять. Души друг в друге не чаяли. Но вот как-то пришло из города письмо от дочери: что-то не ладилось у неё там. Прочитали и решили: надо ехать. И уехала Наталья в город. Тимофей остался один как перст — смотреть за скотиной, беречь дом. Да вот только задержалась что-то в городе Наташка. Все писала Тимофею длинные письма, обещала вот-вот вернуться, а не ехала. Затужил Круглов, загоревал по своей «сударушке». Раз даже собрался вслед за женой. Сложил пожитки, крест-накрест заколотил окна... Да что-то раздумал. А может быть, новое письмо в прах разбило его намерение. А время шло...

Вот в такую-то плохую его пору я и застал пастуха, приехав однажды в Рожново. Было это ранней весной. Повстречались мы на задворках. Шёл он тихой походкой усталого, пожившего человека. Одет был домовито, чисто: на ногах крепкие яловые сапоги с ушками, на плечах — дублёный полушубок мехом внутрь; сам простоволос. Но как-то по особенному смотрели теперь его глаза. Не грустно, нет, а как-то просто, мирно. И горькие морщины углубились у рта.

— На почту ходил? — спросил я.

— А то куда же! — с грустной готовностью ответил он и посмотрел пристально. — Ты чей же, не угадаю?

Я назвал.

— Без жены-то дом — сирота, — продолжал Тимофей.

Я посоветовал ему вызвать сюда всю семью.

— Куда там, — слабо махнул он рукой, — и слушать не хотят. Сказано: жена — солнце, а дети... Эх-ма, дети — это... звезды. Так и живу, как обсевок какой. А я ведь поболтать люблю, рассказать что ни то.

— Сказки, я слышал, сказываешь?

— Сказки-то? Как же, сказываю мужикам нашим. Они ко мне чуть не каждый вечер валом валят. Приходи и ты, авось не соскучишься.

Освободившись от дневных забот, я дождался сумерек. Совсем стемнело, когда я шел к Тимофею. По улице брехали собаки, а у клуба, на ярко освещенной из окон проталинке с визгом и гиканьем тусовалась молодежь. Играл баян, звенела, точно бубен, гитара.

Я свернул вправо, к дому Круглова. Лишь отворил дверь — в лицо пахнуло теплом березовых дров, тем приятным, с детства знакомым запахом каленых поленьев. Хозяин сидел на пятках перед грубкой — невысокой маленькой печью для обогрева горницы, — сидел и помешивал кочережкой в топке. Низко светила лампочка. От грубки вдоль стены висели мокрые рубахи, носки, порты. Кочерёжка тихо позванивала об угли, дрова с шипением рассыпались.

Не успели мы перекинуться двумя-тремя словами, как вдруг протяжно взвизгнула и хлопнула дверь, и с крепким топотом добротной обуви в избу ввалились рожновские мужики, из тех, что любят послушать байки.

— Вечор добрый! Как живём-можем? — спрашивали они вразнобой. Сами вольно и широко занимали лавки. И по всему: по тому, как садились они, не спрашиваясь, как закуривали, как говорили — тотчас было видно, что они тут завсегда.

— Живём! — сразу повеселев, отвечал Круглов. — Жи-вё-м! Хлеб с салом жуём. Приход ваш к счастью...

— Дома сидели-сидели — скука смертная, тоска зеленая. Приперлись вот, чай, не последние...

— А я у бабы своей просил на поллитровку, — говорил широколицый ноздрястый мужик. — Просил просил — не дала. Иди, отвечает, к Тимохе сказки послушай, авось поумнеешь.

Общий смех заглушил его последние слова.

— Милое дело! — блеснул глазами Круглов. — А тебе бы, Никодимка, все вино да домино. Ну, так. Грубка нагрелась, сейчас и тепло пойдет.

— Давай-давай, начинай, — торопил Башлыков, — за тем и шли.

Это был высокий плотный мужик, широкий и важный, в клетчатой канареечного цвета рубахе. Он сразу уселся прочно, точно на века, подпирая плечами стену. Я исподтишка обвел глазами собравшихся и тотчас понял: он тут за старшего.

— Вали, Тимоха!

— Согрелись!

— Начинай.

— На море-океане, на острове Буяне лежит бык печёный. В одном боку нож точёный, в другом — чеснок толчёный. Знай помалкивай да кушай, да мой побаски слушай...

Голос Тимофея, глуховатый, чуть с сипотцой, все понижался, переходя почти на шепот. И надо было видеть, слышать, а главное — чувствовать Тимофея в ту минуту. Он как бы оживал, весь преображался, исподволь додумывая что-то, шурился на слушателей, словно по лицам и фигурам схватывал их настроение

и согласно с этим настроением отыскивал в своей памяти нужное слово.

— В некотором царстве, в ненашем государстве, жил-был лесник, звали его Иваном. Раз пошел лесник в обход поглядеть, нет ли где порубки, порчи или озорства какого. Шёл он, шёл, а уж смеркаться стало. Крупный дождик начал шелкать Ивана в лицо. Ветер поднялся сильный-пресильный, лес гудит, аки в бочке, елки ходуном ходят, скрипят, веткой об ветку стучат... Жутко стало Ивану, страшно, а до дому еще далеко-далече. Тут и темень нагрянула. Ну, идет лесник, задумался, об жене соскучился. А жена у него красавица, высокая да черноглазая, словом, пух в атласе. Тут показалось Ивану, будто бы он заблудился. «Что же это я, такой-сякой, собак с собой не взял, авось не скучно бы было!» А молонья так и жгёт, так и жгёт, озаряет дорогу, как днем. Гром как вдарит, и раскатилось окрест по всему лесу. Еще больше струхнул Иван, чует: сердце дрожит, как овечьий хвост...

Мужики нетерпеливо завозились на скамейке. Расстегивали телогрейки, стаскивали куртки, шапки. Круглов нарочно делает паузу, «подпускает». Искоса взглядывает на мужиков. Взглянет и молчит.

— Чтой-то я не пойму, Тимоха, сказку ты сказываешь ай правду? — проговорил Никодим, раздеваясь до рубахи и закуривая верченку. — Похоже, сказку?

— Да ты слушай, не перебивай. — Башлыков строго глянул на Никодима. — Вечно ты поперек дороги, ей-богу.

— Идёт Иван опушкой, — снижая голос, продолжал Круглов, — идёт поляной, и видит метрах в пяти высокую сосну. Та сосна без вершинки. И ни веточки тебе, ни сучочка — все как есть грозой спалило. Лесник смотрит, до-олго смотрел — что такое? Тут не было дерева без вершинки. Глядь, откуда ни возьмись, на самом верху показалась большущая змея, кажись, в человеческого рост. Обжала сосну. Сидит помалкивает. Иван так и обмер. Однако снимает с плеча ружье, вскидывает, кричит: «Ах ты злодейка, а ну, слазь оттэда!»

Гаркнул он так-то, и сам не рад. Трясется, метится змее в голову, курок пальчиком потрогивает. «Счас, — думает, — я тебя дуплетом смажу, слетишь, как милая». И вдруг слышит: «Ш-ш-ш», — змея зашипела, как гусак. Да... Зашипела и говорит бабьим языком тонюсеньким и острым, как бритва: «Не стреляй мене, Иван Демьяныч, я тебе пригожусь». Собрался с духом Иван, отвечает: «А что ты мне дашь?» Сам все метится в голову, молитвы шепчет: «Запираючи врата спасительной рукой...» Слазь оттэда! Знай наших рожновских, да не путай с осиновскими!.. «Печать Христа, печать Божьей матери...» Слазь! Храбрая, значит?!» Змея видит, что дело серьезное: уколошит лесник с испугу. Отвечает ласково-преласково, как шшекотливая бабёнка: «Коли хочешь злата-серебра, видимо-невидимо дам. Сколько

дотащишь». Иван Демьяныч наострил уши топориком и начал умишком раскидывать: на кой ляд ему это серебро? Куда его сплавить? Милиция узнает, пронюхает это дело и отправит в Колым-край. В сельмаге Нюрка-продащица только медные деньги берёт, а их не утащишь много. Задача!

Акулина, жена его, жадная-прежадная была. Ей сколько с получки ни отдай — всё в чулок прячет, а бабий чулок, известно, сроду не наполнишь, потому как вытягивается. Иван умишком был туговат, стоял, скреб в голове, думал...

«А хочешь все знать? — это снова ему, дураку, змея-то шипит. — Все будешь знать, что только не пожелаешь». Иван опять зачесался — плохо до него доходило, через ноги. Ну, однако, кричит: «Я согласный, чтоб все знать!» — «Да ты опусти, дурень, ружье-то, положи на плечо, — усталым голосом толковала змея. — Убери ружьё и ступай себе с Богом. Да смотри в оба! О нашем уговоре не разбреши кому-либо. Ни гу-гу! Помни же! Коли тайну раскроешь, тут и помрешь в одночасье. Особенно Акульки своей остерегайся, дюже она любопытная...» — «Ладно-ладно, знаю я свою Акульку. Вот учит жить».

Тут молонья как жиганет — и ослепила лесника. Поднялся ветер, прямо буря! Иван проморгался, протер глаза, глядь-поглядь, а змеи как и не бывало, след простыл. «Ну, уползла и уползла, ляд с тобою, — думает Иван. — Не больно и нужна была. Как-нибудь дотащусь до дому. Вон и тропа приметная». Пошел он ходко, дай Бог ноги, а все оглядывается: нет ли змеи за ним. «А дай-ка я загадаю, — проговорил он вслух, — что такое мне Акулина на ужин сварганила?» И только он это молвил, рванул ветер, вздыбил ветки на деревьях. Молодая осинка склонилась к Ивану и нашёптывает: «Акулина заварила тебе похлёбку из требухи, да замешкалась и пересолила. А сосед Николай расселся на лавке твоей под иконами, как фон-барон, и хохочет. Акулина тоже смеется. «Муж мой, — говорит, — неотеса, пень дремучий, дурак косоногий, сожрёт и пересоленную. Не мил он мне, не люб...» Никола, сосед, вьется вокруг нее व्यюном, любовные слова толкует, всё целуются да милуются...» «Хватит, — крикнул Иван, — достаточно». И еще шире зашагал к дому.

Мужики захохотали все враз. Тимофей помолчал строго, затянулся дымом.

— А дальше-то? — добирался до клубнички Никодим, мужик ревнивый и злой на свою прекрасную половину. — Я б ее, стерву, поучил по-русски за такие амуры. Я б ей быстро подол на голове завязал!

Тимофей, пуская струями дым, пряча улыбку, продолжал:

— Пришел Иванушка домой, стучит.. Николка услышал, и — шась в окно. Акулина отворила дверь, пустила Ивана, помалкивает. «Ты что, такая-сякая немзанная, похлебку-то пересолила? Что я буду есть? А Николай где? Что тут делал? По какому такому праву он к тебе шляется? Отвечай, криво-зуб-

бая!» А жена: «Да ты попробуй похлебку-то. Откуда известно, что пересолёная?! И какой Николай? Никакого Николая слыхом не слыхивала, видом не видывала!» Сама руки в боки уперла, бровями двигает. «Брешешь, — наступает на нее Иван, — я твои шашни знаю! И куда сало прячешь — знаю, и сколько денег заначиваешь — про все мне теперь доподлинно известно!» Тут Иван сунул руку под матрац, достал капроновый чулок с ассигнациями и потряс им над головой.

Акулина, баба грудастая, с горкой нечёсанных на макушке волос, трясет подолом, нахально играет скулами: не знаю, мол, про что толкуешь, а деньги на черный день берегу... Ну, однако, поорали, пола-ялись, угомонились. Акулина ночь не спит, все думает: «Откуда муж про все дела знает?» И захотелось ей пуше всего на свете узнать тот секрет. Стала она приставать к леснику, выведывать да вынюхивать, правдами и неправдами, лестью и лаской, так и эдак, — лесник знай себе помалкивает, рот на крючок. И вот раз Акулина нарядилась, как на праздник, завязала в узел все свои платья-наряды и говорит так грустно-прегрустно: «Ухожу от тебя, милёнок, куда глазоньки глядят. Люблю тебя пуше жизни, а придется покинуть. Не веришь ты мне, не говоришь тайны, и сердце твое закрыто для меня навек». Да... Сказала так-то и стоит, ждет. «Да пойми ты, дура баба, не могу, зарок дал!» Лесник был смирный и любил свою Акулину несусветно. «Нет, муженек, прощай!»

Затужил Иван: что как и впрямь покинет? Плохо ли, хорошо ли, а жили до сих пор. «Нет, — думает, — отпущать из дому бабу не след. Может, еще и смилуется надо мной змея-то...»

Пошел он в сельмаг, попросил у Нюрки чутушку водки, хлебнул корец, а зажевать — ничуть не зажевал, только хлебушка понюхал. Дома и говорит жене: «Знай, Акуля, помру я, коли секрет раскрою». А Акулина страсть какая любопытная была, дерзкая да напористая. Отвечает — уши режет: «Говори, косоногий, в последний раз прошу. Узелок готов; юбки, платья и платки — все тут, все забрала. Пойду искать счастья по белу свету, авось полюбит кто-нибудь и меня, горемычную!» И заплакала, запричитала...

«Эх, головушка моя горькая, судьбина лютая. Делать нечего, надо рассказывать, — прошептала Иван. — Дай мне, жена, хоть в банешку сходить, исподнее сменить да в гроб лечь». А та и рада-радешенька. Приготовила Ивану белые тапочки, исподнее из сундука. Приоделся Иван, приготовился к смерти. Лег в стотовленный загодя гроб, руки косым крестом сложил.

— От так от, — Тимофей показал, как лежал в гробу Иван, — и поглядывает на Акулину, глазами хлоп-хлоп.

Акулька слезы притворные вытерла, села в возглавии, ушки на макушке, харю скосоротила, губки крашенные сердечком сложила...

— От стерва! Надо же! — сжал кулаки Семён Балков, мужик молодой, красивый какой-то цыганской красотой. — Все приготовила?

— Ну да, все как есть. Села и ждет. Все чин-чином: и штаны черные, и руки Иван вот так вот сложил...

Тимофей и тут бил не в бровь, а в глаз. Он показал, как у лесника были сложены руки; косая нога в белом тапочке выкинута из гроба, а глаза скорбные-скорбные, — все он примерил, как это было.

— Да... Лежит Иван в гробовой колоде и думает... А помирать-то кому же охота. Как ни горька житуха, а все лучше, чем на том свете. К тому же помирать из-за пустяков, из-за бабьего любопытства — последнее дело. «Ну, слушай, — говорит он Акулине, — двум смертям не бывать, а одной не миновать». А дверь вдруг возьми да распахнись от ветра. И ввалились в избу куры. Петух квохчет, не пускает их от порога. Одна наседка, белая такая с подпалинами, шагнула было дальше, петух — раз! — ее в темя клюнул. Иван поднял голову с подушки, смо-отрит, долго смотрел. И говорит своей бабе: «Глянь-ка, садовая голова! Петух, и тот хозяин на птичьем дворе, порядок в курином семействе наводит. А я тут кто? Можешь ты мне ответить? Чего рот-то раззявила?» — и с этими словами выскочил из гроба, хватя Акулину в охапку и давай ее вместо себя в колоду тискать. Толкает он в гроб Акульку, а сам нашептывает: «Змея, а змея, все ли я так делаю, все ли ладно?» А она ему шипит в ухо: «Так, Иван Демьяныч, так ее распротак! Жми, дави ее пуше прежнего, лучше любить будет». Акулина орет дурным голосом: «Ой, Ванюша! Отпусти ты мене за ради Бога! Открой крышку, дай воздуха глотнуть. Сало на чердаке под вениками, деньги в чуланчике — сам знаешь. Возьми сколько хочешь, хоть все. Ой, помру-задохнусь. А Николку и на дух к себе не подпущу. Ой, пусти! Пусти же, тут тесно!»

Мужики засмеялись:

- Молодец Иван, проучил Акульку.
- Молодец, чего там!
- Хват-парень!

Тимофей продолжал невозмутимо:

— Жалко стало Ивану, хоть и заполошная баба Акулина, а сердцем присох к ней. Открыл он крышку; выходи, говорит, выходи, да будь человеком. Акулина полезла к нему на грудь. Целует, милует, прости, мол, муженек, меня неразумную. И стали они жить да поживать и добра наживать. Я разок пришел повидаться, они зачали целоваться, а в другой раз забрел погреться, они начали... Всё...

— Всё? — удивился Никодим. — Ай да ловко! У меня теща такая-то: любопытная — ужас! А язык — это не язык, а нож острый.

Посидели в молчании минуту-другую. Тимофей пошевеливал кочережкой в грубке, собирал в горку жар — рдяные угольки. Чувствовалось, что не всех помяла его сказка.

— А то вот ещё, — сказал он и подsunул дымящуюся кочергу в колосник. — Мне Пахом рассказывал, давно это было... В одной жаркой-прежаркой стране жил-был принц-султан-хан. И был он знатен и богат. Денег — куры не клевали.

— Много, значит, денег-то было? — съязвил Никодим.

— Ну, толкую же: куры не клюют. Ты слушай, не перебивай. Ага... Так вот. Принц этот овдовел рано и жил один, как вот я теперь такой-то. Дочка, правда, с ним была. Они, жены-то, были, конечно, только не настоящие, а так себе, из гарема, мамочки. А что в них толку? С одной день поиграет, с другой ночь... Сорок штук их было! Одна к одной — все красавицы писанные, а все не то. Дело у принца шло к старости, белый день — к вечеру. А старому человеку, известно, девки не к рукам, хуже, чем варежка на ноге. Дочка же была от жены, хоть и некрасивая, а любил ее принц пуше жизни: была она схожа и лицом и сердцем на покойную свою матушку. Принц подыскал ей жениха знатного рода, богатого — словом, голубых кровей. Вот. Покалякали они на своем языке, наметили срок свадьбы, тут дочь возьми и заболит. В горле у нее что-то хрипело на разные голоса, а потом и вовсе перестала говорить, онемела, горемычная.

День ото дня хуже и хуже становилось дочери принца. И ни слова сказать, ни поесть, ни попить — хоть плачь. Принц согнал всех своих докторов на консилиум, ан не тут-то было: поглядят, обступят, общупают, с места на место поваляют, а в чем дело — никак в толк не возьмут. Одне твердят — рак, другие — чахотка. Осерчал на них принц, заорал благим матом: «Слуги, всех докторов в тигулёвку, в холодную! Пушай там подумают!» Докторов повязали по рукам, по ногам, в кутузку повалили. А толку что? Дочка-то болеет, вот-вот помрет...

Раз вечером слышит принц песню — не песню, стих — не стих, а так, орет какой-то архаровец во всю ивановскую: «Травушкой-муравушкой да полынью-матушкой, хной и хиной все недуги лечу!» Тянет так-то, а сам из наших краев, русский. И жарыща ему — страсть! Разомлел, запотел, взмок сердешный. Услыхал принц, посылает слуг: «А позвать сюда лекаря! Я с ним сам потолкую!» Притащили мужика силой-неволей, толкнули взашей, поставили перед султан-ханом на колени. Тот и спрашивает: «Ты откуда такой молодец мужичок сюда выискался? Что умеешь? Чего орешь?» — «Я, — отвечает знахарь, — из тридевятого государства. Лечу людей колодезной водой, дурной глаз и болезни снимаю. Да вот дюже жарко тут у вас...» — «А можешь ты, сукин сын, мою дочку от гибели спасти? Коли поправится — оженю тебя на ней, и вся моя власть — твоя власть, и гарем в придачу. А не вылечишь — вот секира, вот мой меч, твоя голова — с плеч. У меня не заржавеет!» Знахарь враз похолодел, точно на него ушат воды вылили, стоит перед принцем ни жив ни мертв от страха. Стоит и

так кумекает себе: «Зачем же я, дубина стоеросовая, орал так громко, надо бы потише. Как я ее вылечу, чем? Ох ты, Боже мой». Думает, а сам все поглядывает на принцеву охрану, на дверь — как бы деру дать...

Тут Круглов примолк, выждал время, снова закурил и скользнул взглядом по лицам мужиков. Те сидели широко, смолили много; дым к потолку — коромыслом. У Башлыкова даже губа отвалилась, ждет, что с лекарем будет. Никодим всем корпусом откинулся к стене; один локоть на подоконнике, другой — подпирает колено.

— Думал он, думал, — продолжал Тимофей, — прышш-то этот, знахарь-то, и решил: «Или грудь в крестах, или голова в кустах... Эх, помирать, так с шумом, с треском!» Пробубнил: «Богородица, дева, радуйся...», и спрашивает принца, нахально раздувая ноздри: «А можно мне на вашу дочку глаз положить, обсмотреть то есть?» А принц ему: «Отчего же нельзя! Очень можно. Дочка там, в палатах. А у тебя, знахарь, шея крепкая ли?» — «Прикажете всем удалиться из покоев, а меня в её апартаменты допустить. Счас я её вылечу...»

— Это куда же он рвётся-то? К принцессе? — удивился Вадим Соколов. — Ну, Тимоха, загнул-ул!

— Вот чудак-человек, не верит! — тонким голосом воскликнул Круглов и плутовски подмигнул остальным. — Она же с постели не вставала, отошала. Ни встать ей, ни сесть, ни понагнуться — ровно аршин проглотила. Ты гляди, что дальше-то будет, не перебивай, а то осерчаю.

— Ну-ну, вали доказывай. Слушать буду.

— Закрыв знахарь дверь за собою, поглядел на принцессу зверскими глазищами, засучил рукава по локоть и полез к её лицу. Она смотрит на него, с испугу-то рот перекосила; глаза запухли — не моргнёт, красные, как у селедки в нашем сельмаге... Хотела вскочить — ноги не шевелятся. Лицо желтое, зеленое, зубы большие — словом, мертвое тело и больше ничего. Знахарь как зарычит на нее: «Из-за тебя пр-ропадаю, стер-рва!» — цап ее за горловик и давай мять-приговаривать. Принцесса-то с испугу совладать с собой не может, рвется, бьется, наконец, того, как завизжит на своем языке: «Помогите! Караул!» И только она вскрикнула, услышала свой голос, зарыдала от радости. Шутка ли: вовсе немая была, под себя ходила, а тут заорала. Слуги сбежались с секирами наголо. Явился султан-хан, все рады-радешеньки. Принцесса руки у знахаря целует, доктором его величает. А какой он доктор, самый что ни на есть плут и обманщик. «Вот какая удача тебе, Иван! — думает знахарь. — Взяла да и вскрикнула. Теперь и голова моя будет цела. Вовсе молчала, а тут залопотала. Вот счастье-то!» — «Эй, слуги! — крикнул принц. — Повелеваю на стол вино-закуску ставить. Угостить на славу добра молодца. Он устал и хочет вина попить. Ты, лекарь, покушай, отдохни малость — на тебе лица нет». А знахарь, хоть беда и стороной прошла, все еще успокоиться

не может, все поджilочки у него говорят от страха. Сел он рядом с принцем за стол, пьет вино, ест шашлык. А еще жарче стало, страсть какой зной навалился. С него пот кап, кап на скатерть. Выбирает знахарь, что покрепче да позабористей. Вина и закуски видимо-невидимо. Он глазами хлоп-хлоп, стаканами чайными дорогое вино дует. Слуги вокруг стола винтом ходят, снуют, тащат то одно, то другое. Пригласили танцовщиц. Девки молодые, босиком, одна к одной, как вишенки, все поют, танцы живота танцуют. Гарем это по-персидски, а по-русски — бардак... Кхе...

Круглов притворно закашлялся, повел глазами на самого придирчивого слушателя, Соколова.

— Так распротак-то! Меня там не было! — неожиданно для всех пробасил вдруг Башмаков.

Все обернулись к нему. Он что, сдурел, что ли? Это же сказка, а проще говоря — выдумка.

— Меня там не было! Вот бы затесаться! И водка была?

— А то как же! — не моргнув, соврал Тимофей, довольный, что пробрало-таки мужиков и «кипишу» не миновать-стать. Засмеялся. — А то как же! И водка, — повторил он, — чистая, как божья слеза. И это еще, вот... шимпанское. Иван им ром запивал.

— И закусь? — спросил Никодим, жадный до еды; без доброй закуски он даже в мастерской не пил.

— И закусь на ять! Шашлык, холодец рыбный со шурьюбу — все чин-чином!

Тимофей подумал минуту-другую, помолчал, трогая рукой губы, чтобы не рассмеяться; «Это вам не наш брат. Принц, он принц и есть».

И мужики закипели кипнем. Стягивали с себя шапки, телогрейки, распахивали воротники рубаш. И хотя дома сказали, что идут к Тимофею «погусторить часок», — перекорам не было конца, добрались до истины. Сенька Колышкин не мог понять главного; откуда в жаркой стране взялась русская горькая, шампанское и шурьяба...

— Профан! Дуралей! — орал Сеньке в ухо Башмаков. — Бестолочь! Ты газеты читаешь ай нет? Мы же торгуем со всеми странами!..

— Да это когда было-то! Когда! Подумай!

Круглов нарочно подпустил и русскую водку, и шурьюбу, которую любил до страсти. Мужикам многое было непонятно. Никодим схватил Башмакова за рукав, их уговаривали расстаться, в конце концов усадили по разным концам скамьи. Между тем Тимофей смаковал, додумывал. Выдумщик, он знал, что ссоре не быть, и терпеливо ждал, когда мужики утихнут, «перегорят».

— Водку в этих странах не пьют, — заключил Никодим. — Там жарница — страшное дело! С похмелья морда треснет. Голова треснет, как арбуз.

— И я про то же! — согласился Ванька, отирая с раскрасневшегося лица пот. — Дураку ясно; там сухое жрут, кислятину эту. Я раз искал-искал водку с

получки, и туда и сюда, и у Нюрки клянчил — нету, хоть ложись и помирай. Нюрка говорит — жри сухое, я и начал лакать прямо из горлышка; вода водой. С полведра выпил, ни в одном глазу. Пришел домой, баба рада-радешенька: с получки, а трезвый. А меня так и мутит, так и крутит с кислятины, кишка на кишку войной пошла.

— Да будет вам, архаровцы, — урезонивал Башлыков, мужик степенный, не курящий, не пьющий. — Далась вам эта водка. Дайте досказать человеку. Вали, Тимоха, толкуй. Чем дело-то кончилось? Не сипи, Никодимка, слушай! Сядь, сядь! Ну чего ты окрылся?

— Правда, чего ты, Никодим, взбеленился-то? Пришел слушать — сиди, — мужики свалили все на Никодима и уgomонились-таки.

— Сидит знахарь за столом, жует так, что за ушами трещить и в брюхе пищать, — продолжал Тимофей байку. — И так нагрузился, напоролся, рассолодел, что чуть не уснул за столом. Растолкали его. Поднял он головушку буйную, глянул прынцу в лицо и говорит со смелостью пьяного: «Пойду я домой! Погудели хорошо, пора и честь знать. Меня дома жинка ждет. Она у меня строгая, сгоряча может скорородником зашибить, очень даже просто». — «Куда? А свадьба? А наш уговор? Завтра же оженю тебя на дочке! В стыд-позор не вводи меня своим отказом». — Это султан-хан-то Ивану толкует. «Не хочу я на ней жениться, не глянулась она мне. Моя Марютка лучше...» Как услышал те слова султан-хан, озлился, ажник скосоротился и с лица пропал: «Моя дочка первая красавица! Ее богатый человек сватал. Ты что, дурак?!» — «Никакая она не красавица, — это знахарь с пьяных глаз отвечает. — У ей ни рожи, ни кожи, ни сзади, не спереди — словно доска, подержаться не за что! И лицом черна, чернее сажи, аж сияняя малость...» Султан-хана затрясло со злобы: «Я тебя, су-укина сына, в тюрьме сгною! Эй, стража, связать лекаря, бросить в яму, пусть там проспится. Вон отсюда, пьяная харя!» Иван очухался, почуял беду; по коридору бежала свита. Он, не раздумывая, шмырк в окно да и был таков, Митькой, как говорят, звали...

— Неужто убежал?

— Ушел?

— За милую душу ушел! — ответил Тимофей кротко. Подошел к окну — было темным-темно.

— Вишь вот, молодец этот знахарь, — говорил Никодим. — Пьян-пьян, а усек, что дело керосином пахнет.

— Что же у ей в горле-то было? — спросил Тихон, высокий, горбоносый, с большим кадыком, сидевший до этого молча и прямо.

— Что было-то? А бог ее знает... Лихоманка какая-то, а может, и рак.

— А кто слушает, тот дурак, — вставил Соколов.

— Да ведь это все неправда? А? Враки? Ну, Тимоха, горазд же ты на байки, ей-ей, горазд!

— Сказка ложь, и я то ж. — Круглов улыбнулся мило и виновато.

В доме сделалось еще веселей, теплей и уютней. Тимофей все подкидывал березовые поленца в огонь. Сидел он на корточках вполоборота к печи, словно грелся не от нее, а от людского общества, так любимого им. Перевалило за полночь, кое-кто позевывал, но странное дело: ни один даже и не заикнулся о глубокой ночи, о том, что завтра с рассветом на работы.

Пересудам не было конца-краю. И, как это всегда бывает в теплой мужской компании, не упустили из виду и женщин. Никодим, вспоминая гарем, допекал Тимофея вопросами... Женька Комов заинтересовался болезнью принцессы.

— А что, всяко бывает, — говорил он. — Я одно-ва так-то ходил-ходил по докторам с шишкой на носу. Посмотрят, пощупают, — пройдет, — говорят. Это, мол, жировик. Прописали примочки — и все. Я им: мне срам с шишкой на носу, как у алжирского бея. Пришел домой, ногтями выдавил, водкой прижег — как рукой сняло. Так-то, верно, и знахарь этот: он ей, прынцессе-то, горловик размял, она с испугу-то гаркнула, у ей все гноем и вышло. Так, Тимоха?

— Так, так... А то как же!

— А я раз в райцентр наладился гусей продавать, — рассказывал Соколов. — Села ко мне в телегу девка молодая, горделивая, городская, как видно. Штанцы кофейного цвета, брови наведены черным, знаете, с изломом. То да се, шире-дале, я гляжу на ее одежды, смеюсь. Она мне: «Чего зубы скалишь?» — «Больно уж, отвечаю, штанцы широки... Я в моряхах такие нашивал...»

— Погодите, братцы, — умолял Комков, — дайте еще послушать! Тимох, а Тимох, расскажи на сон грядущий какую-нито быть али событие. А то верится и не верится... Расскажи, а то моя баба придет, по шее наkostenяет. Я ведь украдкой к тебе...

— Что ж, был так был. Да ведь опять не поверите, черти полосатые.

— Поверим!

— Сказывай.

— Давай!

— Давным-давно это было. В нашей деревне жил-был поп Онуфрий. Жаден до крайности. А братья Гришановы — одного звали Валетом, а другого Победимом — такие были прожженные сукины дети, что все их боялись. Они так и заявляли о себе: «Мы, Валет и Победим, усеx людей поедим!» На испуг брали, на пушку — таковские ухорезы. Бывало, работники в отхожий промысел наладятся, топоры под ремень — и айда по чужим местам деньгу заколачивать. Валет и Победим — тоже для видимости берутся за топоры. Пошущукаются промеж себя и пойдут шаркать по церквам, по амбарам да клетям. В избу чужую задуться — это для них плевое дело, самый что ни на есть для них вкус... Рожновские, ко-

нечно, догадывались, что Гришановы промышляют не плотницкими делами, а помалкивали, боялись. Пахом раз видел их обоих в лесу, с топориками, с базара кого-то поджидали. «Иду, — Пахом рассказывал, — бреду лесом, а они под кустом устроились кошку распивать. Здорово, мол, Пахом! А сами топориками поигрывают, по сторонам поглядывают. Поскорее, говорят, проходи, мешаешь нам дерево брать». А Пахом гол как сокол, что с него взять. Они его и не тронули.

Деньга у Гришановых водилась несметная, черная, не трудовая. Перепьются, бывало, и промеж себя драку затеют для потехи. Как начнут дубасить друг дружку, мужики кинутся разнимать, а Гришановы только того и ждут; оба кинутся на чужаков, смертным боем их бьют, да все с выкриками: «Бей своих, чтоб чужие боялись!» Прощелыги были ужасные, рожновским от них тошно было.

И вот как-то пришли братья с промысла при деньгах, напоили мужиков, а те и рады-радешеньки на дармовщинку... Ну, то да се, разбалакались, разговорились и вспомнили про попа Онуфрия. Кто-то из мужиков возьми да и сболтни, что у попа золотишко в подполе зарыто. Валет подмигнул Победиму, Победим Валету, и говорят друг другу по фене, чтобы другие не поняли:

— Фи-па, фи-ше, фи-ба, фи-ршим?

Что значит: пошебаршим это дело, обстреляем, брат дорогой?

Смикитили. Уши навестили, подливают мужикам, слушают. Посидели, покурили и пошли. По дороге толкуют: «Надо пощекотать духовного отца. Чем на чужой стороне куш ловить, лучше тут все хорошо устроить». Разговаривая так на тарабарском языке, приготовили они вагу, лопату, все чин-чином, и ночи дождались. А дело было перед Пасхой, тьма — хоть глаза коли. Подошли они к поповскому дому, зырк, зырк — кругом ни души. Подвели вагу под нижний венец, навалились, домкратик подставили под сруб, приподняли угол. Валет и говорит брату: «Лезь и копай в правой стороне, под печкой». Победим снял с себя поддевку и шмыг в подпол. А Валет наблюдает, караулит за углом...

— На стреме! На шухере!.. Это клюквенники, Тимоха, — те, что духовных отцов грабят или церковь. Среди воров это самое последнее дело. Вот если бы их взяли и посадили, им там свои спасибо не сказали бы, нет, — перебил Тимофея Никодим. На него зашикали: тише, мол, не встревай.

— Караулит-то караулит, а в потемках и не заметил, что гнилое бревно вдавилось в домкрат, угол осел, и от лаза только щелочка осталась. Видит Валет свет из подпола, только хотел глянуть на братца, нагнулся и обомлел: как вылезет теперь Победим? А силенкой оба были жидки, но бесовски хитры и ловки. Начал было Валет работать вагой, домкратом... Куда там! И плюнул, и затрясся от злобы: «Мать-перемать!» Что теперь делать? Вот-вот про-

снется поп, или люди пойдут в церковь и враз накроют. Победим так увлекся, что не заметил закрытого лаза, копает и копает. «Победим, — шепчет ему Валет, — слухай сюда! Рвем когти! Ободняться стало, влипнем!» — «Не трусь, держи харю по ветру, — тот-то ему отвечает из подпола. — Я прокопаю дыру лопатой, как-нибудь выйду». — «Тебя увидят! Вон бабы гремят ведрами у колодца, голоса слышу...» — «Ну иди, гад такой, иди... Испугался, в штаны напустил. Ступай домой, я один справлюсь».

Свеча горела слабо, ветер задувал пламя. Победим то и дело зажигал свечу, принимался копать во всех углах. «Обманули мужики, — подумалось ему, — или я копаю не там? Да и откуда им знать? Мужики ввали, а мы уши развесили, дураки...» Сел Победим на кадку с квасом, затушил, загоревал. «Как выбраться из подпола? — думает он, покуривает. — Видно, попал я в ловушку, придется ответ держать». Думал-думал и придумал. Попил из бочки кваску, опрокинул наземь; сам разделся донага и давай в грязной жиже валяться. Отвозился — мать родная не узнает. «Ну, теперь-то прорвусь, — так шепчет себе. — Главное выбраться, а огородами проскочить — минутное дело». Постучал Победим лопатой из подпола, слышит: «Свят, свят, свят», — отец Онуфрий молится. «Мать, а мать, — будит поп попадью. — Мать, открой подпол, никак кто-то стучится». — «Бог с тобою, батюшка! — взмолилась попадья. — Послышалось тебе, померещилось. Крестись пуше, это нечистая сила тебя смущает». — «Явственно слышу, мать. Ты побойчее меня, отвори». Попадья в исподнем подошла, крикнула: «Ктой-то там? Чего надо?» — «Открывай!» — заорал благим матом Победим. Попадья так и села от страха. Поп зажмурился, отворил лаз трясущейся рукой. Победим как прыгнет оттуда, как гаркнет всю глотку: «А иде здесь дорога на Тамбов?» Поп повалился, онемел, машет руками на дверь. Победим шмыг мимо, и поминай как звали.

— Убежал?

— Утек!

Я покосился на часы-ходики. Было уже четверть третьего.

— А когда бежал он огородами, баб напугал так, что они и теперь рассказывают, как видели черта на задворках.

Мужики не спорили, не шумели. Они устали, накурились до красноты лиц; клонило в сон. Только неугомонный Ванька спросил из любопытства:

— Тимох, а Тимох? Когда это было, про попа-то?

— Когда было-то? А было это, мил человек, при царе Горохе. Было да сплыло и не воротится. Ну, однако, будя буровить-то, спать пора. Ободняться стало.

И, я заметил, хоть и поторопил Круглов гостей, но мог рассказывать еще и еще, испытывая от своих рассказов видимое удовольствие. Мужики одевались, борясь с телогрейками, куртками, прощались с

Тимофеем. Никодим подтягивал голенища крепких, сбитых кирзовых сапог; поднимаясь на коротких кривых ногах, позевывал и потягивался. Закуривая на дорожку и угощая Тимофея папироской, спросил:

— Что же, не было у попа монет золотых?

— А шут его знает... Может, было, а может, и не было. Чужая душа — потемки, а своя еще темней!

— Темней? — переспросил Никодим.

— Те-емней!

— Покойной ночи, Тимофей Лукич, — прощались мужики.

— Спасибо, брат, уважил!

Время-то как пролетело, мигом! Четвертый уж час!

Я пожал руку Тимофея, широкую и крепкую. И что-то шевельнулось под сердцем, подумалось: «Тяжко живет ему, вот и выдумывает, зазывает к себе мужиков, чтобы не быть одному... А может быть, талант рассказчика погибает в нем?»

Круглов смотрел на меня, улыбался простецки и, торопливо затягиваясь, говорил:

— Выспишься, приходи, мимо не проходи. Что сказки! Я тебе о жите-бытье расскажу такое, что куда там и выдумке. Так придешь, что ли? Ждать буду!

В глубоком раздумье возвращался я проулком. День мешался с ночью, петухи отпевали тьму. Вот пропел один, потом еще и еще. И вот уже все Рожново огласилось сильным петушиным хоралом. Звезды блестели высоко и ясно, а горизонт уже бледнел, наливался палевым светом зари.

В окнах дома Тимофея Круглова заалело.

ЗНАК

Кузьма Лукич заходил в дом и, не замечая меня, семилетнего мальчика, здоровался с бабушкой и дедом. Ставил в угол суковатый батожок и устремлялся в горницу...

Высокий, сутулый. Он зарос густой и широкой рыже-русой бородой. Круглые, со слезой, глаза, стриженная овечьими ножницами голова имеет форму улья. Я, не спуская глаз, смотрел на Кузьму Комкова, на его нечесаную, с проседью, бороду, широкое лицо, горбатый нос и глубоко посаженные острые глаза. Пронзительная улыбка.

Садился он на лавку широко, основательно, как будто навсегда. Уставившись на деда своими колючими прозрачно-коричневыми глазами, как у филина, Лукич улыбался, спрашивал деда о колхозных делах, но разговор не налаживался. И тогда Кузьма вынимал из бокового кармана допотопную склянку с самогонем, замысловатую и граненую, ставил на стол. Дед мой оживлялся, приносил стаканы, и баб-

ка начинала «заводиться» — ворчать так, чтобы слышал Кузьма.

— И чего ходит? — ныла бабушка. — От делов отводит... Вот и ходит, и ходит...

— Мать, а мать, — по возможности ласково и сердечно просил ее дед — он называл ее «мать», — дай-ка нам чего-нибудь зажевать, занюхать чего-нибудь...

— Вот как сойдутся пара — лапоть да сапог, не разлей вода... И все «дай» им! А чего я вам дам? Так вот пили бы и пили, да вот болтовня и курятина...

Бабушка лукавила. «Болтовня и курятина» бывала не часто, только на праздники: престольные или советские, — и тогда она, покончив со всеми делами, сама уходила к соседке, не могла она терпеть подвыпившего деда, не в меру разговорчивого и храброго. Но и в простые зимние вечера временами горницу наполнял табачный дым, зависал под потолком облаком, на полу валялись оплеванные окурки, взрывы хохота приводили бабушку в трепет, терпение ее раскалывалось, истощалось.

— Мужики, — растворяя дверь из кухни в горницу, совестила бабушка, — мужики, ай не стыдно в чужих людях сидеть до глубокой ночи? Дайте хоть поужинать спокойно. Поди-ка и в уборную захотели?

И тут же накидывалась на главного виновника сборищ, на деда:

— А с тобой, доходяга, я после поговорю! Я тебя сковородником приласкаю!

И когда страсти накалялись, ссора набирала силу драки, мужики нехотя уходили...

Но самым главным и желанным слушателем был дед Кузьма. Тут открывались самые сокровенные дела и думы, даже и в брежневские времена, когда, по слухам, снова начали хватать за болтовню, — открывались подкладки совсем не героической стороны прошлой войны. Один из таких дней особенно запомнился мне.

— ...Слышал, что наговорили тут эти вояки? — спрашивал дед Терентий никогда не воевавшего Кузьму, случаем ли, хитростью увернувшегося от призыва. — Слышал? — спрашивал дед после очередного сборища. — Прямо жуть берет, герои. Когда войны и в помине нет. Языки они брали, штабы громили, кровь мешками проливали! А им было-то тогда кому двадцать, а кому и поменьше. Моему старшему и средненькому ровесники. Как же, и я понимаю, худо им было. У самого двое сыновей погибли, два брата и племянш. Да эти-то все на фронт попали когда?

— Когда? — переспрашивал Кузьма без интереса.

— Когда уже поперли немцев: сорок третий, сорок четвертый, вот когда. А вот когда от них драпали — худо им было, необстрелянным-то.

...Все это, и приход Кузьмы Лукича в тот день в наш деревенский дом, и двух стариков инвалидов:

один — с культей, другой — без ноги, не любивший искусственных «непослушных» протезов, а носивший самодельный, как в дупло втыкавший туда культю левой ноги, — живо вспомнилось мне теперь, когда я прочитал в газете «Неделя» за май этого года статью. Как по сердцу ударила: «Порядок клеймения таков». В 1942 году, 20 июля вышел приказ Верховного командования сухопутных сил. Берлин — Шенеберг: «Советские военнопленные должны быть клеймены особым устойчивым знаком. Знак состоит из снизу открытого острого угла, около 45 градусов и 1 см длины на левой половине ягодицы, на расстоянии пяти пальцев от заднего прохода. Знаки делать ланцетами, какие находятся в каждой воинской части. В качестве краски употреблять китайскую тушь...»

Это был праздник, верно, День Победы, и бабка не ворчала на то, что все четверо — и Кузьма, и дед, и двое инвалидов — все были под хмельком. Она все что-то подавала на стол, то и дело меняла щи, картошку, соленую желтую солонину с аппетитным мясом и лубяной шкуркой резала ломтиками, а я делал вид, что учу уроки.

Бабка приносила грузди ароматные, исчерна-розовые в рассоле, пухлые оладушки. От самогона отказывалась, ее неволили, силком усаживали на табуретку, она пригубила, намочила язык и замахала ладошкой: «Ну яд, как есть яд...»

В конце концов не выдержала, увела меня из горницы, отгоняя ладошками дым от самосада, затворила за нами дверь в кухню, а я прилачился с уроками на краешек подоконника. А в горнице дым стоял коромыслом. Друзья прикладывались к самогонке по единой, но неоднократно. Они перебивали друг друга, спорили, упрекали. В конце концов опустела огромная диковинная склянка, и, очевидно, воспоминания о войне в тот день достигли самой высокой точки, апогея.

— Ха-ха-ха, — громко смеялся дед Кузьма, — верно, верно, я вспомнил, вас тогда шестерых забрали...

— Да ты слушай, Кузя... На фронт-то забирали кого в чем: старенькие сапоги, телогрейка, в шапках, годных только на галчинные гнезда. А в холщовых сумках за плечами: яички, сухарики, пыхпечки-фушечки... Негусто. А осень была мокрая, будто небо плакало об нас, горемычных. Всем было кому под сорок, а кому и больше. У меня пятеро оставались, наострили тогда сдуру. Всей деревней провожали, море слез выплакали. Мой младшенький вцепился в меня: «Тятка, возьми меня с собой». В военкомате разделили всех по спискам, двое только и вернулись: Семен-Таракан без ноги да я из плена. От Сонино часов пять шел. Доходяга, будто кровь из меня выцедили.

Двое инвалидов из соседнего села курили молча и сумрачно. Я делал вид, что тружусь над прописями, а сам напряженно вслушивался.

— А меня Бог миловал, — весело, смеясь говорил дед Кузьма, как бы нарочно хвалясь: какой он все же хитрый, умный, лучше всех из Выселок. — Бог миловал. Спасибо, я мужик такой ловкий...

— Ты сам себя миловал, ловчил, — оборвал его дед Терентий. — Я же один раз комиссию проходил с тобой в сорок первом. Чего ты так вырядился-то? Помнишь? Одна нога в сапоге разбитом, другая в калоше старой на веревочках. Все норовили почище одеться, помылись в бане, а тебя как из нужника вытащили.

Мужики все загудели недовольно.

— Я тогда золотарем был...

— Да знаю, что не комиссаром. Ты и сейчас-то все плутуешь, выгадываешь.

Мужики заговорили громко, все больше хмелея. Пустой посуды на столе было много. Из четырех братьев деда моего погибло двое, а дед был в плену фашистском, погибли два племянника, один пропал без вести. Словом, за дверями в горнице счет шел громкий, старики ошибались, поправляли самих себя, а мы с бабушкой скучно сидели в кухне и хлебали жирные щи с оладьями. Вдруг слышим — плач не плач, смех не смех... «Ну-ка глянь, чего он там, дед-то... Вот горемыка-то, — ворчала бабка незлобиво, — чего-то выкозюливает, глянь-ка».

Дед показывал клеймо точно на том месте, как приказывал шеф Верховного командования сухопутных сил, согнувшись, а мужики смотрели и почему-то смеялись. А дед плакал и ругался. Китайская тушь уже плохо была различима на ягодице левой половины, но было заметно.

Очевидно, бабка не знала о клейме, дед не показывал и ни в «оттепель», ни после никому не говорил, а в баню ходил всегда один и после всех. И хотя вся деревня знала, что он был в плену и что его систематически таскали в районное энкавэдэ, тайну знака он не выдавал, совестился, что ли, не хотел ли беречь душу, бог его знает. А тут по пьянке при долгой беседе да еще в такой день — не выдержала душа обиды, не теленок ведь, человек...

Сидели за плен не все. Деда только «таскали», как он говорил тогда бабке: спрашивали всё одно и то же, записывали и бумаги сверяли.

— Ну, чего он там притих-то? — спросила бабка, когда я вернулся в кухню. — Чего, язык-то корова отжевала?

И когда сама, громко закрыв печь заслонкой, раскрыла дверь, посмотрела в горницу, начала ругаться:

— Капли пить нельзя, хоть ополосни и в гроб положи, а вот неймется. Эка надобность зад мужикам показывать?! У всех раны есть: тот без кисти, этот без ноги...

— Молчи, дура, дура стоеросовая! — озлился дед. — Ты знак посмотри, не видала же...

Бабка уже плохо видела след далекой беды, но и она как-то сникла, заплакала, схватила за чем-то ме-

ня за руку и увела в кухню. И, чего с ней никогда не было, вдруг налила в стакан граммов сто и залпом выпила. А выпив единым духом, вытерла уголком платка глаза и губы.

В горнице стало тихо, как будто там никого не было, хромали ходики. Через минуту-другую дед скрипучим тихим голосом сказал бабке:

— Эй, Ильинишна, принеси-ка нам, у нас тут вся!

И бабка, всегда ворчливая, недовольная, вспыхивавшая, словно береста на огне, от слова «вся», как-то порывисто, как молодая, снялась с лавки, мельком взглянула на причудливую склянку Кузьмы Лукича, трогательно и неловко прижимая к плоской своей груди, принесла отрытую откуда-то из «заначки» бутылку очищенной настоящей сельповской водки и отдала старикам.

Все это запомнилось зримо: и еле заметный уголок на левой ягодице деда, и угрюмый инвалид с оборванной кистью, и деревянный протез у хромого с резиновой набивкой снизу...

Многое случилось и после этого за двадцать лет моей жизни, но вот этот знак, открытый острый угол, верно, много раз подновляли, размывая тушь. А как это делали, дед рассказывал со слезами, трезвый же — никогда и никому. И, если понять, этот его стыд был и в самом деле глубокой трагедией человеческой души. И вот я выписал из той же «Недели» статью полувековой послевоенной давности: «Порядок клеймения таков: стянутую кожу намочить китайской тушью, потом поверхностно колоть раскаленной ланцетой. Для устойчивости знака каждые 14 дней, 4 недели, 3 месяца знак проверять и по необходимости возобновлять. Это мероприятие не должно мешать работе. Поэтому клеймение работающих провести по возможности в бараках рабочих команд или при следующей дезинфекции». Так приказал шеф Верховного командования.

Дед в послевоенные годы брал меня с собою в баню. Шли мы с ним медленно — высокий гнутый старик с полотенцем на плечах, такой немногословный и такой родимый, — так и остался он у меня в памяти.

О всех ранах, рубцах и ожогах я расспрашивал его, а про знак, сделавшийся каким-то грубым наростом величиной с грецкий орех и даже схожий с этим орехом, — об этом знаке так и не спросил, не осмелился. А надо бы. Надо спрашивать и рассказывать надо. И вспоминать об этом надо. И когда я волей судьбы был закинут в Берлин, ходил в наше трагическое время «реформ» вдоль разрисованной и разбитой Берлинской стены, вдоль сияющих супермаркетов и гаштетов, в которых пьют тягучее пиво и одобряют «продвижение НАТО на Восток», я вспоминаю бедный, заставленный пустой посудой стол в моей деревне, слезы деда и радостные возгласы Кузьмы Лукича:

— А меня Бог миловал! Бог миловал!..

ПИСЬМО СТАЛИНУ

Колька спал под тяжелым лоскутным одеялом. Проснувшись, услышал сердитый шепот матери и густой сиплый голос отца.

— Лошаденку-то ай не дают? — говорила мать, работая ухватами в печи. Сырые дрова потрескивали, пламя озаряло занавески и передний угол кухни с божницей и агитплакатом. — Ай в колхозе лошади перевелись?

— Куда там! — сипел отец, простуженно кашляя, увязывая портянки и обувая новые лапти. — Лошадь жалко. Измотаешь, говорит бригадир. Да и на кого ее оставить там, лошадь-то? Может, целый день пытаться будут. Бог с ней, с лошадью... Пешь-то страшно итить... Дороги раскисли — ни пройти, ни проехать. Ох-хо-хо... Жисть бекова...

— Ты ведь молчун, — приставала мать, беспрестанно работая возле печи, временами вытирая лицо подолом фартука. — Ты не выпросишь, не насмелишься. А у них надо не просить, а вырывать. Из горла вытаскивать... И к председателю ходил?

— Ходил, — отвечал отец, крепко затягивая оборы на бахилках. — Ходи не ходи, одна честь. Толку мало. Лошадь они жалеют, навоз возить надумали.

— Верхов-то, без телеги-то, милое дело... Двадцать верст, путь неблизкий. За палочку, за трудодни работаем, а лошаденку жалко дать... Я сама пойду, я ему наговорю! С больной ногой, по колена в грязи, шутка ли тащиться...

Мать грохнула ухват в угол, надела телогрейку почише и собралась идти к председателю. Отец с трудом удержал ее.

— Не ходи, не даст. Нас, бывших военнопленных, везде в спину ширяют. Смотрят, как на врагов народа. Теперь-то все в героях ходят, все: я да я... Сانهк вон Копченый всю войну в ездových околачивался, а поди поговори с им... Ку-уда там! Медаль имеет, трень-брень... Не связывайся, помалкивай знай, молчок, язык на крючок. Чуть что: «Ты в плену был!» Слова не скажи...

— Да ай ты виноват? Сам же говоришь, и большие начальники попадали в плен. Енерал какой-то...

— Карбышев... — сипел отец, опершись локтями о колени. — Там нашего-то брата, ой, сколько полегло!

— То-то вот и оно. А тебя затаскали... — Мать не удержалась, всхлинула. — Замучили, сволочи! Да хоть бы по сухому вызывали. А то осенью, в самую что ни на есть мокреть, то весной, когда все развезло... Скажи там начальникам-то, не молчи перед имя. Ты ведь молчун, все боишься их. Я бы им сказала... Ты же не сам сдался, ранен был. Скажи им...

Колька, высвободив голову из-под одеяльца, плохо сообщал, о чем спорят родители. Всякий раз, когда отца «таскали» к уполномоченному, споры шли часами. Мать нехорошо говорила о Бериин, ма-

териала Сталина. Как-то осердилась так, что проткнула ухватом портрет вождя. Колька даже хотел пожаловаться на нее в сельсовет, но удержался: он любил мать. Вот и на этот раз. Она как-то боком оставилась возле стола, взглядом окинула агитплакат, сказала злым шепотом:

— Када он, сука, сдохнет-то? Господи, прости мою душу грешную! Ишь ведь как устроился, выше всех стоит. Все у него под сапогами!

— Тише, потише, — сипел отец, испуганно озираясь на агитплакат. — Чево раздухарилась, чево разгорелась-то? Не меня одного таскают...

Обув лапти, отец встал с приступки печи. Скорехонько просунулся к окну. Выставился на улицу, поглядел по сторонам, захлопнул створки и поплотнее занавесил окна. Потом уставил взгляд на агитплакат, приклеенный Колькой в простенке под иконой. На плакате в полный рост стоял Сталин, а под сапогами серым цветом — тьма народу, и все как-то на одно лицо. Можно только различить мужчин от женщин. В самом же низу агитки большими красными буквами напечатано: «Реальность нашей программы — это живые люди, это мы с вами!»

Отец с минуту стоял, скреб в голове. Писать он не умел, читал по слогам, как первоклашка. Колька поглядывал на отца, ему было смешно смотреть на его жалкий вид, на спущенную рубаху, штаны в заплатках, лапти... Штаны висели на нем, как на кольях, как пустые.

В душе Колька презирал отца. Стыдно вспомнить, что отец был в плену. У всех отцы как отцы: пришли с фронта с медалями и орденами, в деревне по избам скопилось столько орденов, что Колькины ровесники играли ими в «пристеночки» и «расшибалку».

Стояли дни Великого поста, мать Кольки не гасила лампадку. Слабый чадающий свет лампадки на трех ржавых цепях озарял икону Богоматери с младенцем на руках, а заодно и вождя, величественно стоявшего в фуражке-сталинке. Неверный свет лампадки прядал на породистых усах; серая масса народа совсем не была видна, сливалась с тенью. Из-за крыш вставало кровавое солнце, пробиваясь сквозь занавески. В кухне стоял нестерпимый чад, пахло луком, кислой капустой и еще чем-то сложным, чем-то давно не мытым, шубно-овчинным, невкусным. Мать бегала в сарай кормить кур, месила поросенку. Подоив корову, налила горшок молока и поставила перед отцом на столе.

— Чево с собой-то возьмешь? Поесть-то?

Отец все еще сидел за столом, уставя тяжелый взгляд на агитплакат. И словно очнувшись от сна или дремы, махнул рукой, просипел:

— Не до еды там будет... Уполномоченный накормит... — И усмехнулся в жидкие седеющие усы.

Мать сняла с поставца хлеб с подмесом картошки, синий и грубый, с отвалившейся коркой, круто посолила серой солью. Положила в котомку пару

яичек и картохи в мундире. Отец все как-то отрешенно смотрел на работу матери, вздыхая тяжело, и тербил жидкую бороду. На завтрак мать подала картошку, молоко и хлеб. Обжигаясь, отец ел картошку за картошкой, просил мать:

— Ты, мать (он ее почему-то называл матерью), ты, мать, много не болтай. Особоливо при Кольке. Их ведь в школе по-другому учат, не так, как оно есть... А ты лаисси на вождя... Язык-то прищечи, больно длинен. Ивана Шплинта помнишь?

— Помню. Ну и что? — Тут мать с открытым ртом уставилась на отца.

— А ничево... Второй год ни слуху ни духу. Тоже мастак был трепать языком. Ну, тот-то хоть по пьяному делу болтал, а ты же не пьяная.

Иван, по прозвищу Шплинт, был маленький, верткий мужичок, с подпрыгивающей походкой, печных дел мастер. Как пришел с фронта — нарасхват, все к нему: боровок ли поправить, под в печи переложить ли, грубку ли сложить — к Шплинту. К этому дню берегли шматок сала, гнали самогон...

Шплинт был обидчив. Не ровен час не угодишь — ходи тогда по окрестным деревням, ищи печника. Иван, когда работал, капли не выпивал. Бабы любили его звать на работу, говорили мужьям: «Смотри, учись работать... А ты...» За работой Шплинт мало говорил, все посвистывал. Как только закончит работу — тут уж ему только подавай закуски, подливай в стакан да слушай. Говорил он все больше про политику, которую знал, по мнению деревенских жителей, до тонкости; пел частушки «с картинками».

Дело было осенью, Шплинт перекладывал у Дуниных грубку к зиме. Его, как полагается, угостили, заплатили, все чин чином. Молол он, молол про войну, частушку спел. Дунины рады-радешеньки: наконец ушел. Плотно заперли дверь на задвижку.

Вышел Иван от Дуниных и подался в колхозный клуб. Там молодежь веселилась под гармонь, наяривали топотуху. Иван зашел в клуб, у двери снял с себя кургузо обрезанный пиджачок, кинул его в угол под лавку, затесался в круг — и давай сыпать под крепкий глухой топот:

Тарина, тарина,
Большой... нос у Сталина,
Больше, чем у Рыкова
И у Петра Великого!

А Нюраха, его благоверная, сбегала к Дуниным — не нашла Ивана, у соседей — свет погас... Заглянула она ненароком в клуб, услышала голос Ивана, заорала дурным голосом:

— Ива-ан! Ты допляшешься, гад ползучий! Опять «тарина»? Тебя, дурака, устроют! Тебя устро-оют!

Схватив Ивана за руку, как мальчишку, потащила вон из клуба. Шплинт скалил зубы, обнимал Нюраху, лез целоваться.

Наутро перед окнами правления колхоза, там, где собирались на наряд, председатель-калека, налегая грудью на костыли, угрожающе прыгнул к Ивану, начал стыдить: «Ты, Иван, все эти свои «тарина» брось, забудь! По-хорошему говорю. Мне за тебя в Сибирь идти нет охоты. По-хорошему говорю: прекрати, пока не поздно! Упекут тебя за милую душу».

Иван Шплинт, собирая морщинами лоб и шмырягая носом, виновато смотрел на председателя запухшими синими глазами, смущенно переминался. Бубнил похмельным голосом:

— Да ладно, чево там... Сам знаю... Был выпимши...

— Там не будут спрашивать, выпивши ты или трезвый. Загремишь за милую душу. Что за натура, ей-богу: выпьет сто грамм, а шума на четверть. Ну, суетроил, выпил — хвост морковкой и к бабе под теплый бочок. Ан нет, обязательно надо пошарашиться, покобениться. Словом, вот так, понял? Ну, иди работай.

Шплинт, как побитый, поплелся на скотный двор убирать навоз, в душе ругая себя за частушки и болтовню. Что могут впаять пятьдесят восьмую, Иван и сам знал, примеров тому было много. Сажали учителей, мужиков из соседних деревень и сел. Прошел он всю войну, что называется, «от звонка до звонка», много видел и слышал. Смолоду любил попеть-поплясать, себя на людях показать. «Я из-под матери такой, веселый...» — говаривал.

Колька чутко слушал, о чем говорили родители. Он знал печника, помнил его дурацкие песни.

— Теперь и печку сложить некому... — говорила мать. — Чтой-то забыла, когда его забрали? Кажись, весной?

— Весной, — подтвердил отец. — Ходил на рыбалку, где-то хлебнул лишку, ну и пошел мимо сельсовета. А не знал, что туда из района приехали налоговики. Он, как был в болотных сапогах, ввалился сдуру. Ему махали, моргали: уйди, мол, скройся от греха, председатель аж костылем замахнулся. А Шплинт еще пуще разгорелся, подошел к столу, топнул ногою в грязном сапоге, руку выставил:

Слава Сталину-грузину,
Что обул нас всех в резину!

— Мать, ты не смейся, — говорил отец умоляющим тоном, — это я тебе говорю к чему? Чтобы не болтала много. Ну, иначе, пора идти.

Отец встал, мелко перекрестился — то ли на икону, то ли на вождя.

— Ну, и дальше-то? — спросила мать, убирая со стола чугунок с картошкой. — Что ему припаяли-то?

— Кому?

— Ивану-то, Шплинту-то?

— А, Ивану-то? — одергивая куцый пиджак, переспросил отец. — Бумагу составили, председателя

силком заставили подписать, тройка эта святая... Оформили все, как было, да еще лишку приписали. А ночью с постели подняли. Нюраха, помнишь, как орала? Надрывом. Десять лет и пять по рогам...

— Как по рогам? — не поняла мать.

— Поражение в правах, шут их разберет... Где котомка-то?

— Это все Сталин, отец наш родной, — нападала мать на вождя, — все он энтими делами заправляет. Всеми душегубками правит. И Берия с им. Душегубы, сволочи...

— Ну-ну, Сталину есть когда этими Шплинтами заниматься, — надевая котомку на плечи, говорил отец. — Сталин, поди-ка, и делов этих не знает. Вожди этими делами не занимаются...

— Ирод он, мучитель...

Последние слова точно кипятком ошпарили Кольку. Он тоже думал о вожде, помнил слова учительницы. В школе репетировали хором:

Сталин — наша слава боевая!
Сталин — нашей юности полет!
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет!

А к майским праздникам, как лучшему ученику по родной речи, учительница дала задание выучить наизубок стихотворение. Колька вытвердил:

Стучит по крыше снеговая крупка,
На Спасской башне полночь бьют часы,
Знакомая, не гаснущая трубка,
Чуть тронутые проседью усы...
Он наш корабль к победам вел сквозь годы...

Эта строчка прямо-таки просилась на язык. «Неграмотные, дураки неграмотные, — думал Колька о родителях. — Что с них взять? Учительница Вера Семеновна так не говорила про вождя... Ну и дураки: ни читать, ни писать не научились...» И тут у Кольки само собою пронеслось, как учили в школе: «Первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин! Ой, как первый сокол со вторым прощался...»

Сжавшись комочком под одеялом с клопами, Колька заплакал, обида стеснила грудь. Мать услышала, вскрикнула от удивления:

— Коля, ты разве не спишь? Ты чево там?

Вскочив, Колька больно ударился о матицу и со слезами на глазах крикнул что было мочи:

— Дураки вы оба! Безграмотные дураки! Сталин — вождь всех времен и народов! Учительница лучше вас знает!

— Ну вот, что я тебе, дуре, говорил? — втягивая махорочный дым, повторил отец. — Язык у тебя — помело... Только что сказал: не мели при Кольке.

— Ну, не реви, Колюха, это мы так... промеж себя... А ты бы не слухал, раз такой письменный, грамотей...

Отец недовольно еще поворчал на мать, нашел тяжелую от грязи и до блеска засаленную на рукавах телогрейку, накинуд худощавый вещмешок на плечи. На голову натянул фуражку-сталинку и все еще стоял в нерешительности, теребя жидкую бородавку.

— Давай-ка присядем на дорожку, — опомнилась мать. — Колька, слезай, отца проводим...

Колька в слезах слез с полатей. Уселся на широкой кухонной лавке, в переднем углу, под иконой с агитплакатом. Сталин как будто смотрел на эту семью и улыбался злорадно — так казалось матери. Помолчали минуту-другую, встали со скамейки, отец обнял Кольку, сказал:

— Прощевай, грамотей ты мой, — и стиснул его худые плечи. — Ничего, учишься... Видишь сам, какие мы — чурки с глазами... Правда, что дураки. Расписаться не умеем, крестик ставим вместо росписи...

Когда отец ушел, Колька стал надевать штаны, сшитые матерью из крашеной мешковины, сарпировую рубаху навыпуск. Мать налила Кольке постные щи, плеснула молока — говорила: «Забелила».

Солнце светило покойно и ясно, совсем уже полетному. В палисаднике на голых кустах сирени лопались почки, выглядывала зелень. Весело чирикали воробьи, камнем пролетая один за другим мимо окон. Купались куры в пыли на завалинке.

— Куда отец пошел? — спросил Колька, с чавканьем хлебая щи.

— В город, по делам, — отвечала мать, собираясь на работу.

— А по каким таким делам? — не отступал Колька.

— Вызвали... Да тебе, малый, эти дела и знать не надо. Ты арифметику читай. Даве учительница жаловалась, двоек, слышь, много! По арифметике. Учишься хорошо, мотри. Начальником станешь. Каким-нибудь агентом по налогам...

— Не буду я агентом по налогам, не хочу! — раздувая ноздри и сопя, отсекал Колька. — Я военным буду! В суворовское подамся...

Мать стояла на крыльце с кошелкой за плечами. Колька выскочил на улицу, сказал матери:

— Я Сталину письмо напишу, чтоб приказал принять меня в Суворовское училище!

— Не ори больно-то! Письмо он напишет! Школу сначала закончи. Иди уроки готовь, в школу не опоздай. Пись-мо-о...

В горнице стоял шаткий самодельный стол, залитый чернилами. И тетрадки, и учебники — все истрепанное, как лапша. Колька с размаху сел на табуретку, крепко задумался. Он начал вылавливать пером из чернильницы моль и весь перемазался. Уроки совсем не шли в голову, а тут еще Федька Краснов не принес арифметику. Над столом в деревянной рамке висела цветная картина: суворовец, чуть постарше Кольки, приехал к деду на каникулы. В левой руке — чемоданчик; правая ладонь прижата к виску, касаясь шапки со звездочкой. «Прибыл на каникулы!» Все на мальчишке было ново, ладно и

красиво: и новые ботиночки с блеском, и штанишки с красными лампасами, и туго подпоясанная шинелька...

Дед наклонился и смотрит на внука, слушает, как ловко отбарабанивает тот цель своего прибытия. Колька поглядел на свои дерюжные штаны, рубаху реденькую, как марля, и чуть не заплакал от зависти. «А тут учебник арифметики на троих, — тяжело вздохнул он. — Где хоть искать этого дураля Федьку?»

Выглянув в окно, Колька прищурился от яркого солнца. Блестели ослепительным светом и морщились грязные лужи на улице, чирикали воробьи. Два петуха прямо перед окнами устроили драку. Запустив всю пятерню в нечесаную голову, Колька поскреб там, поковырял в носу. Лягнул ногой и устроился на стуле, поджав колено. Писать или не писать письмо вождю? И решил не медлить.

Выдрал из тетрадки листок почище, сменил перо «лягушку» на новое — «овсянку». Сначала расписал перо на клочке бумаги. Опять подумал, надув щеки. Сердце глухо и часто заколотилось, лицо загорелось: шутка ли — написать письмо самому Сталину!

Переписывал три раза: то кляксу посадит на самом видном месте, то имя-отчество вождя выведет коряво. К полудню письмо было написано.

Пришлось искать конверт. Колька дернул языком по карману конверта — клей не держал ни капельки. Тогда он сбегал к умывальнику, наскорябал ногтями мыло, наконец-то конверт заклеился. Даже в пот бросило, фу-у... Колька шоркнул рукавом рубахи по мокрому лицу. Осталось написать адрес, плевое дело. Но чтобы именно вождю попало письмо, а не кому-нибудь, как написать? Высунув язык от усердия и слизывая набегавшие, как назло, сопли, яростно шмыгая носом, написал: «Москва, Кремль. Вождю всех времен и народов И. В. Сталину». И, подумав, добавил: «Любимому и дорогому». Потом подул на перо, опять пошмыгал носом и вывел в уголке, в самом низу конверта: «Лично в руки. Жду ответа, как соловей лета!»

Обратный адрес Колька нацарапал быстро. С облегчением вздохнув и поплевав на испачканные чернилами пальцы, кинулся искать сапоги. Кирзачи, обрезанные до самых головок, куда-то запропастились. Полез на печку. Пришлось найти подшитые, источенные молью, словно в них в упор выстрелили дробью, валенки, надел — и пулей к почтовому ящику. Обратно шел счастливый, уже не бежал. Зачем бежать? Всё, дело сделано. Домой шел как во сне: получит вождь письмо, прочтает, посмеется, конечно... Потом возьмет трубку, позвонит московскому начальнику училища. Тот, наверное, заартачится: мол, зачем нам деревенские, у нас своих хватает. А вождь только прикажет — и баста...

Уроки, конечно, остались невыученными. Ни один. На всякий случай Колька сложил тетрадки в сумку из-под противогаза, с которой бегал учиться, полез на поставец, отломил краюху хлеба, посолил

влажной солью и положил вместе с тетрадами. Часы-ходики с промятым, словно изжеванным циферблатом всегда ходили неверно: то забегали вперед, то безжалостно отставали. По солнцу — пора бы в школу. Но тут как из-под земли появился Степан Фролов. Стоял перед окнами на завалинке — высокий, фитиль. Лицо осунувшееся, желто-зеленое от картошки без молока. С распухшим животом. Щеки забрызганы чернилами, на лаптях грязные онучи... Книжки, тетрадки перевязаны второпях обрывком веревки. С уроков он сбежал.

— Пойдем патефон слушать! — звал Степка.

— А мать? — спросил Колька. Отца у Степки не было: погиб на фронте.

— Она на работе. Вишь, замок на двери...

— Мне в школу, — мялся Колька, хотя уже давно решил в школу не идти в честь такого дня.

— Поспеешь. Опоздаешь — не беда... Я каждый день или убегу, или опоздаю, и ничего. Мать выменяла на картошку пластинку с частушками.

Колька, как был в валенках, сиганул в окно. Пробежав через улицу, исполосованную колесными тракторами, прыгая через колеи, налитые водой у дома Степана, подбежал к двери. Замок не запирался на ключ, а накидывался. Сначала мальчики завели: «Эх, дороги», — потом частушки. Окно растворили, и понеслось вширь и вдаль в сыром воздухе:

Мне бы Сталина увидеть,
Мне бы с ним поговорить,
Рассказать бы, как в колхозе
Стало весело нам жить!

Напротив окон, у плетня, собрались дряхлые старики, гнутые, в худых передниках старухи с батожками, мальчишки и девчонки... Эх, и нищета же кругом! Избы покосились, соломенные крыши поросли мхом и лебедой. Шел голодный сорок седьмой год. Картошку доедали, налоги выколачивали с прокурором из райцентра. Но это не мешало Кольке и Степке веселиться. Единственный на всю деревню патефон слушали, облегли косой плетень. Баян заливался, пела Русланова. Наконец плетень не выдержал натиска ребятишек, повалился с хрустом. Степка заорал на ребят, выскочил поднимать прясло. На него накинута мать с палкой — пришла на обед. Колька едва успел вырваться из избы и помчался огородами на выгон — там всегда собирались толпой, с собаками, стравливали кобелей, устраивали игрища и забавы. Под раскидистым, треснувшим от старости во всю длину ствола вязом валялись сумки с книжками, разбитые вдрызг сапоги, лапти. Колька стащил валенки и кинулся за мячом. И хотя было еще сыро, а в лужах и провалах стояла холодная вода, все мальчишки и девчонки бегали босиком.

Весь этот день простоял теплым, солнечным. Только к вечеру поплыли низкие тучи, задымили солнце. В сумерках пошел дождь, мелкий и холод-

ный, как осенью. Мать готовила ужин и все нетерпеливо поглядывала на окно, говоря: «Коля, выдь-ка на улицу, глянь, не идет ли?»

Отец пришел часу в одиннадцатом. Воняла семилинейная лампа, освещающая его жалкую, не по годам сгорбленную фигурку. Он тяжело опустился на приступку печи, оперся локтями о колени. С грязных лаптей потекли ручейки. Колька кинулся разувать отца, снимал с него лапти, бахилки, телогрейку... Подбежала мать со шкаликом-мерзавчиком самогона, противно вонявшим гнилой картошкой. Когда сели ужинать, мать стала спрашивать, зорко поглядывая на отца:

— Ну, чего оне там, чего спрашивали-то?

— Да все то же... Где воевал, номер части, кто был командиром, кто политруком...

— Господи, аки шпиена! Сколько же можно, одно и то же? — взмолилась мать. — И держали целый день?

— Целый день, с перерывами. Записывали, проверяли, сверяли, что в прошлый раз говорил. Под конец: «На, распишись». Лейтенант молоденький, как наш старшенький. «А я не письменный», — говорю. «Вояки, мать-перемать. Моя бы воля — всех к стенке! Вон отсюда...» Я крестик поставил — и ноги в руки...

Они хлебали щи, пили молоко. Неожиданно пришел почтальон, однорукий инвалид дядя Сергей. Прижимая культей письмо, он подал его отцу и ждал, подняв брови. Издали Колька увидел, что письмо — его.

— С почты вернули! — засмеялся дядя Сергей. — Хорошо, что до города не дошло. Там посоветовали поучить малого по-русски, попотчевать березовой кашей, а нет — ремешком. Шутка ли дело! Пятьдесят восьмой пахнет...

— Что такое? — Отец никак не мог взять в толк, перепугался.

— Тут малый твой письмо Сталину написал. Просится в Суворовское училище. Оно бы, конечно, и ничего. Крамолы-то нету. Но опять же могут придраться: мол, отец научил. Таскать начнут...

Почтальон читал Колькино письмо, а тот слушал, не понимал: чего так перепугался отец?

Только мать смеялась до слез, хвалила:

— Молодец! Ишь, какой письменный, далеко пойдет!

Отец уже держал в руке ремень наизготовку, вдруг замахнулся на мальчика широко. Мать птицей влетела между ними.

— Не тронь! — заорала она дурным голосом. — Он письменный, далеко пойдет!

— Никуда он не пойдет! — задыхаясь, говорил отец. — Энкеведе остановит. Тебя кто научил писать туда, негодник?

— Са-ам придумал... — заливаясь горячими слезами, отвечал Колька. — Са-ам! — Растирал и сверлил кулаками глаза.

— И ведь куда написал-то! — гордилась мать. — Не кое-как, а в Кремль, Самому-Самому!

А Кольке были непонятны весь этот шум, радость матери и гнев отца...

Колька плакал.

СТЕГНЕЙ И ВАРЬКА

Он ходил от села к селу с дерюжной котомкой. Мастерок, молоток, паяльник, стамеска... — всё это за плечами в сумке, а в руках кленовая палка с набалдашником.

Фамилию этого мастера на все руки никто в Рожнове не запомнил; имя, кажется, Стегней, а все звали его По Шее Пирогом. Прозвище пристало к нему с малолетства. Мальчишкой брал его отец с собой в отхожий промысел — рыли новые и чистили старые колодцы, а зимой чинили посуду деревенского обихода, часы, клали печи, настраивали гармоники. Идут, бывало, по Рожнову, голоса:

— Колодцы чистить, рыть!.. — сипит горбатый Тихон, отец Стегней.

А мальчонка семенит по правую руку и тонюсеньким голосом вопит:

— Ба-абы! Кастрюли-ведра паять-лудить!.. Девки, титьки золотить!

— Так, так, правильно... — одобрял Тихон, ухмыляясь в бороду. — Правильно! Ори пуше, громче, небось услышат — мигом примчатся!

Окна растворялись настежь, хозяйки несли в ремонт, что по нынешним временам не годилось бы и в утиль. Тащили кастрюли, умывальники, часы с кукушкой... Тихон снимал с себя дерюжную сумку, Стегней раскладывал инструмент, и работали, да все с подначками, с подковырками над девками и молодыми бабами.

У горбатого Тихона в Рожнове была «зазноба», как говаривал он порой. И если зазноба работала в поле или на поскотине, Тихон спрашивал: «Чтой-то я своей зазнобушки не вижу. Время обедать, а ее нет?» Рожновские знали эту странную его любовь, посмеивались и, перемигиваясь, отвечали: «Ай соскучился? Придет, счас прилетит... Она знает, что ты явился, не задержится...» Тихон искоса поглядывал на мужиков и баб, притворно хмурился и совестливо отворачивался.

— Малый, — говорил он Стегнею, — сходи-ка сам, позови мою зазнобу.

Стегней недолюбливал Дуню Лукину, не одобрял отца за дружбу с ней. Он вставал со скамеечки и нехотя шел, понуря голову.

— Живо! — торопил Тихон сына, и малый пускался со всех ног под грубый окрик отца. — Живо, ай аршин проглотил?!

Через считанные минуты с папироской в зубах прибежала Дуня, маленькая, никогда не рожавшая, почти квадратная бабенка с широким сонным лицом и красными рабочими руками. Она подходила к мастеру и, расставив ноги, загоняя цигарку в правый угол рта, говорила:

— Что же ты давненько не являлся? По слухам, другую нашел?

Тихон молчал как убитый; он знал, что сейчас ревнивая Дуня, не стыдясь ни сына, ни рожновских, станет «придираться». Начинался концерт: Дуню и Тихона обступали со всех сторон.

— Чево приперся-то? — срывалась на крик дерзкая Дуня, размахивая руками и выпуская сильные струи дыма через широкие ноздри. — Жрать небось захотел?

Не отрываясь от работы, возможно ласковее, Тихон просил:

— Дуняша, юбкой потряси, пообедать принеси... — и лукаво поглядывал на сударушку.

— Вона! Принеси! — сплевывая окурочку под ноги, разгоралась Дуня. — Небось Фекла тебе шанег напекла! Слыхала я от людей, как ты в Лесном куролесил...

Между тем вокруг Тихона и Дуни стучалась толпа. Раздавался хохот, подвертывались словечки, Дуня кипела огнем ревности:

— Тебе чево! — широко раздувая ноздри, упираясь руками в бедра, орала она. — Чево на стол подавать, спрашиваю?! Щи? Кашу али пирог?!

— Давай пирог... — робея, отвечал Тихон, бросая работу и собирая инструмент.

— Ишь ты, пирог ему?! — обращаясь к народу, кричала Дуня. — Он тут! — и под общий хохот мужиков и баб она шлепала себя ниже живота.

Взрыв хохота оглашал Рожново. Приходили древние старики, старухи, качали головами, в толчею затесывались собаки...

— Чертовка! — ругался Тихон, пряча глаза. — Почто зазря ругаешься? Хоть бы малого постеснялась... Несешь и с моря, и с Дона...

— Вона! Малого! Малый у него, пятки назад! — отсекала Дуня. — Малый твой сам не промах, за словом в карман не лезет... Одна такая прибаутка мне спел под гармонь — печенка зачесалась...

Перепалка шла недолго. Тихон, чувствуя вину перед «зазнобой», терпеливо выжидал, когда Дуня наорется вдоволь. Все, как правило, кончалось миром. Помогая возлюбленному собрать инструмент, бабенка лаялась все тише. Народ расходился по домам. И, взвалив на могучие плечи сумку Тихона, Дуня вела мастеровых домой.

Вечерами Дуня пекла и жарила, ставила на стол четверть самогона, а приготовив все — растворяла настежь окна и двери. Осадив стакан до дна, Тихон садился отлаживать старую хриплую гармонь русского строя, а Дуня, прикрыв стол от мух рушником, подсаживалась к нему, прислушивалась.

Развернув гармонь по локоть, мастеровой играл, а Дуня, обняв его, орала забористые песни. Изба наполнялась народом, в окна заглядывали, проезжие останавливали лошадей...

...И-и-их!
Пить будем! И гулять будем!
А смерть придет —
Помирать будем! —

и разводя мехи, притоптывая сапогами, распрямляя горбатую спину, Тихон тотчас подхватывал:

Когда смерть пришла,
Меня дома не нашла,
А нашла в кабаке,
С полбутылкою в руке...

— Эх-а!.. — говаривали рожновские бабы. — Загудели голыши! Тут и богатый — не дыши... Осенью блинцы да сочны, а зимой — живи да сохни! Эх, Дуня, Дуня... Распутная бабенка... И не совестно перед людьми! Ишь, как наяривает, ишь, орёт-то, стерва!

— А и Тихон ей под стать... — говорили мужики. — Профукает денежки — и зубы на полку... Эха-а... Малого жалко, ишь, сидит, сиротка...

— Тятка, уймись, будя... — слезно уговаривал Стегней отца. — Люди смеются, будя, помрешь...

Но Тихона уже трудно было унять. Он до хрипоты орал под гармонь, глаза его наливались кровью, гневом, а Дуня льнула к нему, липла, обнимала руками за шею и целовала, как мертвого, в лоб.

Утром, с тяжелой головой Тихон шел к колодцу, ставил ведро на скамейку возле сруба и пил тут же, через край.

Проходившие мужики смеялись:

— Живой?

— Живой, — зло, сквозь зубы, отвечал Тихон. — Это все она, не баба — яд! Сколь разов зарок давал, божился, клялся, а как к вам в Рожновку явлюсь, разговорюсь и с Дунькой непременно нарежусь...

— Любит она тебя, Тихон, — говорили мужики, — ей-богу, любит... Дело бабье, вдовье... Ты бы не шатался по селам, а жил бы в примаках.

— Ну, нет, — возражал Тихон. — Уж больно баба горяча. Сожжет она меня, дотла сожжет...

Принимаясь за работу, Тихон плохо соображал, стыдливо отводил глаза от сына. Стегней помогал отцу, просил:

— Не ходи к тете Дуне, тятенька! Попросимся к дяде Науму на ночлег...

— А и рад бы не ходить, а не могу, — отвечал Тихон сыну. — Мал ты еще встреть в мои сердечные дела, голуба душа. Ну, работай знай.

А потом, в полдень, он, уже трезвый, весь в поту, тяжело спал под телогрейкой, уткнувшись в вонючий рукав.

Там, где больше платили, Стегней с отцом клали быстро, под песню. Если платили мало, они мычали что-то грустное, и с их молчаливого согласия работа продвигалась в час по ложке...

В те далекие времена работы с металлом было много. Идет Стегней с точильным деревянным станком через плечо, звонко кричит:

— Ножницы точу и ножи-и!

Постоит, нехотя озирая дома, и плетется дальше... Тихон брал за работу и сырым, и вареным — кто чем может. Водились у него и деньжата. Мастерство рождается с трудом, Стегней работал с охотой, навык и теперь овладел ремеслом редким и нужным. Он стал и золотарем.

Летом колодцы мелели, вычерпывались, забивались упущенными ведрами, обрывками веревок, обломками багров... Тихона искали по окрестным весям. И когда находили, везли его, высокомерного, чинного, как попа. В селе тотчас собирали сходку: посреди улицы ставили стол под сукном и скамейку; рядились, сколько платить мастеру и его подручному, чем он возьмет — натурой ли, деньгами ли...

Тихон — средних лет, с сердитым одутловатым лицом запойного пьяницы, тяжело, с достоинством поднимался со скамейки и, в землю гляючи, — он был горбат с рождения, — глухо бубнил:

— Знычт так... Колодец глубок, вода — далече... На пятом метре плавун, на осьмом глина и прочее... Потому и положу... Знычт эдак... Сто целковых мне, четвертную мальцу моему, подручному. Харчишки ваши, магарыч тоже...

Временами из толчеи вырывался голос какой-нибудь старушки:

— Ой-ой, обдерет аки липку...

И Тихон, услышав такие речи, вдруг поднимал голову и, залупив глаза, отсекал:

— Тише, бабка, не кукуй! Дай немому выговорить!

И тут — уговаривай Тихона, проси не проси — он помалкивал, клещами слова не вытаскишь. Только глянет искоса, шурко поведет глазами по народу и опустит клокастую голову на клюку...

И все же мужики и бабы не расходились, ладились, таков был заведен обычай. Старухи ахали, поталкивали в бок неразговорчивых стариков: слыханное ли дело, сто двадцать пять целковых за какие-то два-три дня работы, да таких и цен-то нету, да на мирских харчах, да еще магарыч!

К концу сходки, когда уже речь шла про магарыч, из толчеи, работая локтями, пробивался к столу маленький юркий старичок, рожновский краснобай Наум Копейкин, прижимистый, сметливый и на хлявинку выпить не дурак. Сверкая плутовскими глазами, он порывисто снимал с себя, с голого черепа, засаленный картуз и начинал издали:

— Мужики! — потрясая картузом, выкрикивал он хриплым голосом. — Мужики!.. Слушайте сюда, мужики!.. Как, согласны нанимать Тихона за такую

цену, ай нет?! Счас свои прынцыпы доказывайте, чтоб опосля кривотолков не было! А то я ладился, речь промеж вас держал, и меня же бабы ваши отла-яли, чуть с потрохами не сожрали... На меня одного бочку покатили, мол, Наум виноватый, он, дескать, рядился, а сам в кусты... Вот...

Бабы вспомнили тот случай, подняли гвалт, ор...

— Как же, тебя сожрешь! — выкрикивала Дунька Лукина. — Тобой, чёртом, враз подавишься! Ишь как размазывает, слушайте его...

— Тише, Дуня, не ерепенься... — Наум боялся ее как огня. — Чево рот-то раззявила? Дело говори, не ори! Мужики, уведите-ка ее отсель. Гля-ко, залила зенки и орет! Уведите...

Мужики советовались со стариками, вспоминали, какие деньги в каком году платили за чистку колodцев, ладились и сбрасывались на магарыч.

— Дак как, мужики? Чево шушукаетесь там? Че-го молчите-то? Ай языки коровы отжевали? — торопил Наум, а сам краем уха ловил шепот. — Согласны, ай нет?

— А сам-то как думаешь, Наум Сидорыч? И тебе, любезный, придется раскошелиться...

— Правда, говори-ка, а то все на шермока да на так норовишь...

И тут надо было видеть Наума! Он враз прикидывался глухим, складывал заскорюзлую ладонь подковкой к уху...

— Чевой-то не разберу... — и низко пригибаясь к Тихону, шептал: «Не сдавайся, форс держи...» Вслух же спрашивал мастерового, чтоб все услышали:

— А дешевле как, Тихон? Народ спрашивает.

— Дешевле?.. А спроси их, знают они, что колодец стоит столько, сколько влезает в него сторублевков?

— Ну-у!

— Вот и «ну». Гну! Мое слово — олово! — громко отрезал Тихон. — Не навяливаюсь. Не желаете энту цену — как знаете! Я вот сейчас посижу малость, покурю, — шапку в охাপку и в другое село зальюсь. Там народ сговорчивее...

— Эдак, эдак... — шептал Наум Тихону. — Жми, дави... — и громко сипел, подняв голову на мужиков: — Видали, а он, мол, не хотите — как хотите! На своем стоит... Вот!

Со стороны можно было подумать, что Тихон не знает русский язык и говорит с рожновцами через переводчика Наума Копейкина.

Наум свое дело знал туго.

— Тут толкуй не толкуй, мужики, а сто двадцать пять целковых придется выложить из гасника, не иначе! Да харчишки, да магарыч... Мой сгад согласиться. Многовато, конечно, но... — и тут Наум беспомощно разводил руками, украдкой подмигивая Тихону, как бы говоря, что дело состряпано, пора и кончать этот базар.

Бесстыжий, прожженный сукин сын, Наум Копейкин прикидывался простачком, рубахой, сам же

гроша ломаного не платил мастерам, отделялся тухлой капустой, ржавым салом, самогоном. «Дешево и сердито... — говорил он своей строптивой и жадной старухе. — Пускай дураки деньгами сорят, а мы смердогончиком да закусью отмажемся... И мастер доволен, и сам возле него: сыт, пьян и носик в табачке... Так, матушка? — и постукивая указательным пальцем в свой висок, добавлял: — Тут, мать, не навоз и не мякина, а самый что ни на есть сельсовет...» Старуха смеялась в тон мужу, звала Наума отцом и одобряла его словами: «Вали, твори, супостат, делай, окаянный...»

На сходке жена Наума стояла в сторонке, сложив губы куриной гузкой, жадно ловила каждое слово мужа, глаз с него не спускала. И когда мужики собирали деньги на магарыч — облегченно вздохнула и помчалась домой готовить закуску.

Сходка не расходилась, в спор вязывались бабы. И когда мужики уже ушли к Науму, все еще говорили о деньгах, считали, по сколько платить каждой хозяйке...

Между тем в пятистенном доме Копейкина уже пропустили «скупую», первую, потом — чтоб вода не портилась, а была бы «аки бабья слеза»... Много. Наум норовил, чтобы мужики меньше закусывали, все наполнял стаканы... По домам расходились с песнями.

Тихон уже не мог идти к своей зазнобе, куражился, сипя Науму в лицо:

— Я, брат ты мой, фатовый! У меня денег куры не клюют! — и, зная жадного до денег Наума и его хозяйку, вынимал из портков пятирублевку, сыпал в нее табак и закручивал в самокрутку.

— Што ты, што ты, опомнись! — притворяясь пьяным, сипел Наум. — Мать, возьми-ка у него пятерик, дай газетку... Не ведает, что творит. Готов, как есть готов, и лапотцы в сторону...

Стегней заливался слезами. День-деньской ходил он за отцом, уставал от шумной суматохи, сходки, споров... И так хотелось похлебать горячих щей, попить чайку вприкуску. А хозяйка, как нарочно, наливала пустые щи, наваливала чашку тухлой капусты, нарезала кирпичиками прогорклое сало, пропахшее кадкой и горелым ольховым листом. Приторно-ласковым голосом пела: «Кушайте, гости дорогие. Чем богаты, тем и рады...»

В полночь стучала в окна Дуня и орала сиплой октавой:

— Ну, Тихон, только сунься ко мне! Ах ты, изменщик коварный! Ты мне что на ухо пел?! Приди теперь, я тебя угошу, чем ворота запирают!

— Ложись спать, тятенька! — уговаривал Стегней отца. — Не открывай тете Дуне, драться будет... Ложись, голова бедовая...

Дуня Лукина стучала шеколдой, хрипло бранилась и уходила. И уж как мальчишка легко вздыхал, когда кончался ужин! Лез на печку, зарывался в одеяла и телогрейки и засыпал как убитый.

* * *

Так и жили отец и сын отхожим промыслом. Нынче здесь — завтра там, никто, верно, не знал их путей-дорог. Кормились сытно, а скитались по чужим углам. Одежка на Тихоне и Стегнее была хоть и не ахти какая богатая, но всегда чистая, крепкая. На ногах — сапоги с подковками, на плечах — ситцевые рубахи; портки они носили тоже синие, рубчиковые, — Тихон заказывал обнову и себе, и сыну на один манер.

В свежий погожий день на престольные праздники к Троице Тихона позвал Наум Копейкин угостить «на славу», а заодно и расплатиться за ремонт самовара «чем Бог послал». Тихон и Стегней притащились обыденкой из соседнего села, смозолили ноги в кровь. И все же рады были столу с разложенными перьями молодого лука, крупитчатой каше с маслом, блинам, пирогам с вязигой. Хозяйка не покупилась на этот раз, сдобрила и кашу, и блины коровьим маслом. Праздник был большой. Ужинать сели аж в сумерках, при керосиновой лампе, висевшей высоко под потолком и чадившей беспощадно. Тихон принял стакан, другой, пожевал хлеб с луком, но уже наевшись, выплюнул. Глаза его замутились, моргал он медленно, сонно. А Стегней поталкивал отца в бок, подергивал за подол синей ситцевой рубахи, шептал горячо:

— Тятенька, не пей, сердешный. Не пей, завтра работать не сможешь. Не осилю я один-то весь скраб починить...

Тихон с помутившимся взглядом, щеря гнилые зубы, обнял сына и залился смехом. И, выдыхая из груди самогонный дух, вскидывая голову на Наума, выкрикнул слабо и трудно:

— Вот, Наум, друг ты мой ситный! Погляди на моего малого! Каков? А?! Кормилец-поилец мне, горбатому дураку, на старость... Дальше меня пойдет в колодезном деле...

— О-о, хват...

— Хват! Ей-богу, хват! Самовар-то он тебе лудил, я не прикасался.

— Что и говорить, — в тон Тихону отвечал Наум, беспрестанно подливая в стаканы, норовя скорее спить гостя, чтоб тот не объел, — что и говорить. Мал золотник, а дорог! Вали, пей-ка, пей, Тихон — с того света спихан. Что ж задаром-то керосин будем жечь. Не ровен час и Дунька припрется, окна расколлотит. Утром о тебе спрашивала. Ни свет ни заря, а она, халява, уже на ногах. Ходит по селу: ляля тут — ляля там. Дура-баба, я тебе скажу, сердечно скажу: стерва...

— Не пойду к ней ноне, тяжел... Ай сходить?

— Не ходи, тятенька... — загудел Стегней.

— Сиди, коли пришел, — строго сказал Наум. — Пришел в гости — сиди...

Стегней ел кашу с молоком, устало заводил глаза, слушая пьяную болтовню Наума. Хозяйка сидела на лавке, скрестив руки на груди, думала что-то, време-

нами исподтишка поглядывая на Тихона. К полуночи между Тихоном и Наумом завязался крупный разговор, и Стегней решил, что пора укладываться спать.

— Не пей-ка, не пей, по шее тебя пирогом! — со слезами на глазах упрашивал Стегней отца. — Душа должна знать меру... Глянь-ка, дядя Наум тверезый, а ты — через губу не переплунешь, налился... Ну, что ты, тятя, право? Как праздник, так чистое наказание с тобою!

— Ну, будя, малый, будя ворчать-то, — косно, еле ворочая языком и икая, отвечал Тихон, крепко навалившись всем корпусом на столешницу. Цigarка мастерового нещадно дымила... — Счас лягу... Бай-бай-бай...

Сердечко малого перепуганно билось, точно чуяло беду: Тихон встал со скамейки тяжело, не открывая глаз, закачался и тут же свалился под стол. Наум и Стегней хотели было перетаскать Тихона в горницу. Не сумели. А хозяйка искоса поглядела под стол, злобно плюнула и ушла спать.

Рано утром, когда едва начало выкраиваться из мрака окно, хозяйка поднялась по нужде и глянула на Тихона. Тот лежал лицом вверх, раскинув руки на полу. Свернутая комом телогрейка под головой была в блевотине; согнувшись вдвое, Дарья различила на ней кровь. Остекленевшими глазами Тихон смотрел куда-то в потолок. «Блевотиной захлебнулся», — мелькнуло у нее в голове, и лодыжки затряслись от испуга. Подбежав к Науму, она заорала дурным голосом:

— Наум, проснись! Пришла беда — отворяй ворота!..

— Что орешь, дура... — сонным голосом хрипло отвечал Наум и крутнулся на правый бок.

Срывая с мужа лоскутное одеяло, Дарья резко вскрикнула:

— Восстань, супостат! Тихона кондрашкахватила! Восстань, анчихрист! Ты его поил, тебе и ответ держать перед Богом и людьми...

Наум вскочил с кровати в исподнем, подбежал к Тихону, опустившись на колени, приложился ухом к груди мастерового. И, с трудом вставая с пола, мелко крестясь на темный угол горницы, озираясь на окна — шикнул на Дарью: «Чево орешь как резаная, стерва! Ай я его неволил? Ай я ему в горловик заливал?! Чего рот-то раскрыла, народ собираешь... Я тут не виноватый...»

Стегней спал в чуланчике. Услыхав голос хозяйки, он открыл глаза и выбрался из-под накидки. То и дело хлопали двери, приходили шумливые хмельные мужики и бабы. Почуввав неладное, Стегней надел портки и рубаху, вошел в горницу, шурясь после темноты и напирая на толпу, — и обомлел.

Люди, жадные до зрелищ, стояли тесным жарким кольцом. В примолкшем человеческом кругу, кинувшись на грудь отца, он отчаянно завопил: «Тятя, тятя! На кого ты меня оставил... Ой, головушка моя

горькая, бедовая!» Бабы и старухи плакали, оттаскивали сироту от отца, но он рвался, лез, захлебывался слезами...

И остался Стегней не то нищим, не то изгоем...

Его приютила учительница. Отвела сироте уголок для книжек, столик и местечко, где держал он жалкие пожитки свои. Спал же — на стареньком диванчике, продавленном до пружин. К осени Наталья Ивановна купила Стегнею кремовую рубашку и синие посконные шаровары, — все это на свои сбережения, а перед тем как идти в школу, расчесала ему волосы на прямой пробор, — словом, все чин-чином, только бы и учись. Да не тут-то было. Хоть и был Стегней переростком, старше одноклассников на два-три года, учился он из рук вон плохо. Билась, билась с ним учительница, тайком плакала, силой принуждала к грамоте — всё напрасно.

С грехом пополам, через пень-колоду одолел Стегней два класса, просидев в них по два года. Перевела его Наталья Ивановна в третий класс. Ни читать бегло, ни писать толком Стегней так и не выучился. «Я эти книжки не осилю... — твердил он учительнице, совестливо опуская глаза и краснея. — Мне чево ни то попроще: паяльник, отвертка, клещи... Что толку сиднем-то сидеть? Весь зад я тут просидел, на зад у сидючи. Пора свой хлеб зарабатывать, я уж большой...»

И Наталья Ивановна, добрая, радушная старушка, часами вела с ним беседу, читала про Ваньку Жукова, норовя привить вкус — ни в какую! Хоть кол на голове теши. На уроках Стегней — тише воды, ниже травы. Тих, смиренен — воды не замутит — был он и на переменах. Ребятишки, бывало, толкнул его в бок, он очнется, как от сна, встанет и хлопает глазами на учительницу. Озорники подымут смех, а Наталья Ивановна горестно поведет глазами на приемыша — слезой обольется. Стегней и сам понимал, что смешон сверстникам, учительнице приносит одни огорчения. Кумекая своим детским умом, Стегней ничего не мог придумать, кроме того как идти зарабатывать хлеб в поте лица. И, вспоминая безграмотного отца своего, он, сидя за партой, вздыхал горестно и прерывисто. Лицо бледное, в глазах тоска смертная. От взгляда Стегнея у Натальи Ивановны сжималось сердце, невольно приходило в голову: «Уж не болен ли?»

И повела учительница Стегнея в райбольницу. Малого обстукивали, обслушивали, вертели за плечи и так, и этак... «Мальчик вполне здоров, может учиться», — сказали ей. «Что делать? — думала учительница, припоминая самых бестолковых учеников и работу с ними... — А может, и впрямь отпустить на все четыре стороны? Авось жизнь заставит ума-разума набраться».

— Что же нам делать, Стегнеюшко? — спрашивала Наталья Ивановна приемыша с отчаянием. — Как быть?..

— Чево?

— Работать хочется, скитаться по чужим углам?

— Ну да, по работе руки свербят... — гнул Стегней. — Эх, бывало, с тятенькой — зальемся по селам, по деревням. Спасибо этому дому, айда к другому, и... только пыль столбом. Особенно весной и летом: идешь, бывало, идешь полем, а жаворонки поют... так поют... и небо синее. Сядем где-нибудь, раскинем попону и часами смотрим в небо... Ни тебе арифметика, ни грамматика, а так — усякая усячина... Эх, вольная волюшка...

— «Усякая усячина», — вздыхая, повторяла учительница. — Говоришь, как покойный отец. Что же, видно собирать тебя надо в путь-дорогу. Ты хоть изредка заходи. Зайдешь ли? Рада буду. А коли надоест и захочется учиться — милости просим... Так не забудь же!

Взвалив ветхую дерюжную сумку на плечи, с багом — от собак, ударился Стегней дорогами отца...

— Эха-а! Ищу клады старые, ношу портки рванные! — приговаривал он.

Всё так же бродил проселками, всё так же ночевал то здесь, то там, слушал ссоры, жил чужими жизнями... Одежка на Стегнее была чистая, крепкая; стирал и латал он ее сам — выучился у отца малолеткой. И когда шли в Рожново, останавливался у Натальи Ивановны, пока к дому ее сносили завернутые в вороха отрепьев — от ржавчины — ведра с промятыми боками, кастрюли и чаплашки.

Сам заходил в горницу одинокой старушки всегда бодрый, притомившийся и загоревший в дорогах. И, прежде чем снять сапоги, раздевался, вынимал из сумки подарок: цветастый платок ли, шарф ли — без подарка ни разу не был.

Наталья Ивановна жила при школе, в казенной квартирке. Тотчас собирала учителей пить чай. Показывая обнову, старушка говорила со Стегнеем без умолку, очки сползали на кончик мясистого носа, и без конца набегала на глаза слеза, которую она то и дело смахивала уголком ситцевого платочка. «Ну зачем ты носишь мне это? Купил бы себе что-нибудь... Ты молодой, тебе надо нарядному ходить...» — «Успеемся, — отвечал Стегней, — авось не жених... Вот зачну колодцы рыть — обнову справлю к зиме будь здоров!»

Когда все расходились, учительница расспрашивала Стегнея о его работе, о жизни, уговаривала осесть в Рожнове насовсем, и чувствуя теплый прием старушки, ее заботу, слыша ласковый голос, Стегней уже подумывал было последовать ее совету остаться в Рожнове, но нежданно-негаданно захворала учительница крупозным воспалением легких, и ее увезли в город. Потужил он и вновь пустился в дорогу.

— Ба-абы! Кастрюли, ведра чинить! — уже окрепшим, молодецким, неожиданно свежим голосом покрикивал он, чинно, манерно откачиваясь на ходу. И, стреляя глазами на девок, мило улыбался:

— Девки, титьки золотить...

Из года в год росла слава мастера.

Медная и оловянная посуда, топоры, лапти, кочеды, долота и струги — всё мог он, но главное — колодцы. Войдя в лета, Стегней вытянулся, окреп телом и духом. В плечах сух, в кости широк, глаза с прозеленью и блеском. Каштановые волосы струились из-под козырька, из-под картузика, ладно сидевшего на большой голове. И только шея была тонка в распахнутом вороте, совсем несоразмерна пышно вздыбленной прическе, — тонкая, зимой и летом загоревшая до черноты. Покрикивая и поглядывая зорко по сторонам, шел он твердой походкой, молодой, крепконогий, цепко держа обтертый посошок. Подначивал девок.

Выбегали стаи ребятишек-воробьят с криком: «Стегней идет! По Шее Пирогом пришел!» Вынимая конфеты, пряники, баранки, Стегней раздаривал все это ребятишкам, вспоминая свое детство, без умолку болтал с ними...

Мужики и парни приносили часы-ходики, полные пыли и сухих мух; расстроенные гармоники мастер отлаживал с особым удовольствием. Бывало, настроит голоса, заменит басы, планки... И вдруг как-то неожиданно для всех собравшихся топнет сапогом, тронет на хромке и начнет отжаривать на все село.

Девки так и подмывало в пляс. Были в селах свои гармонисты, потомственные. Но куда им до Стегнея — в золотых руках мастерового гармонь не играла — выговаривала!

Порой, отдыхая от работы, он пел частушки «зазывные, озорные и страдательные».

Девки в озере купались,
Я на камушке сидел.
Девки юбки поскидали,
Я зубами заскрипел...

В Рожново Стегней бывал теперь только по срочным заказам: какие-то грустные думы накатывали при виде кладбища с покосившимися крестами и сытой листвой деревьев, когда он проходил мимо. И все же чем-то ближе были ему рожновские парни и девки. Может быть, потому, что учился с ними и знал всех наперечет.

Стегнея зазывали на вечерку в клуб, на посиделки, просили играть; он играл на хромке, пел и смеялся. А как-то раз проводил Варвару до дому. С тех пор присохло сердце Стегнея к девке, тянуло в Рожново пуще прежнего. Путешествуя далеко от Варьки, он с чувством радости, тайком от посторонних глаз, вынимал из бокового кармана пиджака носовой платок, читал, — сердце радостно работало и сладко ныло от счастья. И сразу вспоминал ее, всё что она говорила, стыдливая и гордая красавица. Заново переживал первый поцелуй... «Ах, останусь, останусь в Рожнове...» — приятно думалось Стегнею. И вот как-то ранней весной, когда снег сошел, а травка

только-только проглядывала, — свежая, молодая, ярко-зеленая, — пришел Стегней в Рожново копать колодец. И пристрял к нему Наум Копейкин с просьбой «пожаловать перекусить». И хотя Стегней не любил Наума за его краснобайство, скупость к деньгам и лесть, всё же согласился. За ужином разговорились...

— Ты бы, голубчик, крышу мне подлатал, — говорил Наум малому, плеснув ему горькую. Стегней отодвинул стакан, замотал головой.

— Ай не пьешь? Жаль, жаль... А то бы хряпнули по черепушке. Отца бы помянули, земля ему пухом... Хороший был мастер... Ну толкуй, как живешь-можешь?

— Хорошо... живу, а что мне... Обут-одет.

— Нда, с тобой видно не разговоришься, не в батьку пошел. Ну, деньжонок-то, деньжонок-то скопил? Сколь, ежели не секрет?

— Зачем они мне?

— Как это зачем? — Наум залупил глаза от удивления, уставился на малого. — Деньги всюду нужны, чудака-человек. Даже в песне, я даве слыхал, парни пели: «Деньги есть — и девки любят, и с собою спать кладут... А денег нету — хрен отрубят и собакам отдадут...»

— Гы-ы-ы... — Стегней засмеялся, покраснел и совестливо отвернулся. — Гы-ы...

— Чево гыкаешь-то? — Наум сам ощерился щербатым ртом, показывая гнилые корешки передних зубов. — Чево смеешься? — не спуская с лица улыбку, продолжал он. — Эх, голова еловая твоя. Да разве так-то живут? Аки цыган кочуешь, все имущество при себе, а проще сказать — одне портки... За работу не просишь, а берешь что дадут. Так, друг ты мой ситцевый, не сколотишь деньгу про черный день. Не-ет! Вижу, учить тебя надо уму-разуму. Сколь годков-то стукнуло?

— Кажись, семнадцатый пошел... Не знаю точно, тятка метрики потерял, да и что они мне. Мое дело — работай, вкалывай к примеру...

— Метрики, оне метрики и есть, не про них толк, — перебил Наум. — Я вот чего: годы-то идут и едут, дело молодое, жениться пора, семьей обзаводиться, свой угол занимать, то да сё... А на какие шиши, спрашивается? Слыхал я, что краля у тебя завелась, Фросина девка... Так, что ли? Она?

— Она...

Вопрос стушевал мысли Стегнея, он отвел взгляд на окно и стогал со стыда.

— Ну вот, видишь? И девка есть! Да какая девка! Кровь с молоком! Только вот что: Фрося не отдаст ее за тебя, потому как хозяйства не имеешь, а только шастаешь от села к селу, ровно сатана, ровно черт лапотный, согрешил я, грешный. Оседло жить надо, помни! Не мотай башкой-то, не мотай. Подумавай!

Минуту-другую Стегней думал, только с другой стороны: «А что? За десятки верст ходить к Варьке в

Рожново — тяжело... Вольная жизнь, неволя ли — чем хрен слаще редьки... А-а, уж все одно...»

— Где осесть-то? — спросил наконец Стегней Наума.

— Да хоть бы и у меня. Места хватит — вон они, хоромы-то какие! Денег — копейки не возьму. Ну, само собой, что починить, пособить уж не откажешь, надеюсь...

— Да теперь и шататься-то не время, — вздохнув, сказал Стегней. — Отходит промысел. В колхозах свои мастера, у них инструмент — куда моему.

— Во! А я про что? А колодцы рыть позовут! — Наум даже потер ладони от радости — так он умно расставил сети. — Годы — к старости, детей нет, а в хозяйстве такой работник — ничей клад. Дошло до тебя, Стегнейшко! Слышь-ка, мать! — крикнул он жене, чутко ловившей каждое слово.

— Слышу, слышу, — как бы нехотя ответила Дарья. — Места хватит, за сына будет...

Стегней крепко задумался. Так круто ломать жизнь, все привычки, променять вольную волюшку не легко. Знал он и то, что за здорово живешь Наум угол не отдаст... Вспомнилась Варька-краса: русоволосая, краснощекая, ядреная... Петь, плясать — хлебом не корми, первая на селе...

— Да как, мил человек? Согласен? Остаешься у меня?

— За сына будешь, как родной... — опять приторно-радушно сказала из-за занавески хозяйка.

— Ладно, согласен, — проговорил Стегней. — Видно, чему быть — того не миновать...

И осел квартирантом у Наума Стегней. Жизнь же пошла своим чередом. Бывал он на вечерках, игрывал на хромке и ничем не отличался от иных-прочих деревенских парней. И пошли по деревне разговоры: «Засушила Варька Стегnea, ремесло бросил, стал рожновским, коренным, тутошним...».

Засушила ли, нет ли, а с давних пор в левом кармане пиджака, как тайну, все носил Стегней платок, подаренный Варькой, с красной каймой и надписью, вышитой по четырем углам: «Дарю тому, кого люблю. Люблю сердечно, дарю платок навечно».

Каждый вечер, перед тем как идти в клуб, Стегней капал на платок духами, свертывал вчетверо и клал к сердцу, в боковой карман. «Я хочу жениться на Вас, Варвара Петровна...» — говорил он сам себе, а провожая Варю, краснел и молчал.

Как-то ранним утром Стегней провожал Варвару до дому. Расставались долго, целовались горячо. Фрося, мать Вари, увидела их, притулившись на крыльчке. Дерзкая, норовистая Фрося тотчас крикнула: «Варька, домой!» Варька шмыгнула в дверь. Стегней, понуря голову, пошел прочь, вдруг до слуха донеслось: «Ты, малый, за моей девкой не гоняйся, она тебе не пара!»

У Стегnea пот выступил от стыда. Надо было что-то сказать, ответить, поговорить с Фросей Никола-

евной, может быть, тайком попросить, а он пробормотал пришедшее на ум: «Любовь не картошка, не кинешь в окошко...»

— Вона, любовь! — со свистом открывая певучие двери, бросила Фрося дерзко и зло. — Какая такая еще «любовь»? Портки прежде залатай да угол какой-нито подбери, а тогда про любовь потолкуем!

Стегней со всех ног пустился на квартиру. Наум отворил ему дверь. «Что случилось, малый, что случилось?» — бормотал он, шатаясь со сна. Стегней, не отвечая, лёг спать и до восхода солнца глаз не сомкнул, все вздыхал, охал. Слова Фроси резали слух, сердце колотилось, лицо горело от обиды.

Год от года росла и крепла любовь Стегnea к Варваре-красе. И вот уже Стегней и дня не мог прожить без Вари. Купил себе новую гармонь русского строя, суконные портки, которые он носил теперь с припуском на сапоги, крепкие, несокрушимые, жарко насажденные ваксой. На голубую ситцевую рубаху повесил галстук, — хотя носить его не любил и называл «собачей радостью». На посиделки ходил каждый вечер, в колхозный клуб заявлялся с гармошкой. Бывало, осенними вечерами накинёт пиджак, надвинет новый картуз и с гармонью вышагивает к клубу, наигрывая и подпевая:

Не садись на эту ветку,
Голосистый соловей!
Энта ветка припасена
Для гибели моей...

Грустно было слушать такие песни, грустно становилось и Вале. Зато в колхозном клубе Стегней преображался, оживал, лихо отжаривал на гармонии, а девки так и липли к нему, как мухи на мед. Если молодежь собиралась возле клуба, мимо проходящие мужики и бабы и те порой пускались в пляс.

* * *

Рожновцы по-своему любили Стегnea, ценили его тяжкий труд, а прозвище «По Шее Пирогом» — пристало к нему не по злему умыслу.

Кроткого нрава, смиренен, не пристрастный ни к табаку, ни к спиртному, и — что пуще того поражало мужиков — не матерился. В горячке работы, случалось, дернет молотком по руке, да так, что небо с овчинку покажется. Всякий на его месте не утерпел бы, заругался с солью, помянул бы и Бога мать, и святителя... А он только скрипнет зубами от боли, поплюет на саднившее место, проговорит: «Ах, по шее пирогом! Как же это я так?!»

Рожновские мужики, меткие на прозвища, так и прозвали Стегnea — По Шее Пирогом, — это была единственная зацепка позубоскалить над ним.

— Тебя как звать-величать? По документам? Ты кто? — спрашивали парни. — Кто кличет тебя Стегнеем, кто — Степаном, а кто — По Шее Пирогом...

— Зовут-то? Правильно-то? — озаряя милой улыбкой кроткое простое лицо, отвечал Стегней. — А и сам не ведаю! Я не письменный, не хрещеный, а читаю по слогам. Мать-то родить — родила, а назвать не успела — померла... Батка с горя запил, братцы мои, — и чертил долго, потерял свой паспорт и мои метрики. С тех пор сам не знаю, кто я: Стегней, Степан или кто другой... — говорил он, не переставая улыбаться; зубы у него были ровные, белые как кипень, при бледно-розовых деснах.

— Дак а кто же прозвище-то тебе присупонил? — приставали парни. — Уж больно нехорошо так-то обозвали...

— Пошто нехорошо? Пирогом-то? — пошучивал Стегней. — Нет, ничаво, сойдет... Это я, верно, сам себе накликал, уж такое у меня присловье, любовь к пирогам... Да что за беда? Прозвали и прозвали, нехай зовут. Пускай хоть горшком, або в печь не засунули...

— Да ведь тебе, небось, обидно, когда так-то называют, особливо при девках?

— Ни капельки, ни вот столько...

— Ну-у? — не верили ему...

— Крест на пузе, не брешу, — отвечал запальчиво Стегней. — Оскорбляет не то, что слышишь, а то, что болтаешь. Если, скажем, лаешься как кобель или пыль людям в глаза пускаешь... пьешь, опять же... А так... что же тут плохого...

— Да так-то оно так, верно... — соглашались.

— То-то оно и есть! — с неотразимой логикой заканчивал Стегней.

Еще потому прилипло прозвище к Стегнею, — любил он пироги с начинкой, а всего лучше — с маком. «Самая что ни на есть вкусная и полезительная пища, — твердил он всюду, — самая сытная! Пироги со вкусом, а к пирогу — какое-нито хлебово: квас, щи, брагу медовую...»

А бродя по сёлам, работал он только за харчи. Не собирал сходок, не любил рядиться, многодетным и вдовам чинил посуду бесплатно. Да и чем им было платить? И чтобы хоть как-нибудь отблагодарить мастера — собирали вскладчину муку, масло, затевали пироги. И — так всегда, бывало — вечером соберутся за столом, разложат пироги, ведут беседы о житье-бытье, вспоминают учительницу, Тихона...

Стегней, не привыкший к большим сборищам, сначала совестился, ел скромно, отводя глаза в сторону, а через минуту-другую набивал полный рот, раздувал и без того широкие ноздри... «Люблю пироги! От них кровь густеет и шея толстеет...» Бабы смеялись, подкладывали куски пирога мастеровому, приносили квас медовый ковшками...

Ел Стегней за троих. И когда усердно жевал, у него шевелились уши. Молодые вдовы, озорства ради, подливали в квас настойку. И тогда в голове шумело, «густая» кровь Стегнея закипала бурным весельем; он тотчас бежал за гармошкой, широко садился на

лавку, под стать Тихону, и, пристукивая коваными сапогами, наяривал забубенные мелодии.

Потеряв надежду на «руку и сердце» Варвары, застал он тихую обиду на Фросю, стал нелюдим и уже ждал повестку в армию. Но беда пришла неожиданно-негаданно: сверлил он в колхозной мастерской стальную плиту, торопился на свидание. Очков не надел. Вокруг сверла змейкой завертелась стружка, развилась, распрямилась пружиной и угодила в правый глаз. Выхлестнула.

Мужики, работавшие рядом, услышали: «Ах, пошее тебя пирогом!..» Подбежали, разорвали исподнюю рубаху, перевязали глаз, висевший на одной страшной кровавой нитке, и так как больница была в соседнем селе — повезли в Озерное. Там добрых пять часов терзали его, но глаз вытек, и Стегней наловчился закрывать его хромовой шкуркой.

И всякий раз прилаживая клочок шкурки к глазу, Стегней вздыхал: «Вот беда, так беда... Жениться — не женился, и в армию не попал. Теперь к Фросе и вовсе не подступись. Эх, Варюша моя милая, глаза — незабудки, руки — лебедушки!» И отчаялся Стегней. А чтобы хоть как-нибудь сбыть горе, искал он сочувствия и дружбы у рожновских парней из тех, кто тоже не годились для солдатских сапог: хромых, близоруких — словом, несчастных по судьбе и с рождения. Они как-то лучше понимали Стегнея с его горем, сопереживали его помыслам и потугам.

В селе знают друг о друге всё — и хорошее, и дурное. Летними вечерами, когда сядет солнышко, собирались парни возле окон Наума «погуторить» со Стегнеем. Для трепу сходилась весь излом и вывих.

Сначала советовались со Стегнеем:

— Помоги-ка, брат, По Шее Пирогом, заострить железку к рубанку. У тебя сельсовет-то вон какой большой, и руки под брусок заточены...

— Чердак-то? — отшучивался Стегней...

Подпилоч тоскливо оттачивал железо.

— Чердак неплохой. Шея для такого чердака слабовата.

И как-то сам собою разговор переходил на девок. Тогда калеки начинали язвить друг дружку с подковырочками; порой безобидная болтовня доходила до драки.

— Дела-делишки... — время от времени вырывалось у Стегнея, он хмурился и погружался в думы...

— Чтой-то ты, брат, По Шее Пирогом, все вздыхаешь, охаешь... — и, подмигивая друг дружке, добавляли: — Верно, Фросю никак не уговоришь? А?

— Фросю теперь ни один дьявол не уговорит. Не отдам Варьку — конец!

— Не по себе колодец роешь, — говорил Лука. — Девка хороша, не нам чета... Что спереди, что сзади, а с лица и вовсе королевна. По совести сказать, и я сватался, все знают, да только без толку... От ворот поворот. Хороша Маша, да не наша...

Стегней хотя и знал, что Лука сватался к Варваре, но это признание Луки покорило его, задело за

больное. Он с трудом молчал, хмуро двигал бровями, хотел уйти, но тут в разговор встрял Акимка.

— Ну-у, начинается игра, значит, прятаться пора... Все та же песня: королева спереди, королева сзади. А по мне — девка как девка. Господи, расхвалили-то! Раскрасили! Вон Настя Козлова, чем не жена любому из нас? И не так уж вихляется, как эта Варька.

— Не спорь, Акимка, — перебил Лука. — Что зазря языком трепать? Любой скажет: у девки все при себе! Верно, Стегней? Ты скажи, скажи...

— У Варьки, верно, все при себе, — отвечал Стегней. — Да вот у нас не все при нас: я без глаза, у Луки — обе ноги правые, Акимка видит только полсвета, да и то по-черному... Дела-делишки! — Сахар на раны был ему более соленого.

И беседа принимала интимный оттенок. Лука, переламываясь в пояснице, опираясь на клюку, подходил к Стегнейю вплотную и тихонько выводил:

— Чево она тебе сказала, Фроська-то?! — густой дым, едкий и злой, валил из ноздрей и рта Луки. — Отказала или что? Чево толкует-то?

— Толкует-то? А то и толкует, что и тебе: за Варькой, мальчик, не бегай, упования оставь при себе. Да ведь и то сказать: одноглаз, шея тонка, голова велика... Как в подобных людях Варьке со мной показаться? Аки смертный грех. Так-то, Лука. Хоть и соперник ты мне, а все же постой, погоди...

— Ну, тебе-то не откажет Фрося, — говорил Акимка, наострив слух, — баба, она баба и есть. Ныне одно — завтра другое понесет болтать. Волос долог, а ум короток... А ты ее обхаживай, Фросю-то. Не горюй, чудака-человек, — советовал Аким. — Ноне — погребок отделий хорошенько, завтра — трубу поправь... Глядишь — и дело к концу, честным пирком да за свадебку... А Варька-то согласная, замуж-то?

Мастеровой ответил тихо, грустно, точно самому себе:

— Согласная, да не идет супротив матери.

— Эх, вишь ты, согласная! — вздохнул Лука. — Мне бы так, как ты, на гармони выучиться, я бы...

— Ну, коли согласная, дак и толковать нечего! Не будь дундуком, жми давай на Фросю. И сватов засылал? — влез в разговор Акимка.

— Ну, какое там, сватов, — отмахиваясь руками, ответил Стегней. — Она меня так отлаяла, мысли теперь не держу...

А в это время к подоконнику прилачился Наум, наострил ушки топориком, слушал и мотал на ус... За горячей беседой парни и не заметили голого черепа Наума, да и сумерки нагрянули.

— Так, так... — думал себе Наум. — Время сеять, время жать...

— Сватов зашли, кого-нибудь потолковее, и вся недолга... — советовал Акимка...

И неожиданно заключил просто и кратко:

— Стегнейшко, дай деньжонок на мерзавчик, у тебя есть, я знаю...

Стегней вытащил из порток деньги, не глядя сунул в руку Акиме, но разъяренный Лука не дал тому взять.

— Это ты чему же науськиваешь-то? А? — заорал он, размахивая обтертой палкой. — Ты на какие-такие дела направляешь Стегней, черт слепешарый! А может, я тут для отвода глаз брехал про себя?! Может, она мне согласие дала, а ты мне всю малину обгадил, рыжий пес! — и разъяренный Лука, хромя и ругаясь, пошел прочь.

— Ступай, ступай, не проедайся, — вслед Луке отвечал Аким. — Хитер бобер! Обе ноги правые, а куда же... К Варьке льнет. К Катьке пристаёт. Лезешь в волки, а хвост собачий. Стегней-то мастер, а ты пустобрех!

Боясь скандала, в окно высунулся Наум, крикнул во всю глотку:

— Эй, малый, ужин простынет!

— Ну, прощай, Акимка, зовут.

— Прощай, приходи на вечерку с гармонью.

После ужина Стегней долго собирался на вечерку в клуб. Причесал волосы гребешком, смазал их подсолнечным маслом, приладил попрямей клочок кожи на глаз и вздохнул. Наум исподтишка поглядел на него.

— Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко. Хоть за курицу, а на свою улицу... Ты, малый, до утра не гуляй. Завтра работенка у нас с тобою. Как придем с колхоза, делов по домашности невпроворот станет...

— Да ну вас, дядя Наум, — огрызнулся Стегней. — Всё у вас дела.

«Э-э, милый, — подумал Наум. — Вот и видать, что далеко зашла твоя непостижимая любовь. Видать, с рук тебя сбывать надо».

— Не плюй в колодец, — сказал он вслух, — пригодится воды напиться.

— Красно толкуете, не понять вас.

— Ладно, иди покуда, потом поговорим. Иди, иди.

Стегней взял гармонию, она вздохнула, поправил ремни и вышел на улицу. Темень — глаз коли. Дорогой он заиграл «страдание». И понемногу, одна за другой, клеились к нему девки, парни-подростки. В клуб ввалились весело, шумно.

Простая крестьянская изба-пятистенки была оклеена агитплакатами послевоенного времени. Девки бойко грызли семечки, орехи, сплевывая на пол. Под ногами хрустела шелуха, шелкала скорлупа. Стегней был грустен не в меру. Вспоминались разговоры с парнями и Наумом, злая Фрося не выходила из головы.

Красивая Варька, заметив тоску Стегней, подседа вблизи, все поталкивала исподтишка локтем и что-то нашептывала; она не скрывала свою склонность, а в клубе привыкли видеть их вместе.

Шелуша семечки с удивительной ловкостью, озорная Варька торопила: «Скорее играй, По Шелушке Пирожком, а то больно плясать хочется, ноги чешутся...» А Стегней нарочно долго смотрел на

планки, мерял их пальцами, открывал крышку ба-
сов, задерживая взгляд на невесте...

Сидеть с Варькой было одно удовольствие, чув-
ствовалось ее нетерпеливое ерзание по скамейке.
Радостно слышался озорной шепот, слушать его хо-
телось без конца. Две тяжелые косы мотались на вы-
сокой груди; в глазах играл отблеск лампы. Когда
Варька смеялась, на алых щеках ее, точно подкра-
шенных пастелью, показывались ямочки. Стегней
всегда чудился запах от Варьки — сложный, вкус-
ный, нечто вроде парного молока. Она, не отрыва-
ясь, грызла семечки, шелуха собиралась под нижней
губой клубочком. Она то и дело смахивала ее сред-
ним пальцем. От сложных чувств у Стегнея ожив-
ленно работало сердце. Он пробовал басы и голоса, а
Варька с подружками мигом бросалась в пляску, как
в холодную воду, пробуя пол на прочность каблука-
ми сапог...

Гармониста я любила,
Гармониста тешила!
Гармонисту на плечо
Сама гармошку вешала, —

высоко и красиво пела Варька. От быстрой пляски
кровь играла в лице, Стегней улыбался, налегал на
гармонь всей грудью. И вдруг ни с того ни с сего за-
водил свою:

Девки по лесу ходили,
Любовались на ель:
Какая ель, какая ель!
Какие шишечки на ней!

И — в минуту девки и парни разбирались парами,
вначале скованно, прикидываясь, что шутят, потом
мало-помалу смелея, шли по кругу. Стегней подли-
вал масла в огонь, отжаривал:

Топится, топится
В огороде баня,
Женится, женится
Мой миленок Ваня!

Парни и девки разом подхватывали:

Не топись, не топись
В огороде баня!
Не женись, не женись,
Мой миленок Ваня!

В ту темную, теплую ночь гуляли до утра. Стегней
был грустен, говорил мало и, что удивило Варьку, —
ни разу не поцеловал ее.

— Что ж все молчишь, Стегнейко? Ай уж ска-
зать нечего? — обиделась Варя, взяла Стегнея под
руку. — В клубе вон как наигрывал, а тут — ровно во-
ды в рот набрал... Ай рондравились?

— Я бы хотел жениться на вас, Варвара Петров-
на! — выпалил Стегней. — Надоело прятаться. Хочу,
чтоб все видели... Руку твою и сердце...

— Ну, наконец-то дождалась! — сквозь смех от-
ветила Варя. — Да разве я против? Я бы хоть сейчас,
да вот мать... Уговори ее, а? Ей про Фому, а она про
Ерему: «А хозяйство у него отлажено? А корова, а по-
росенок есть?»

— А давай убежим в район, в жильцы. Я в депо
слесарем пойду, а там и казенную квартиру дадут...

— Эх, Стегней! Рассуждаешь, как малец какой.
Да каким же манером я мать оставляю? На кого? При-
думай что-нибудь поумнее. Ну, сватов, что ли, заш-
ли... Наума Копейкина... И сам... Ох, не знаю...

— Выгонит! Сбила она мне охоту. Старое вспо-
минать — только душу рвать. Прощай, Варя, до за-
втрака... Не горюй, звезда моя, голубочка.

Дома Варя, не раздеваясь, сняв ногу об ногу сапо-
ги, упала ничком на кровать, воткнула голову в по-
душки и засопела. Фрося почуяла неладное. Подо-
шла, спросила:

— Чтой-то с тобою ноне, девка? Ай захворала?

— Не захворала... Мамочка, не желаешь ты доче-
ри счастья, — прошептала Варька, заплакала и на-
крылась с головой одеялом.

— Ой, ой, — стоном стонала Фрося. — Ой, бо-
сяк, ой, Стегней! Приманул девку! Ой, обманом при-
манул...

— Да-а, мамочка, приманул-ул, — тянула из-под
одеяла Варя.

«Я хотел бы жениться на вас, Варвара Петров-
на!» — чудился ей голос Стегнея, и она все плакала...

Утром Варька прибежала в мастерскую, отыскала
Стегнея и, озираясь, поцеловала. Пахло от нее моло-
ком.

Дыша мастеровому в лицо, спросила:

— Ну, что же ты? Что Наума не шлешь? Я с мама-
ней говорила, она оттаяла!

— Жить без тебя не могу, ночей не сплю! — с по-
мутившейся головой скороговоркой отвечал Стег-
ней. — Не согласится — уйду куда глаз мой глядит.

— Дурак, дурашка, что ты, что ты...

— Тише, люди кругом...

И пожав тайком руку Стегнея, Варя выскочила на
улицу и опротясь помчалась домой.

Во второй половине дня Стегней пошел к брига-
диру в «брехаловку». Тот писал что-то за грязным
столом, жестом пригласил сесть.

— Ну? Что скажешь? — не поднимая головы,
спросил бригадир. — В отхожий промысел? Не пушу.
Ты теперь наш. Понял? Работай!.. Наш!

— Нет, нет, какой там отхожий промысел... —
Стегней смутился.

— А что же? Говори скорее!

Стегней глубоко вздохнул, помял фуражку, иско-
ся глянул на бригадира, сидевшего вольно и важно в
силу уверенности в себе.

— Сватать иду... Жениться надумал...

— Эх!.. А молчишь! Чья девка-то?
— Варька. Варвара Петровна Мотылькова...
— Это Фросина, что ли? Что ж, знаю, хороша девка. Однако помни себе: женитьба не напасть, да поженившись не пропасть. Ха-ха! Запомнил? Ну вот так. Ступай, сватай на здоровычко. Да на свадьбу не забудь позвать.

Наум Копейкин ждал Стегней, поглядывал в окно. На столе стояла бутылка водки под сургучом, а рядом — шмат сала, завернутый в чистую тряпицу. Наум разделся как именинник: намастил сапоги, надел красную косоворотку, пиджак сивого сукна, а на череп уместил военную фуражку.

— Тошно ждать тебя, малый. Уж ждал-пождал, все жданки поел. Живее, живее! Дома делов куча, а ты резину тянешь. Надевай-ка что-нито почище, и айда! Пошебаршим...

— Откажет... — влезая в рубаху перед зеркалом, говорил Стегней. — Как пить дать — на дверь покажет... Уж я ее знаю, Фросю-то...

— А я, мол, пошебаршим это дело, обмозгуем. Штоб я бабу не уговорил — не было такого! Не робей, было ваше — стало наше... Ну, держись, Варька... За мной!

Мать Варвары сажала в печь хлебы и была не в духе: поскупилась, положила картошки в квашню с ржаной мукой, тесто не поднялось.

— День добрый! — с порога крикнул Наум. — Здравствуй, Ефросинья Трофимовна!

— Что это ты меня так величаешь? Чево приперся-то? — удивилась Фрося, вытаскивая из печи сковородник.

— Ну, сразу и брехать... Хорошая, понимаешь, баба, а бреховая...

Наум снял с себя картуз, повесил на гвоздик, погладил и пощупал голый череп. Не ожидая приглашения, прошел он в передний угол и сел на лавку.

— Что-то я Варвары твоей не вижу? Где она?

— А тебе зачем она? Варька-то? Говори скорее, некогда! Вишь, хлебы сажаю... Ты гляди-ка, уселся на лавку и молчит, от делов отводит!

Стегней в душе ругал себя, ведь это он затеял сватовство и попал в неурочный час. И хотел уже повернуть оглобли назад. Наум мигнул ему, сиди, мол, все будет мило.

— Э-хе-хе... Еф-ро-синь-юшка! — глазом не повел сват. Как всегда хитро шураясь, выжидая, когда отойдет сердцем Фрося, продолжал: — Плохо без мужских-то рук, ой как худо! Ухватишко вот-вот отгорит, скамейка качается, разваливается. Покосилась дверь, висит на одной петле... Худо, худо...

— Отвяжись, пустая жисть...

— Хм, хм-м...

— Да ты об деле толкуй. Чево явился-то? Дело пытаться али от дела лытать? — и чувствуя, что Наум пришел по важному, поставила ухват в угол, вытерла руки о передник и села на табуретку возле него.

В это время из дверей второй связи выглянула красивая голова Вари, и тотчас дверь затворилась. Наум Копейкин потеревил колено, искоса взглянул на Фросю и кивнул Стегнею:

— Малый, выдь-ка отседа на минутку. Да не в сенцы, а в горницу ступай! Потолкуй там с молодой, поиграй... Потребуешься — позовем. Ну, ступай, ступай, чево мнешься-то?

Стегней ушел к Варьке. У Фроси отвалилась нижняя губа от любопытства. «Что будет говорить этот прохвост?» — думала она, вперив глаза в Наума.

— Что ж, Наумушка, в чужой избе распоряжаешься?

Наум повел издалека.

— Он мне заместо сына, Стегней-то... Сирота. Некому примиловать, только обижать. Не след мне его отпускать, ох, не след. А тут вижу: сохнет малый по девке. — Он понизил голос до шепота: — Не ровен час, слышь-ка, руки на себя наложит. Ты подумай, какая слава-то о тебе пойдет... Даве толкует: уеду, гырыт, на все четыре стороны... И уедет, а что ты думаешь! Такой мастак, вся деревня загорюет! И загорюешь, ты что!..

— Вот сидит, нахваливает, — проворчала Фрося, поджала тонкие синие губы. — Сватать, что ли, приперся?

— Во! А и умная ты баба, Ефросинья Трофимовна! Я всегда говорил: Ефросинья — баба-умница! Золото! Одначе, что ж ты, милая, молодым поперек дороги встала, на кривой не объедешь, не обойдешь? Что малый одноглаз?

— Я малого не корю, малый — труженик... А только Варьке рано замуж, осьмнадцати лет, — вставая с табуретки, сказала Фрося.

— Ты сядь-ка, сядь... Молодая, говоришь? Хе! Молодая, а все хоть выжди, в самом что ни на есть соку... А сама-то ты старухой, что ли, замуж выходила, я помню!

Фрося хмыкнула, прикрыла рукой губы: добрая улыбка окрасила ее лицо, иссеченное от горя и тяжелой работы. Этой сорокалетней женщине можно было дать все пятьдесят.

— Шешнацать было, когда просватали... — снова хмыкнула она, показывая кривые, гнилые зубы, точно высосанные леденцы.

— То-то вот и есть: шешнацать! Девке замуж хотца, а ты встала нараскорячку — и баста. Молодые договорились, а ты уперлась. Сама знаешь: бабий товар скоро портится. Пройдет год-два и — крышка. Некому и посватать будет. И будешь с ней куковать, сухари грызть на печи. А не то... — тут Наум засипел шепотом и дико зыркнул на дверь горницы. — А не то притащит тебе в подоле, и корми... А что, не бывает? Вон Нюрка Агахина в подоле принесла отцу-матери...

— Ну, ну, что ты...

— Оно, конечно, всяко бывает, — продолжал Наум.

— Я и сама стала об этом задумываться... Красота, она хуже воровства... Вчера так и сказала: «Не выдешь миром, так убеги!»

— Вот! Ну а я про что! Битый час толкую. Да ведь малый — золото, алмаз бриллиантовый. Орел!

— Малый хорош, — согласилась Фрося. — Да ведь у него ни кола ни двора, все имущество — одни портки. И у Варьки в сундуке хоть шаром покати... Жить-то как будут?

— Вона! Имущество ей сразу подай! Да у Стегней руки волшебные. К чему ни притронется — все звенит и в деньги превращается. Колодец выроет — тут тебе и обнова, и корова. А на свадьбу соберем. Собреем, ты не волнуйся. Я с процентом дам...

— Наумушка, а ты что же его от себя отпускаешь? Ай не нужен уж?

— Как на духу скажу тебе, Ефросинья: все одно уйдет. А ин добром вспоманет дядьку Наума. — Глаза его вдруг налились слезой. Он занес руку и поискал глазами икону, но не нашел, всхлипнул и продолжал:

— Виноват я перед ним, Бог свят, как виноват... А помощник-то у нас какой с тобой будет, Фрося... На вечные времена...

— Помощник! Руки золотые, а портки худые. Давне шла мимо мастерской, глянула, а у него коленки светятся. Мастерство хороша! А в кармане ни шиша!

— Да ведь почему нету? Пойми! Все бабы норовят задаром, за так. Ну принесут там яичек парочку, пирогом угостят. А у него нет смелости сорвать с вашего брата, робок. Ей-ей, робок, его грех. Я б на его месте — я б сорвал! Принесла чинить — плати! Поправить что ни то — плати. А как же! За работу платить положено, а вы все на халявинку, абы как... Вот бабы! И сами же обижаются...

— Прямо не знаю, что делать... Смутил ты меня, Наум, ей-бо, смутил, смутитель... Прямо не знаю, не ведаю... Оболтал...

Чувствуя, что Фрося отошла, сдается, Наум пошел в стремительную атаку: он вытащил из портка поллитровку, зубами раскупорил и поставил на стол.

— Поговорили — как меду поели. Слава Богу, миром. Неси-ка, Фрося, что ни то зажевать. Промоем сговор, а то недосуг... Делу — время, делу — время, а и дело-то давно решенное. Неси скорей, а то дома-де работы прорва, море разлитое...

Фрося, всё еще раздумывая, утирая слезы краем передника, потащила в кухню. И, подавая на стол хлеб, огурцы, разворачивая тряпицу с салом, говорила тихо, жалостливо:

— Одна-разъединственная... Как отдать? Пойми! Оболтал ты меня, Наум, ей-ей, оболтал...

— Оболтал! Скажешь! Разъяснил просто. Я кому хошь разъясню, потому как чердак на плечах, а не возле поясницы... Полно выть-то, не за меня отдаешь, за малого. Я, может, больше тебя горюю, а виду не подаю. А что? Он мне заместо сына родного. Хлеб-соль едим вместе... Ваше здоровье. Х-ха...

Крепка... Он вот к тебе уйдет, а я без него как без рук. Не отпускать бы... Эх, пропадай моя телега...

— Подождал бы с недельку, куда торопиться? Как угорели! — не отставала Фрося от Наума. — Дай подумать...

— Думать да гадать — дела не видать! — окорачивал Наум, жуя хлеб и соля его прямо во рту. — Чево думать, када молодые уже зацелованы. А то правда: принесет тебе в подоле...

— Да типун тебе на язык! Тьфу! В подоле, в подоле... Бога побойся, мошенник. Несешь с ветру, дурень шербатый! — Фрося мелко закрестилась.

— Это так, к слову пришлось... Ты вот вдовой-то живешь, легко ли?

— Не дай Бог!

— Во!

— Хоть караул ори. Без хозяина дом — яма!

— То-то и оно-то! Утри слезы-то, утри, голова... Эй, молодежь! Подь сюда!

Из горницы вышли Стегней и Варька, румяные от стыда. Потупившись, смотрели на Фросю. Фрося вынесла из горницы засиженную мухами икону в окладе из фольги, вытерла ее передником и проговорила сдавленным голосом:

— Благословляю... Живите мирно, чтоб люди завидовали...

— Самое главное! Где лад, там и клад, — говорил Наум. — Кланяйтесь матери, кланяйтесь матери да в передний угол, под икону!

Молодые уселись в передний угол. Варвара с опущенными ресницами, расплетенными косами сидела неподвижно, точно окостенела. В избе было тихо, мерно стучали ходики. Стегней уставился в столешницу и был нем.

— А ты бы, мать, щец налила... — невнятно говорил Наум, старательно жуя и звучно сглатывая. — Плесни-ка ковшика два-три, похлебаем...

Фрося, как больная, потерянно побрела к печи...

— А хлебушка теплого, сват, — спросила она...

Наум плескал в стаканы, смеивался, отпускал такие словечки, что молодые рдели и отворачивались как от злого ветра. Наум послал Стегней за гармошкой. В избу собрались девки, молодые бабы, парни, падкие до гулянок... И, перекрикивая гомон толпы и гармошку, Фрося, нет-нет, кричала Науму:

— Вот охмурил, черт шербатый!

И до самой полуночи слышались по селу песни, молодые голоса, да томно вздыхали басы гармошки...

* * *

Свадьбу назначили к Казанской.

Чтобы заработать деньжонок к свадьбе, купить новую пиджачную пару, белую рубаху и сапоги, а невесте подвенечное платье, — жених работал за троих, с ног сбился, расхаживая по окрестным селам и деревням: паял, лудил, крыл крыши, правил печи... За

неделю до свадьбы подрадилась чистить колодец в середине села. Бывало, глянешь в тот колодец — сердце замрет, а крикнешь — эхом отзовется собственный голос и долго-долго гаснет в его черной утробе. Словом, колодец самый глубокий окрест...

Стегней вставал раненько, в ряд с солнцем, приходил домой в сумерках.

Жил он теперь у тещи. К полуночи, выбившись из сил, Стегней падал на кровать, спал как мертвый; то бредил во сне несусразное... Варька слышала его голос, кашель и осторожно целовала сонного.

За три дня до свадьбы, когда осталось вычерпать грязную жижу со дна и поправить нижние венцы дубового сруба, Варька увязалась за Стегнеем: пойду, говорит, помогу тебе. Хоть грязь черпать буду, наверх поднимать.

— Жар у тебя, Стегненьшко. Вчера ночь криком кричал.

— Нам тесно будет, Варя, не ходи, — начал было уговаривать Стегней невесту. — Займись своими делами...

— Чем? — встряла теща. — Дела теперь у вас общие. А и делов-то палата. Нищему собраться — только подпоясаться! Иди, иди, Варя, с мужем, авось не слиняешь — поработаешь. Холодец я сама заварю. Была б коза да курочка, состряпает и дурочка...

Стегней и Варя переглянулись, захохотали. И решили, что надо закончить к вечеру всю работу. День выдался ведреный, жаркий.

Стояли июньские дни, как по заказу. Молодая зеленень набрала силу, кое-где уж отцветала сирень, ржавела и никла под солнцем. На улице стаями бегали голопятые ребятишки, пересыпались с крыши на крышу воробы...

У колодца собрались мужики, какие остались от войны, — сцепляли веревки для спуска в колодец, настраивали бадью, тесали новые дубовые венцы...

Когда мужики узнали, что Стегней будет работать с невестой, удивились, — ни одна девка еще не чистила колодцы. Спустили сначала Стегнея, стали готовить Варьку.

— Ну, Варька, держись! — шутили мужики. — На дне домовой сидит. Он девок любит...

Варя тоже отшучивалась, смеялась. На ней были старые-престарые штаны, заправленные с напуском в резиновые сапоги, голова повязана линялым ситцевым платочком, а на плечах — кофточка бежевого цвета. Мужики вязали лямки, петли, точно готовили к прыжку с парашютом. Варька, красивая, стройная, стояла не шевелясь. Ни старые портки, ни линялый платок, ни дырявая кофтенка — ни что не стерло девичьего изящества: прямой стан строен, на лице — румянец, высокая, легкая, грудь тугая. Косы она заправила под платок, уложила у злом...

— Стегней! — крикнули мужики вниз. — Держи свою зазнобу крепче! Да поглядывай!

— Слышу, слышу... — глухо откликнулся Стегней.

Колодец был широкий. Варька черпала ковшом грязь, наполняла бадью, кричала мужикам: «Тащи-и!»

Мужики тянули вверх вонючую жижу. Временами попадались обрывки веревок, ржавые цепи, истлевшие сошки...

Часам к двенадцати вода пошла чище. Стегней подгонял нижние венцы в «ласточкин хвост», подчесывал уголки. Дело подходило к концу, работа пошла веселее. Стегней нет-нет да и облапит Варьку за талию, жарко поцелует в лицо.

— Уйди, нашел время... — ругалась шепотом Варька. — Мужики увидят, на то ночь будет... — А сама так и льнула к нему.

Вода была холодная, такая холодная, что у Варьки деревенели ноги. Она уже не черпала ковшом, а прямо бадьей. Работа продвигалась споро. Тут же говорили и о свадьбе, кого пригласят из родственников и подружек Вари...

— А не сходить ли нам в сельмаг прямо ныне? — спрашивала Варя. — Деньги у нас теперь есть...

— Я у Наума попрошу, — сказал Стегней, — тоже не откажет.

Здрав голову, Стегней увидел замшелый венец, ковырнул его носком топора. И в тот же миг посыпалась труха, обломок венца упал прямо к ногам вместе с кусками глины, рухнул весь сруб...

Мужики испугались, заорали, заметались у колодца. Сбежались бабы, старики, ребятишки. Кто-то глухо бил в ведро, призывая на помощь...

Когда расчистили, растащили колодец, было уже поздно. Варька лежала без дыхания. Черным пятном кровь запеклась на челе. Грудь Стегнея вздымалась порывисто, с хрипом. Что-то булькало у него в горле, надрывая людям сердца. Изредка можно было разобрать: «Ах... по шее пирогом! Вот так... сыграли... свадьбу...»

Всё смешалось в середине села: голоса баб и мужиков, визг ребятишек, плеск жидкой глины и плотный стук бросаемых друг на друга венцов из колодца...

— Прощай, Варя, — как последний вздох выпустил из груди Стегней. — Прости меня... Обвенчает нас мать сыра земля...

Смаргивая набежавшие слезы, он еще что-то лепетал. Минуту-другую колыхались его плечи и грудь, но уже судорога пробежала по лицу, стискивались и скрипели зубы.

Подкатали на дрожках везти его в больницу; вечером, перед заходом солнца, он умер...

Такого еще не было в Рожнове: хоронили молодоженов. Из избы Фроси вытащили один за другим два гроба, усыпанные летними полевыми цветами. Всё село высыпало на улицу, провожали в последний путь жениха и невесту. А за селом, на кладбище были вырыты две могилы рядом. К двум крестам этих могил мужики прибили доску черного цвета с надписью: «Дай им вечную любовь, Господи!»

Теперь над могилами стоит могучий тополь. Крепсты забоченились, эпитафию трудно прочесть... Но как свежа память рожновцев! Стоит только остановиться там на минутку, как к вам подойдет кто-нибудь из селян и непременно расскажет эту историю, историю жизни и любви мастера колодезных дел, как легенду, которая не умирает.

КАПИТАЛ

В Осиновке не было объездчика злее Фомы Кукина. В свои сорок с небольшим — выглядел он подростком: невысок, рыжеволос, голова маленькая, острой тыковкой, густо поросшая волосами морковного цвета. Лицом красен, конопат и так курнос, как бьют ещё курносы малорослые, в третьем колене осевшие в России немцы, коротконогие, с подмесом мордовских кровей.

И сквернослов был на редкость. И хоть не выговаривал он «б» — «Бог», а говорил «пох», но матерщина эта богохульная страшила до дрожи осиновских, до озноба — столько зла, ненависти вкладывал он в крик:

— С-стой! — кричал он на поле, застав старуху за выкапыванием картошки, — стой, в пока, в душу мать!.. Засеку! — И так гнал лошадь, хлестал её — ожаривал наотмашь то с одного бока, то с другого, что обомлевшая, чуть живая от страха старуха бросала и ведро и мешок с голландской картошкой и удалялась бечь ни жива ни мертва от страха.

— Ой, смотри, — предупреждали Фому осиновские, — смотри, Фома, уж очень ты лют и матерщинник. Сказано: всё простится человеку, но хула на Духа Святого не простится — ни в этом мире, ни в будущем.

— Ты мне зубы не заговаривай. Вытряхивай картошку из мешка. Пешь потащишь к хозяину. Ишь, умная... Всю до единой выкладывай, засеку на-смерть! — И волок за собой вёрст пять-шесть, до конторы учётника, где на вора или воровку накладывали штраф.

— А ты меня не пужай, не боюсь, — одёргивая подол рваной телогрейки, отвечала старуха, осмелев и отойдя от страха на выходе из конторы, и с упрёком добавляла: — Ба-арину служишь... холуй...

Фома был и впрямь неразборчив. Раз, застав на яблоне в саду, возле казённого пруда, мальчишусироту, — так ожёг ремённым кнутом, что бедняга замер, и небо показалось с овчинку. Мальчик Филька так и явился домой, онемевший, мокрый. Залез он, дрожа, на печь и на вопросы не отвечал, только молча плакал.

Тётка его, явившись из районной больницы, куда она ходила ежедневно за пятнадцать вёрст ту-

да и пятнадцать обратно на заработки санитаркой (другой работы не было в разваленном, со скупленной землёю бывшем совхозе), — отодвинув шторку над печью и разглядывая спину мальчонки, — обомлела:

— Вот хамлет, а, хамлет фашист... Вот так гад навязался на нашу голову...

— М-ма-ма, — опоясанный несколько раз кнутом с наконечником, только и мог выговорить паренёк.

За мальчонку встряли мужики: был сад, и пруд, и сотки совхозные акционированы, акции же скупил у совхозных некто, будто бы голландец. В лицо его знал только Фома Кукин, нанятый им и ему же прислуживающий. В понимании же осиновских — и сад и пруд как были, так и остались: ничьи. И картофельное поле за лещугой, за тальником у оврага — тоже. Мужики собрались, выпили самогону из грелки, что выставила им за Фильку Полина, и она попросила:

— Только не убивайте, а то посажают ещё за этот дерьма кусок...

Мужики выпили для куражу, стащили Фому с коня, били без зла, но долго. Таскали по базу, по телячьему навозу, в камень усохшему, раздрающему живот и бёдра, волочили по битому, огранистому как алмаз лизуну — крупным камням соли. Потом объявили:

— Ну всё, барский прислужник, теперь леворуюцию тебе сделаем: сказним начисто.

— Это как?

— Как? Ты газеты читаешь? Радио слушаешь? — Всем действием взялся заправлять Колька Пряхин — из деревенских самый отчаянный. — Уже объявлено от правительства: прихватизацию прекратить, всем незаконным владельцам всё народу вертать, а кто добром имущество не сдаёт — того исказнить... По древнему и проверенному способу: посадить на кол. Как жука навозного...

— Мы тут посоветовались... Есть такое мнение... Словом, хана тебе, рыжий. А потому мы сейчас ещё выпьем и... того, акт проведём. Акт полноценного вандализма и торжества законности: на дрючок тебя, того, задрючим. А ты не бойся, не ты первый, не ты последний, по длинной жердине съезжаешь вниз оттак от, задом на вострую, хлоп, и готово, и всего делов, потому как есть ты незаконный объездчик, давно уже лютый и самовольный... Лицо не выбранное нами и нами не одобренное, к тому же как это... званием-то, ну как его, как?..

— Как есть: самовольный собственник. И нацмен ещё — тоже. Пусть так своему хозяину и передаст, если жив останется.

— Передаст?! Я? — взвился Фома. — Сами вы тут все передасты!

— Нет. Не то... А — во! Экспроприация экспроприаторов, то бишь приватизация прихватизаторов... За большой хапок — всем буржуям хлопок!

Мужики принесли осиновый кол, здоровенный и тяжёлый, и в цвет холодного свинца... Старательно и долго затёсывали его на колоде, из которой, на другом её конце пили быки, пуская долгую хрустальную слюну, ничуть не боясь отмашек топором, а только глядя на Фому долгим и печальным взглядом, пили воду... Фома тоже смотрел.

Потом разлили из грелки воняющий резиной саmogон, сказали поминальный по объездчику тост:

— Ну, братцы, за Фому, земля ему пухом...

Но этого тоста Фома уже не слышал. Перегрызши украдкой кожаные подносившиеся уже путы, он был таков. И не видел, как хохотали ему вослед мужики.

На другой день явился милиционер, собрал всех участников самосуда, «учинённого давеча над доверенным лицом», в хате и заставлял подписать протокол. Мужики были с похмелья, но категоричны, они так и не поняли, что протокол составлен на них, заявили:

— За него, за рыжего педераста, ничего подписывать не станем. Пусть его сажают, товарищ сержант. Хоть убей... Этот прыщ убийца и мучитель.

— Да постойте, да погодите, дураки вы, ведь вам, того, вам же лучше, если это самое... если добровольное признание... и так дальше. Явку с повинной вам оформим. Подпишите, и так дальше, это все. А то владелец посадит вас за издевательства над подчинённым и совершённый самосуд с непосредственным покушением на жизнь потерпевшего, и так дальше. Может, ещё на административное правонарушение, на мирового напишем... И это самое... Выйдете чистыми. Ну, там пятнадцать суток или штраф, и так дальше...

— Он мальчишку чуть не уколошил, фашист...

— А где побои, кто докажет теперь? — не унимался милиционер. — Вы их зафиксировали? То, что немой стал, это ещё не факт, немой и притвориться возможно...

— Да ты чё, Иваныч, — перешли на «ты» мужики, — против нас, что ли, бумагу-то оперу-то пишешь? — Догадались, наконец, мужики. — Ты что, не русский, не наш?

— Про вас, архаровцы, про вас... Опера про, сколько вас? Раз, два, пятеро — вот про пятеро белых лебедей... И срок, наверно, вам на пятерку намотает хозяин, и так дальше... Вы хоть знаете, кому пай-то продали, архаровцы? Фамилия его Шухерман Яков Львович... Понятно? Я вам по секрету скажу, когда я сюда собирался, он мне так и сказал: денег не пожалею, порву на части эти грязные вонючие онучи...

— Он кто же, немец, что ль, тоже? Иваныч?

— Немец, тут круче бери: слышал же — Яков Львович...

Тут у милиционера зажужжал мобильник, он выткнулся в струну:

— Да, есть, так точно... Всё понял. Отказались. Все пятеро, доставим... это самое... Всё, мужики, — он щёлкнул замком портфеля и молча ушёл.

Вечером того же дня приехал, качаясь на рессорах, воронок с решётками в окне задней двери, и мужиков, всех пятерых, увезли.

Фоме и вовсе словно руки развязали. Объездчик не унимался. Неутомимо гонялся он за бабами, сгоняя их с бахчей и огородов. Наезжал и на мужиков... Пускал жеребца давить.

— Что?! — орал он тогда, правя коня на человека, словно норовя затоптать. — Что, взяли Фому Кукина? Поняли, чья правда теперь? У... Стопчу! В пога, в духа...

— Ишь, вольный казак, руки назад. Теперь ему и вовсе нечего бояться...

— Казак палестинский!

— Погоди, — отвечали ему, — Колян Пряхин выйдет или сбежит, он отчаянный, всё припомнит... Не одобровать тогда тебе, иуде...

— Оттель не сбежишь... Небось очухались, с кем связались, да поздно. Близок локоть. Да не укусишь... Вона! Колькой пугать, сгниёт на руднике. Нынче новая власть, не про вас, голодранцев, вона!

Говорили вполслуха, из уст в уста, что фермер Шухерман платил ему «баксами», или «гриннами» — а это не наши деньги, не русские, навряд ли сребреников, только гораздо ещё дороже и грязней. Давал и фураж на лошадь. Солярку в центральной усадьбе сливал Фома и тоже продавал сам. Он норовил поиметь и с этого: загонял солярку частникам, скупившим совхозные трактора. Но «натуру» нужно было ещё суметь продать. А продавать он не умел и не любил, горячился, дерзил покупателю.

— Жаден, — говорили о нём. — Набаловал его хозяин... Шухерман.

— Хвалился вчера. Показывал доллары, эти самые...

— Ну, шо? Лучше наших рублей?

— Кой там лучше, ничего хорошего, голенькие какие-то денежки... Морды на них президентов ихних. За горло шарфами перетянуты, удушенники. Удушены, а улыбаются. В руки взять срам.

— Ну?!

— А на другой стороне пирамида и глаз...

— И шо, прямо это... висят, удушенники-то? На пирамиде, без глаз?

— Зачем «висят». Сидят. Смотрят. Живые ешшо... И глаз... в каком-то сиянии, всё видит...

Смеялись:

— Да ты хорошо смотрела, у него, у Фомы-то? Может, это хрен, а не глаз, на той пирамиде-то? Хрен у Хеопса? У нас деньги — вот это деньги. Три кобылы на сотенной — и понесли... Не остановишь... А то — глаз... Нашёл чем удивить. А был и вовсе Ленин...

— Ох, бабы. Зачем мы только пай свои дали оттяпать... Теперь на нашем на русском поле командиром какой-то Херр голландский через подставное лицо, верёвки с нас вьёт — а может быть, и вот через того же Фому сживёт нас со свету совсем. Не зря же

он так лют... Не просто же так. Капитал нажить ему пожелалось.

— Да мы и не продавали свои паи, и не сдавали. Ай не помнишь? Вызвали в собес: подпиши вот здесь бумагу, вторую пенсию получать будешь. Ну и подписали. Выдали ещё раз одну пенсию, и хана.

— А Фома-то так и говорит: «Жив не буду, а капитал сколочу, все мне в ноги упадёте... Поклонись...». А уж лют-то, рыжий, ну фриц, как есть фриц.

— Почему же не бьёмся за паи-то. Чтоб назад вернуть?

— А налог-то какой за них платить, налог двадцать тыщ за гектар, откуда деньжищи такие, кормиться как? Не всем же пенсии дают. Хоть крохи — но деньги. А то ведь было и хлеба не купишь...

— А Фома лют! На то и хозяин. Не мы — дураки. Сразу нашёл, ирод, кому продаться. Таких-то ретивых днём с огнём не сыскать.

— Плохо кончит...

— Плохо. Родную мать продаст. Не пощадил и племянника, кнутовищем огрел. Прикажут, так за деньги и до смерти заперет, как отца своего родного заморил.

Погубленного отца Фоме Кукину часто вспоминали, — таковы сельские. Отца он выгнал и вовсе незаконно из дома. Фома, казалось, и вообще жил по каким-то своим законам, внезапно откуда-то ставшим известными ему, козырял этим якобы знанием: «А ты знаешь, что такое закон Конституции, статья семнадцатая?.. Не знаешь!» или: «А ты знаешь, что такое закон? Закон — это воля народа!». А договорившись о чём-то, кричал, ударив по рукам: «Ну, всё, закон, закон!».

Ходил он, раздувая ноздри, бил старуху-мать, которая перед ним делалась как бы невменяемой и глухой от робости. Однажды и приехавшего к нему погостить молодого племянника застал за тем, что тот тайком зачерпнул бражки, которую Фома в целях экономии готовил и отстаивал на картофельной кожуре, для крепости. Племянник не успел быстро выпить черпак, подавился гущей. Был он безответен и как бы глуп. Фома подошёл улыбаясь. И вдруг стал так бить кнутовищем по голове, так, что племянник после этих побоев не годился уже ни для каких работ, ни по двору, ни по дому, и у него временами стала течь кровь из ушей. Племянник оглох. Мать и отца он едва содержал, а себе велел готовить всегда самый сытный, жирный обед, который он съедал в присутствии всех, за одним столом, милостиво разрешая подъесть за собой только матери, да и то в своё отсутствие, чтобы не слышать, как она, беззубая, чавкает. Отец, дождавшись его дальнего разъезда, варил иногда что-нибудь, но не в доме на газовой плите, а во дворе, на керосинке или в бане — Фома не терпел «посторонних запахов», а вернуться он мог в любую минуту.

Отца своего Фома поставил наёмным сторожем на картофельном поле. И тот жил в шалаше из иво-

вых прутьев и лапника во всякую погоду, и весной и летом — до поздней осени, до заморозков. Однажды он так простыл под осенними дождями, что у него при его больном сердце сделался припадок и отекли ноги. Он стонал от этих болей, едва-едва передвигаясь, добрёл до дому и повалился в сених. Приехал Фома и с самым злым матом, увидев отца, лежащего на соломенном тюфячке (со страха и сырости отец побоялся сразу забраться на печь, обсохнуть), — толкая отца в сапог кнутовищем, сказал:

— Ты что же, так и бросил поле, спать будешь? А что как разворуют, чем отдавать? Или мне там сидеть, всё бросить... Как бы не так, — от молчания отца он ярился ещё больше, — сейчас же на место, в шалаш. И чтобы больше такого не было.

Увезли старика назад, а через день проезжие рыбаки-охотники на верховую и водную птицу опять привезли его с жалости: помирает старик. Фомы дома не было. Они натопили печь, выпили что было, поднесли и старику для сугрева. На дворе всё больше разыгрывалась непогода.

— Как чайку хотца, — едва молвил старик.

Рыбаки напоили его и чаем, натерли водкой, дивясь на то, как отекли ноги старика, и на жестокость сына, бросившего старика в чистом поле. Словно дождавшись, пока уедут чужие, опять появился Фома. С порога он словно озверев, приказал идти отцу в сени, но старик не мог встать. Тогда он вытащил его волоком. Молча пил чай с сахаром, со вкусом, кричал что-то в сени отцу, точно приказчик.

— Да как тебе в душу-то идёт чай-то, — осмелев от отчаяния, заговорила мать, — ведь помрёт отец.

Она хотела помочь и перевести мужа на постель в горнице. Старик, кряхтя от боли, еле передвигал ногами, просил помочь ему встать, как вдруг Фома, словно очнувшись от оцепенения, заорал:

— Ишь! Чего ещё придумала, в горницу. В сени его, назад, да чтоб завтра и на поле!

Ничего не сказал отец, свели его опять в сени на промозглый и отсыревший камышовый тюфяк, на деревянную древнюю койку, на сквозняки.

Когда Фома пошёл будить его на поле, старик был мёртв. В доме, принадлежавшем отцу, выстроенном отцом, Фома остался полным хозяином.

Под стать Фоме была и его «супружница», тоже низкорослая, остроязыкая, как змея, жадно курящая сигарету за сигаретой, проворная, как ошенившаяся волчица, торговавшая в сельмаге разведённым спиртом из-под полы. И часто, купив у неё бутылку разведённого, «буренного» спирта, в шутку дразнили её: «Ну, как спирт? «Закон»? — И передразнивали с горнором Фомы: — Закон, закон... Смотри, потравишь — посодют, не посмотрят, что муж на миллиардера спину гнёт. «Законно! Закон это воля народа!» — «Воля народа!»...

— Сделаю капитал! — имел в виду эти подначки сельцовских Фома Кукин. — Сделаю капитал, они

мне всё тогда... Облокотились... Сделаю — и укачу из этих мест.

Не принимала всерьёз, близко к сердцу подначек и жена Фомы, она ещё бойчей приторговывала левым бесланским спиртом, который покупала в достатке и вовсе за бесценок с далёкого кавказского электролизного завода через воровавших яд обходчиков и железнодорожников.

Она разводила спирт один к трём. Спирт поднимался к горлышку, нагревал бутылку, растворяясь в воде, мутнел на короткое время. Она ждала конца реакции и, стараясь не тряхнуть, зная, что градус вверх, осторожно ставила на полку под прилавком. Бутылка получалась втрое дешевле заводской «Касимовской» или «Шацкой». Попробовав же «водки» «от Шурки», глотнув сверху первака, почти живого спирта, мужики восторженно и удовлетворённо замирали, пережидали, когда потухнет в гортани душистый пламень электролизного яда, чтобы вдохнуть воздуха и поблагодарить Шурку. Приложившись неоднократно, они не понимали и не знали, что на дне бутылки была едва ли не простая вода, их растаскивало и валило от табака и первака.

Под конец торгового дня продавщица и вовсе запирала двери магазина, расставляла и наливала пластиковые стаканы, превращая тем самым сельский магазин в кружало, в кабак. Навар от таких крутых поворотов в торговле был не мал и вполне надёжен: продукты из центра возили коммерсанты неохотно, а зимой на санях трактором — так и вовсе, водку — и того реже. А то — и привезут, а на посевную председатель прикроет продажу. Да ещё и налог, и лицензию, да взятки чиновникам в центре заплати. И отступилась торговая нечисть. Шурка же — тут как тут. Церемония же с бражкой самогоном, сельцовским сильно поднадоела, утратила корни за двадцать лет «нового нэпа». От самогоноварения отвыкли. К тому же не у многих хватало выдержки дожидаться, когда бражка поспеет, постоит и осядет. Ее выпивали «так» — ещё до полной готовности к самогоноварению. Кой гнать, она вся уже. Проще было украсть и продать чего ни попадя: снять кабель, выкрасть в домах, брошенных на зимовку, какой-нибудь скарб, алюминиевые тазы, ложки, — всё шло в дело... Выручить какую-то мелочь. А Шурка уже ждала... Наливала...

Слава объездчика и его супружницы стала со временем так велика, что однажды Шурка попала под «рубоп», наведённый по зависти ли, по обиде ли жён за вечно пьяных мужей. Но и тут Шурка вышла сухой из воды, «хвоста не замочив». Деревенские с тех пор и вовсе разуверились найти правду.

— Шурупчик! — раззявив большой рот с гнилыми зубами и красными дёснами, раздувая не в меру широкие ноздри и выпучивая глаза, кричал, слезая с кобылы, объездчик во хмелю: — Шурупчик, а ты мне, похоже, седьмую девку швырнёшь? Ишь, живот-то какой, вона — острый?..

А Шурка обрывала Фому, дерзко и зло отчеканивая, вполне резонно, впрочем:

— Что стругал, то и настругал. Какой ложился, такой и родился.

Дерзкий ответ жены приводил Фому в весёлое состояние духа, он обнимал её за талию и шептал горячо в ухо, возможно милее, продолжая кураж. Шепелявя и приникая к жене, словно от этих его разговоров и впрямь что-то зависело:

— Неужели впрямь седьмую девку родишь?

— Да говорю же тебе: не знаю!

— То — я знаю!.. Сходи на аборт, — отчаянно и как бы раздумывая, настаивал Фома.

— Ходила, да поздно хватилась, — отвечала Шура, прижав руки к большому, тыквой, животу. — И за доллары не берутся, срок вышел.

— П-почему?

— Можно в кровях утонуть.

— Думаешь, тебя жалеют? Суда бояться!

— Или Бога.

— Пога? Какого такого Пога? — взвился Фома. — А где он, П-Пог? Это теперь моды завели: куда ни плюнь — все погомольцы, плюнь — в погомольца попадёшь! Все за свечки схватились, — ворочая белёсыми зрачками, шипел Фома. — Может, и ты его поисся?

— Кого?

— Пога, Пога?!

И он попадал этим вопросом в самую точку, доставал до сердца, как ножом. И всю ночь «Шурупчик» при храпящем Фоме ворочалась с боку на бок, чутко прислушивалась к вспуганному голубиному какому-то шевелению в своём чреве, думала: «Вот. Говорят, ребёнок во чреве всё слышит. Тоже слышит, как и его судьба решается, ишь, ишь, закрутился, прямо веретено...» — и она затаила глубокую думу о нём, замолчала...

— Сами сделаем то, что надо, — вдруг заявил Фома.

Шура после бессонной ночи так и обомлела:

— Не дам, поздно!

— Ты с ума сошла, в пога! В веру! — орал Фома, но Шура была непоколебима и непреклонна, и осадила его с такой силой и яростью, на которую способна была только затравленная волчица:

— Только тронь!

Фома зашипел:

— Я знаю как, меня научили. Знахарке отслонявил полста зелени. Трава крушина, баня. Взвар — и вона — выгоним за милую душу. Надо только потом память чуток, закопать послед и всё, за милую душу! Всё! Закон!

— Ну, если так, — вдруг ослабла и присмирела жена... — Делай. Я помогать стану...

Шура и впрямь терпела отчаянно, через пьяный полуобморок, как сквозь сон (чем опоил он её, уж не мухомором ли?) — подсказывала, как надо мять, куда ушёл ребёнок, да скрипела зубами от нестерпи-

мой боли. Фома работал, «делал» отчаянно. Как заправский массажист, или как если бы всё это действие приносило ему удовольствие. Лишить же жизни человека, даже и такого крохотного, оказалось вовсе не таким простым делом, как предполагали они. С первой парилки ничего не вышло. И они готовы были через два дня ко второй, как вдруг узнали о капитале. Материнском капитале, от самого Президента!

— Триста с ...ем тыщ! Триста тыщ, Шурупчик! — чуть с тобой не выкинули. Чуть в землю не закопали. Вот дураки-то, — он крутил газетой у её носа, — на-ка. На-ка вот, читай! В райцентре дали...

Но дело оказалось куда сложнее. Капитал нельзя было ни взять, ни пустить в дело. И вообще пощупать было нельзя. Только переносить с книжки на книжку, из банка в банк. Нельзя было даже и построятся или достроить ранее начатое. «А вот на учёбу, когда взрослый будет...» — сказали Фоме в банке, когда он пытал кассира. «Только на воспитание, да и то не ранее, чем через три года...»

— Хот суки, — искренне изумлялся Фома, — надо же что придумали. Вроде и есть деньги, на, возьми... И нет, не возьмёшь... Хот суки!

Но попытки вытравить ребёнка решено было оставить. Второй попытки не случилось, и ребёнок родился. Родился он всё-таки недоношенным, выскочил прямо на ходу, в «полотье», «словно выронила» — как говорила Шурка. Она полола свёклу и родила прямо в огороде. Мальчик — со скрюченными руками, да и ноги не сгибались. Ходить он не мог и впоследствии без костылей, ползал. Сестрёнки возили брата в самодельной коляске, норовя провезти глухими улочками, вдоль оврага или огородами: ребяташки, увидев издали колясочников — разбежались по сторонам, кидали в сестёр комьями сухой земли, дразнили. Взрослые же — порой останавливались в оцепенении, крестились и шептали молитвы, глядя вослед жалким детям Фомы, провожая взглядом уродца...

Был он и впрямь страшен, Павлик: перекошенное лицо его с большой оскаленной волчьей пастью и «заячьей» двойной губой, всегда открытой и мокрой, — лицо его выражало то ли недоумение, то ли озлобленность, а несоразмерная с телом большая голова — качалась на тонкой шее, угрожая свалить мальчонку с коляски.

Сёстры не любили возить братца: тот мочился на прогулке, особенно почему-то в знойные летние дни, когда Павлушу катали в распашонке и коротких штанишках, которые он нарочно подворачивал ещё выше, вытягивал ноги, ворошась и показывая прохожим уродливые, в струпях шиколотки и запястья, поросшие редкими рыжими волосами.

На время прогулки Павлуши прохожие исчезали. Зрелище и впрямь было трудное: мальчишка, почти нагой, в обносках, к тому же нахватавшийся от родителей бранных слов — сыпал ими, как орехами. Он

был как бы физическим воплощением души своего отца Фомы. Орал на прохожих и проезжих с коляски, убогий и жалкий:

— Ну, что смотрите, в Пога, в веру! Ну! Глаза ломаете! — И было во всём облике этого уродца, в его брани — что-то сверхъестественное, непонятное. Почти мистическое, — ведь убогие — они какие? «У Бога», где-то рядышком, под крылом, Его милостью... А этот — ревьёт, как зверёныш... Страшно...

Доказывали Фоме, предупреждали его о сыне:

— Это тебе, Фома, наказание, убогий-то, за неверие твоё и слова паршивые, хульные. И ещё за то, что ты, Фома, палец в ребро Спасителю вложить пожелал, а без того и не веровал, и не веришь...

— Палец? Какой такой палец? — не понимал никогда не читавший Нового завета Фома. — И куда? В рёбра... Та-а... я бы их выдрал! Во сколько горя испытал...

— От зависти угорает, — упрекали. — Ты и не Фома вовсе...

— А кто? Кто я?

— Каин!

И когда ему посоветовали прочесть это место в Святом Писании — место, где явлена была воля вознесшегося Бога, — он, отец уродца, Фома Кукин, — и впрямь затаил неожиданную и глубочайшую злобу. Злобу и зависть нешуточную. В самом деле, если есть он, «Пог», то почему одним — всё, полными пригоршнями, другому — ничего, кроме горечи слёз...

И наконец уже вовсе не шуточный вопрос: рождался-то парень, Павлуша... Не седьмая девка. Почему же он, великий и всемогущий «Пог», не поддержал в трудную минуту. Значит, Он и виновен, Он сам, а вовсе не Фома... Он — «Пог»... Всячески подзадоривал он сына, с затаённой, глубинной обидой на уродство мстить «Погу»: рычать по-волчьи, ворчать на иконостас, занавешенный сборчатой занавеской с узором, доставшийся от родителей. Шурка же, в отсутствие которой проходили все эти «церемонии» — и не подозревала ни о чём, хотя какое-то настороженное, особое отношение домашних к иконостасу — втайне отмечала, и даже снимала и принялась прятать от Фомы иконы, на которые тот в пьяном кураже грозился, даже подпалив напоказ занавеску в красном углу.

— Дом спалишь... Это тебе не шутка...

— Оставь, язва, курва. Междворка! — орал уродец с тачки матери. — Не твоё это, значит, и не трогай!

— А чьё же? — Шура цепенела от неожиданности.

— Наше! — был ответ.

— Уберу в чулан от вас, от греха. Антихристы.

— Не трог, пусть висят: Бог не Ивашка, видит, кому тяжело.

— Молодец. Павлуша! За словом в карман не лезешь! Авось и себя в обиду не дашь, и меня на ста-

рость защитишь. Ничего не бойся! Гляди на меня, делай как я, закон! Ты первый, первой всех. Помни моё! Крой всех и вся. А уж я за тебя горло порву любому! Жми на страх: кого боятся, того уважают. Вот он, арапник-то, всегда при мне! — и сунул тайком сыну нож с выкидным лезвием под кнопкой с наборной ручкой.

Тот ощерился, ощутив отглянцованную до телесной мягкости ручку финки, сделанную в недалёких мордовских лагерях, — нож с наборной ручкой из цветного плексигласа...

Повзрослев и узнав, что уродство его — «от Пога», что «Пог наказал его, невинным ещё младенцем», — матерился Павлуша самыми непроизносимыми скверными словами, брызжа слюной с такой отчаянностью и остервенелостью, что и отец и мать тотчас затаивались, чувствовали себя душегубами.

— ...А Бог не микишка, зрит, на ком шишка, — говорили в деревне, — это ведь Он наказал, через отца с матерью... «До седьмого колена поражу» — сказано...

Но подлинное наказание было ещё впереди. И вот как случилось: Шура, торговавшая дешёвым спиртом, пристрастилась и сама к зелью, — травила с горя и ради прибыли и себя и посетителей, и однажды, в канун праздников «Мучеников Севастийских» —хватила стакан, легла на ночь, да и не встала. Умерла.

— Шурупчик! — кричал объездчик в каком-то невиданном остервенении. — Шурупчик! Встань-встань. Поднимись, родная! Да ты что молчишь-то, ай оглохла?... Ой, встань-подымись, нет силушки на тебя смотреть мне, горемыке...

— Ну, будь орать-то... — просто и буднично оборвал его Павлик. — Что ты блажишь, как баба. Померла и померла, мол, закопаем...

Пришли деревенские плакиды. Волоча Шураху за ноги, стали обмывать, болтали:

— Сгорела, как порох. Видно, и впрямь спирт-то — яд.

— Да ведь ты видишь ещё какое дело: баба. А бабы — они всегда в это дело легче мужика вгружают... И мрут чаще, не для бабьего организму спирт-то.

Объездчик слушал и не понимал, на земле он или на небе... или уже в аду, так горько и больно на душе ему было впервые.

— И ты своей смертью не помрёшь, — мрачно и трагично пригрозил отцу Пашка-Бутуз из темного угла прохладной комнаты, — теперь и ты собирайся следом. Издохнешь в одночасье. Туда тебе и дорога, живодёру. Очумел ты давно, и чёрт тебя ждёт, лапы потирает.

— Куда собирайся? Это ты отцу? Ах ты, босявка...

— Не вращай глазами-то, не вращай... Сёстры тебя боятся. А я не боюсь: вот они, костыли-то... И нож со мной... Или крысиного яда всыплю, или того, запорю: не обижай никого зря. Злодей...

— Я добро стерегу от воров, — пытался оправдаться Фома, струхнув, — меня все боятся. Не тебе чета... Ты что, сына, ай приснилось чего?

— Приснилось! Мёртвым ты приснился, вот что, аспид, изувер, — всё больше заводился Павлик. — Ты стеречь — стереги. А людей не забижай, не трогай... Она и, мать-то, не без твоей помощи ушла... Знаю... Ты за что Вадика Новикова чуть до смерти не засёк? За три мешка картошки голландской, да ещё с того года? А Стеню-Копейку, старую женщину испугал до полусмерти за огурец с бахчей? А меня уродом сделал, ирод, зачем? «Пог, Пог»... На Бога сослался, смотри... — поди-ка, кабы не детские деньги. Что «капиталом» называешь, так и вовсе бы мне не жить, в животе сгноили? Ай не так?.. Ты да мамаша — одного поля ягоды...

Тут у Кукина возникла странная и страшная мысль, догадка по смерти жены. Но он столь же топорливо и не давая ей разрастись, как облаку, тихо и стараясь быть сдержаннее, спросил:

— Это кто тебе такое наврал? Откуда ты взял-то, Павлуша?

— Никто, сам знаю!

— Ты дерьмо моё, и не можешь мне угрожать! — едва не плакал от постигших несчастий и упрёков Фома. — Виноваты ли мы ай нет с твоей матерью — не тебе судить. Яйца курицу не учат... А ты не можешь мне такие слова, поскольку...

— А деньги мои где? Куда вы их дели? — не унимался Павел.

— Какие деньги? Были да быльём унесло...

— Десять тысяч? Баксов — быльём?.. Врёшь — не возьмёшь...

Перепалка впервые чуть не кончилась дракой, Пашка скрюченными руками схватил костыль и, прыгая на больших ногах, кидался на отца. Девчонки орали в голос.

— Ты? На отца? — оскалась, кричал Фома и всех пятерых — девчонок и Павла — драл кнутом, покрикивая: «Цыц! Мокрохвостые! Ишь, на отца коситесь!»

Старуха-мать Фома не выдержала и, всё помня смерть мужа, посоветовала:

— Фома, сходи в церкву-то... Сходи, не будь дураком-то, не будь. Покайся! Да лбом-то к паперти. К паперти да к иконам. Это тебе всё за отца отмщение и за Бога поругание. А Бог поругаем не бывает, вот и мучаешься, эвон, трясёт т-тебя как! Вот и сын супротив тебя. А ведь сказано: «Хула на Духа Святого не простится ни в этом мире, ни в следующем!»

Фома с лёгкостью, как игру, воспринял этот совет и однажды пришёл к заутрени. Священник, в начале исповеди в благостном состоянии принимая Фому, обильно потая, то и дело вытирая платочком пот, долго слушал его, и чем дольше слушал — тем реже кивал и менялся в лице. Потом и вовсе кивать перестал. Сказал только грустно и отрешённо: «Целуй Евангелие и крест». Фома поцеловал.

После исповеди священник сел на лавочку и долго сидел так, не шелохнувшись, обхватив голову руками, как если бы голова стала невыносимо тяжела...

До причастия он не допустил Фому: тот не знал, что нельзя ни пить, ни есть до Чаши, и плотно позавтракал до церкви.

Какая-то прихожанка зашипела на Фому, что он протоптал по дорожке к аналою, тот — огрызнулся, и священник видел, как, не выстояв после «Отче наш» и пяти минут, объездчик вышел из храма вон, жадно закурил на крыльце.

Бабым летом, в середине сентября, освободившись от дел, Фома Кукин уходил в отпуск. Опустели поля, сады и огороды, по первой позёмке получил он задаток вперёд на лето от Шухермана (да и окрестные фермеры скинулись ему за подмогу — заплатили полностью долги — и долларами и рублями...).

— Голландец, — подначивали Фому сельцовские, — ты теперь богатый, своё дело открывай. Мечтал же, всё баял... — Шутили смеясь, Фома поскрипывал зубами, но, радуясь, считал и пересчитывал крупную сумму... Говорил себе: «Держись, Фома, небось теперь прижмёшь хвост голодраны...»

И когда шагал он деревенской улицей гоголем, тайком пощупывая и потрагивая пачку денег в кармане, мечтал он купить жеребца или молодую кобылку — решил открыть конезавод под породистых лошадей, чистых и дорогих породой. Он давно мечту берёг и нежил, вынашивал и «обмусоливал» — овладеть этакой красавицей или красавцем, для начала... в своё владение... и под себя — престижнее и скорее, и похвалиться будет чем.

Он даже зажмурился от предошущения большого счастья, медленно, облаком, но явно и зримо наплывающего, наваливающегося на него: вот он конезаводчик, вот он выводит племя. Редчайшее, как сегодня — русские борзые, и вот все конезаводчики едут к нему. Пишут ему. Кланяются и несут деньги... Деньги за жеребят... Вот он и капитал. И, закрывая глаза, он уже видел себя верхом, или, как говаривают по деревням, «верхами», проезжающим по Осиновке этаким аллюром, по-цирковому, когда лошадь идёт медленно, выкидывая коленцы, и этак прелестно, из стороны в сторону, из стороны в сторону. Чтобы все рты разинули. Сенами он запаса заблаговременно, прикупил у фермеров и овсеца. До мечты осталось — рукой подать.

На ярмарках шли торги за торгами. Фома не пропускал ни одного. Присматривал хорошего жеребчика, ходил он и по заводам, и к частникам, с посошком, прикидываясь бедняком-любителем. Больше на любовь к лошадям упирал... Частники, из тех, что владели хорошей породой — те как-то понимали его, сочувствовали. Но цены гнули громадные, объясняя жадность свою вовсе не корыстолюбием, а так, мол, лошадей — единицы, да ещё таких... «Ну подумай, кто же на торгу отдаст задёше-

во, когда торгуешь единственным. Просто из любви к породе даже...»

И вот попалась ему молодая буланая, ещё не объезженная кобылка... Потянула, как баба, на себя, повела и повела, потерял Фома голову. Ходит Фома возле неё кругами. Вроде и не на неё смотрит, вид делает, что не на неё, а сердце не на месте. Не колдунья и не ворожея — кобыла, а окольцевала Фому.

Осиротела она по чистой случайности: прогорел и разорился немолодой, в годах уже фермер: болячки достали его, инвалид, а детей — то ли нет, то ли не едут, бросили, деревенскими грязями брезгуют. Пораспродав он всё нажитое не то что с молотка, а и впрямь — за безделицу и сгоряча, кобылку же берёт до последнего. Сидел косматый. Больной. Дурно и тяжело предсмертно пахнувший на подушках и громко и трагически спрашивал входящих, на Фому:

— А тебе чего, поди прочь!

— Гнедая. За скольк отдашь?

— Гнедая? — сразу же ожил косматый и погрузнел: — Не отдам!

Но Фома был стреляный воробей, испытанный покупатель. Вынул четверть спирту и начал разговор. И хозяин, даже и сидящий среди подушек, больной, но всё ещё высокий, ожил. Заросший, как древний иудейский пророк, медленно и истово положил длинные кресты страшными искалеченными подгрой пальцами, молвил: «Се, остаётся дом твой пуст...».

Слова эти были и вовсе непонятны Фоме, но настолько страшны и величественны, что он пал на колени перед хозяином. Но уже за околицей вводя в телегу непослушную гнедую, радовался за себя, за свою ловкость и артистизм притворства. И пошло-поехало: там — вятки или орловки, — запил, спустил всё после больших неудач помещик из «новых» — курского и владимирского тяжеловоза Фома нашёл у него, — он тут как тут. Фома подливал ему, всклокоченному, немытому, но всё ещё пытавшемуся держать фасон, — оно так, у военных... Рассказывал тревожно:

— Так вот, Фома... Пришли назад паи свои просить. Сельские-то, наши. Стали толпой под крыльцом, как встарь нам показывали, в фильмах. Вышел и я: «Чего вам?» — «Верни паи...». «А вот, видали?»... Молчат. Хлопнул я дверью, ушёл, и вдруг так за душу схватило: это кому же я дулю показал? Этим больным старикам, что всю жизнь навоз по этой земле, по этим паям ворочали, им, у которых поколения здесь лежат. В этой земле, навеки... И вот, видишь, запил... Запил вглухую, хоть святых выноси.

Фома слушал да подливал, кивал и всё же свёл со двора и тяжеловоза без жалости.

Впоследствии, в минуты уединения, хвалил себя: «Молодец...». Но больше всего радовала кобылка, высокая, тонконогая, с узлами коленок, огнеглазая, с густой гривой волной и длинными ногами. Осиновские мужики зачастили на смотрины необъез-

женной красавицы. Фома допускал не всех: только нужных, весомых, с которыми стоило и вообще дружбу водить... Пытались тронуть под пьяный гогот жёсткую непослушную гриву, пышную, как пена после катера у берега на Оке... Пригнал он её в недоуздке, парой со своей гнедой, запряжённой в телегу. Непокорная кобылка бежала легко, играя.

Волна гривы лежала набок, высокая холка... Жмурились, цокали языками.

Буланая красавица зло косилась на зевак, норовила укусить, вставала свечой на задние ноги.

— Ишь. С норовом!

— О-огонь! — заикаясь, подтверждал Фома, — что не по ней — разобьёт на... Задними бьёт. Жерди с база напрочь выбивает, навывлет. А в них гвоздь — двухсотка... Орловка, одно слово. Огонь! Ишь, вся бела, аки снег. А жеребёнком-то была — черна, да с очками на глазах.

— Да разве так бывает. Чтобы из масти в масть?

— Это у них бывает, у орловских...

Фома называл её Милкой. Узду надевал, как фату... Долго он выбирал эту узду, чтоб была достойна, из наборных ремней крепкой мягкой кожи, надёжную, как португез генерала, да с бляшками, с кольцами, как для цыганки. Натягивал под челку, на лоб, заправлял силком мундштук в зубы, который Милка никак не хотела брать. Не желала покоряться... Заправил, чуть зубы не выворотил.

— Ишь, целка... — с ласковой злостью говорил Фома... — А побрякушки, колокольцы-то любишь, как звенят... Что, любишь? Подарки, сладенькое... Вот жеребца тебе подведу, жди. На муки твои полюбуюсь...

Колокольцы и впрямь звенели волшебнотонко при малейшем движении.

На покорение Милки под седло собралась вся деревня, как на представление. Собрались за селом на выгоне. Мужики, бабы. Ребятишки... Впрочем, полагось запрячь в повозку, да нагрузить потяжелее, да дать кнута. Но Фома давно придумал держать Милку исключительно как верховую... Да и была какая-то тайная надежда, что и она, Милка, тайно уже приняла его за кормильца, хозяина. Примет и за седока.

Фома сначала всё гонял кобылу, щёлкая кнутом, крутил по базу на длинной верёвке, постреливал кнутом, сыпал прибаутками. Рыжие, копной, волосы его горели огнём на ярком солнце разогретого летнего воздуха. Войдя в раж, оседлав Милку, верхом он нетерпеливо дёргал на себя узду, яро хлестал по бокам хлыстом. Милка-Колдунья заржала — словно захохотала, с эхом в гулких обосененных полях, да так, что мороз пошёл по коже.

— Ты с ей поласковой, — советовали мужики, — она хоть и кобыла, а тоже того, женского полу, ихнего, а оне подход любят...

— Эва, черемониться! Фома, поддай ей, курве! Ишь, ишь. Заплясала, руку почувствовала, эдак, эдак... Твёрже её держи, бабы, они силу любят!

— И седло polegшее надень. А то бока-то намнёшь ей. Дорогой такой...

— И по мне, что баба, что кобыла, одного роду-племени. Не таких объезживал...

— Мотри, Фомка, знать, понесёт сейчас... Не зевай, Фома, на то ярмарка...

Кобыла рванула и грациозно вдруг пошла по кругу, заставляя людей отступать в страхе и в восхищении, словно всё ещё была она на длинной верёвке, стелила хвостом, стригла ушами.

— О-о, пока-мать, закоо-онно... Закон!.. — только и успел крикнуть Фома, Милка вдруг встала свечой, пугливо кинулась в сторону, рысью прошлась вдоль загорожки, заведённая от ударов хлыстом, и вдруг с лёгкостью, как на крыльях, перелетела через жерди база — взяла высокий барьер. Фома точно куль с овсом — вывалился из седла, повис на узде, да и ту бросил. А кобыла так и пошла, и пошла крупной рысью. Заметно припадая на правую заднюю ногу.

Её отловили только к вечеру, и то с хитростью, с уловкой: кузнец Терентий умело ржал наподобие жеребца, пролез по кустам всю округу, ждал и слушал, где отзовётся.

Сашка Пряхин — малый оторви и брось — подошёл к ней. Резко схватил под уздцы, с опаской, но не боясь на вид, вёл на баз, повторяя от волнения и страха одно и то же: «Узда наборная, лошадь задорная...»

— Чего-то хромает она, Фома, ты не дрейфь, я только гляну. На-ка, на. Подержи, что — сильно зашибся? Дайте клещи, что-то подкова стучит.

— Дайте клещи... Клещи... — зашумели в толпе, — без гвоздя. Бьёт подкова...

— Э-э, я сам, я сам, — заорал, осмелев и оправившись, Фома — дай-ка, я имею в этом деле... Смекаю... С-стой, стер-рва... — и, зажав копыто между колен, стал оттирать с усилием подкову.

Вдруг Милка-Колдунья всхрапнула, заржала, да так ударила Фому, что тот кувырнулся об землю за мертвое. Сашка отскочить не успел, как кобыла шахрахнулась и потащила резво мёртвое тело. Его пытались отбить, а она тащила его, топча, вцепившегося в узду, всё дальше и дальше, в сторону ферм бывшего хозяина, поднимая пыль по сухому логу, по навозу. По выгону, по тому самому месту, где тащили его когда-то мужики «сажать на кол».

Народ столчился с испугу, потом рассыпался и вытянулся в беге вслед за Милкой, но она шла и шла. Далеко и легко, освободившись уже от мёртвого свислого тела Фомы. Так и подняли его с обрывком в мёртвых руках зажатой узды...

Только один «обрубок» остался на выгоне, это был сын Фомы Кукина — уродец «Пашка-Полчеловека», он сидел на коляске, ощерясь как бы против солнца и ветра, вглядывался...

— Пашка, убило отца-то, Фому-то!..

— Гы-ы... — И вдруг задёргал раздвоенной губой. Захохотал. Забил в ладоши, и, отталкиваясь на ко-

Генеральный**директор**

Евгений Шишкин

Художественный**редактор**

Татьяна Погудина

Цветоделение**и компьютерная****верстка**

Александр Муравенко

Заведующая**распространением**

Ирина Бродянская

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

Россия, 125284, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Подписано в печать:

26.04.2020

Тираж 1600 экз.

Уч.-изд. л. 11,5.

Заказ № 1297-2020

Адрес редакции:

Россия,

107078, Москва,

Новая Басманная, д. 19

Телефоны

редакции:

8(499) 261-84-61

8(499) 261-49-29

отдела распространения:

8(499) 261-95-87

E-mail:

roman-gazeta-1927@yandex.ru

Сайт:

www.roman-gazeta-1927.ru

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Отклоненные рукописи

сохраняются в течение года.

ляске, поехал вслед за толпой. И всё кричал. Хлопал в ладоши. Да так отчаянно, что Сашка вернулся к нему:

— Ты чего? Чего орёшь, обрубок?

— О-о, — и Пашка выплюнул из-за щеки гвоздь от конской подковы...

— Так это ты чего же вытащил? Или нашёл?

Пашка ещё яростней затрепыхался. Задёргался на коляске, крича: «Пока! Пока! Пока!»... Потом достал нож, бережно завернутый в тряпочку, — это был тот самый нож, который ему подарил когда-то Фома, и захохотал с таким победным видом, что неверующий Сашка закрестился часто и мелко и кинулся бежать напролом сквозь кусты. Он бежал, продираясь сквозь лещину и сухой репейник, крестясь и оглядываясь, шепча единственную молитву, которую знал: «Богородица, Дева, радуйся...», какой его выучила в глубоком детстве прабабка Стеша. А сзади всё слышались визги и вскрики радостного Пашки.

Он бежал впервые в другую сторону от толпы, ошарашенный какой-то явной догадкой, смысл которой был ему неясен ещё, но так страшен сам по себе, как страшит запоздало малый ребёнок, впервые проходя по грани добра и зла, и с гибельным восторгом выбирая зло, и обомлев от выбранного, понятного...

А в это время к селу подходил уже Николай Пряхин. Ему скостили срок за Фому. Бледный и худой, он откинулся с больнички, купив на зоне туберкулёзную мокроту — так велико было его желание выбраться из-за решек и заборов и отомстить. Списанный по активровке, он едва шёл. От былой силы и куража не осталось и следа, только прежняя сутулость стала ещё заметнее и острее торчали костлявые плечи...

СОДЕРЖАНИЕ**Александр ДАНИЕЛОВ**По обоим берегам Миуса. *Повесть* 1**Александр КАЗАКОВ**Если сердце помнит... *Повесть* 36**Василий КИЛЯКОВ**

Балагур.....60

Знак.....68

Письмо Сталину.....70

Стегней и Варька.....75

Капитал.....88



Детское чтение для сердца и разума

РОМАН-ГАЗЕТА

етская



Подписные индексы издания:

в каталоге агентства «Роспечать»

72766 на полугодие, **71899** на год;

в объединённом каталоге «Пресса России»

38916 на полугодие;

в электронном каталоге «Почта России»

П1654 на полугодие



Адрес редакции: Россия, 107078, Москва, Новая Басманная, д. 19

Телефоны редакции: 8 (499) 261-84-61, 8 (499) 261-49-29

Телефон отдела распространения: 8 (499) 261-95-87

E-mail: roman-gazeta-1927@yandex.ru Сайт: www.roman-gazeta-1927.ru

«Русская литература всегда была, есть и будет
основой государства, утешением для народа
и целительным родником».

Юрий БОНДАРЕВ

